РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2010

СОДЕРЖАНИЕ

В.М. Алпатов (Москва). Книга А. Мейе глазами некомпаративиста 3

Л.В. Зубова (Санкт-Петербург). Ироническая грамматика: средний род в игровой неологии 16

А.А. Горбов (Санкт-Петербург). Топ-метод экспресс-номинации эконом-класса: о русских именных композитах с атрибутивным элементом в препозиции к вершине.. 26

Е.Л. Березович (Екатеринбург). Русский *ад* на иноязычном фоне: к сопоставительному изучению деривационной семантики межъязыковых лексических эквивалентов 37

Е.В. Перехвальская (Санкт-Петербург). Аспирированные и глоттализованные гласные в диалектах удэгейского языка 58

Т.А. Майсак (Москва). К публикации кавказско-албанских палимпсестов из Синайского монастыря 88

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Ю.Л. Кузнецова (Тромсё), Т.В. Велейшикова (Томск). Современные корпусные исследования языка: новые подходы 108

Рецензии

М.А. Даниэль (Москва). *А.А. Кибрик, В.И. Подлесская* (ред.). Рассказы о сновидениях. Корпусное исследование устного русского дискурса 125

Я.Г. Тестелец (Москва). *A. Polguère, I.A. Mel'čuk* (eds.). Dependency in linguistic description 133

В.И. Киммельман (Москва/Амстердам). *L. Hogeweg, H. de Hoop, A. Malchukov* (eds.). Cross-linguistic semantics of tense, aspect and modality 138

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Н.Р. Сумбатова (Москва). Российский гуманитарный научный фонд: поддержка проектов мероприятий 2009 года и издательские проекты 2010 года 146

Н.Н. Занегина, Ю.С. Капитанова (Москва). Виноградовские чтения 2010 г. 151

Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 2010 г. 155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *Н.В. Вострикова, О.А. Казеннова, А.С. Кулева, М.М. Маковский*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

Интернет-сайт журнала находится по адресу:
www.ruslang.ru, см. раздел «Издания»

© Российская академия наук, 2010 г.
© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2010 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2010

© 2010 г. В.М. АЛПАТОВ

КНИГА А. МЕЙЕ ГЛАЗАМИ НЕКОМПАРАТИВИСТА

В статье рассматриваются идеи выдающегося лингвистического труда начала XX в. – книга А. Мейе «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков». Показано, как А. Мейе подходит к своему объекту изучения, выявляются некоторые противоречия в его книге.

В статье речь пойдет только об одной, хотя и очень известной книге: монографии знаменитого французского языковеда Антуана Мейе (1866–1936) «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков», впервые изданной в Париже в 1903 г. и при жизни автора несколько раз переиздававшейся с дополнениями и исправлениями. Седьмое, последнее прижизненное издание книги вышло за два года до смерти автора, в 1934 г., оно легло в основу русского издания 1938 г. (у нас оно было уже третьим: до революции книга выходила дважды на основе более ранних изданий оригинала). Я позволю себе использовать лишь переводной текст 1938 г. и не сравнивать его с текстом оригинала: Д.Н. Кудрявский, первый переводчик книги, и А.М. Сухотин, переработавший в 30-е гг. его перевод и внесший в него изменения по последнему французскому изданию, были высококлассными специалистами и передали идеи книги вполне адекватно. Я буду учитывать также предисловие М.В. Сергиевского и комментарии Р.О. Шор: они отмечены печатью времени, в том числе влиянием марризма, однако в них, особенно в комментариях, есть и немало существенных положений. Далее ссылки на издание 1938 г. будут даваться с указанием только номеров страниц.

Книга А. Мейе хорошо известна специалистам и многократно ими использовалась и оценивалась. Однако хочется посмотреть на нее под необычным углом зрения. Областью исследований А. Мейе была компаративистика, тематика книги четко обозначена в ее заглавии. Время от времени автор затрагивает и проблемы, выходящие за рамки индоевропеистики, о чем далее будет сказано, но о них говорится лишь попутно, для лучшего освещения тех или иных компаративных вопросов (автор указывает в предисловии (31), что его книга «не есть сочинение по общей лингвистике»). И все-таки представляется, что книга интересна не только своим анализом конкретных фактов истории индоевропейских языков или мнениями автора по поводу тех или иных реконструкций, но и как сочинение, отражающее определенную теоретическую концепцию, позволяющее получить представление об одном из этапов развития мировой лингвистической мысли в целом. Поэтому автор статьи, не являющийся компаративистом, счел возможным рассмотреть книгу А. Мейе с точки зрения теории языка и истории языкознания. Я не буду оценивать конкретные реконструкции А. Мейе и его мнения о конкретных реконструкциях других исследователей.

В начале книги А. Мейе предупреждает, что читатели, знакомые с индоевропеистикой, «не найдут в ней ни новых идей, ни новых фактов» (31). Это утверждение на самом деле верно лишь с точки зрения фактов, а новых идей в книге немало. Но действительно книга во многом подводит итоги развития сравнительно-исторического языкознания почти за столетие. К 1903 г. грандиозное здание индоевропеистики в основном уже было возведено, и книга стала как бы путеводителем по этому зданию, предназначенным для желающих его посетить.

Очень многое из того, что содержится в книге, сохраняет силу для сравнительно-исторического языкознания и сейчас. Конечно, за прошедшее столетие наука продвинулась вперед и в знании фактов, и в методах. Если говорить только об индоевропеистике, то главным расширением фактического материала за XX в. стало открытие двух ветвей индоевропейской семьи – хеттской и тохарской. Произошло это еще в начале века, в историческом промежутке между появлением первого и седьмого изданий книги А. Мейе. Однако в предисловии к седьмому изданию автор, сославшись на то, что «размещение хеттских и тохарских фактов в общей сравнительной грамматике индоевропейских языков еще не достигнуто» (36), отказался от учета материала этих языков (в тексте встречаются лишь отдельные их упоминания). В области методики главным приобретением XX в. стало появление в середине века метода глоттохронологии, в связи с чем устарело такое высказывание А. Мейе: «За отсутствием всяких письменных документов, нет никакого средства определить, с точностью до нескольких столетий, время разделения индоевропейских диалектов» (108). Глоттохронология, в наши дни широко используемая, стала таким средством. Устарело и такое положение: «Доказательны совпадения грамматических форм; наоборот, совпадения в лексике почти не имеют доказательной силы» (69). Оно отражало традицию, шедшую от начального этапа компаративистики и имевшую основания в истории индоевропейской семьи. Однако компаративное изучение языков иных семей, где нередко вовсе нет «совпадения грамматических форм», и использование метода глоттохронологии, применимого именно к лексическим единицам, привели к сосредоточению внимания на совпадениях в базисной лексике. Наконец, ностратика уже во второй половине века по-новому поставила вопрос о более древних, чем индоевропейское, языковых состояниях, время от времени затрагиваемый у А. Мейе. Но главное к 1903 г. уже было сказано, и все сказанное хорошо представлено в книге.

Сравнительно-историческое языкознание до А. Мейе уже прошло несколько этапов развития, охарактеризованных им самим в книге, которая завершается «Очерком развития сравнительной грамматики» (445–471). Помимо постепенной шлифовки метода шло и развитие теории, пусть не столь богатой, как метод. Уже во второй половине XIX в. [по мнению А. Мейе (458), около 1875 г.] все признали, что «сравнительная грамматика индоевропейских языков не бросает ни малейшего света на первые ступени языка» (81), вопреки тому, что думали основатели компаративистики. Развитие языков в «доисторическую» эпоху стало пониматься на основе экстраполяции процессов, зафиксированных на основе письменных данных: «Мы вправе предположить, что это распространение (индоевропейских диалектов. – *В.А.*) совершалось теми же путями, какие мы наблюдаем в историческую эпоху» (106). А «если когда-либо будет установлен и доказан ряд соответствий между индоевропейской и другими языковыми группами, в системе ничего не изменится… Мы проникнем на одну ступень глубже.., но метод останется тем же» (72). Такая экстраполяция, вообще говоря, ничем не доказана и основывается только на здравом смысле: иные предположения могут привести лишь к недоказуемой фантастике (пример – Н.Я. Марр). В 1903 г. об этом уже не спорили. В центре теоретических споров ученых в эпоху младограмматиков и А. Мейе встали три других вопроса: о реальности праязыка, о закономерностях развития языковых семей (гипотеза родословного древа) и о понятии языкового закона.

Понятие праязыка (языка-основы), из которого в ходе исторического развития выделяются родственные друг другу языки, наиболее четко было сформулировано в 50-е гг. XIX в. А. Шлейхером, который первым начал систематически восстанавливать индоевропейский праязык. Прямолинейный натуралистический подход при быстром достижении заметных результатов привел этого ученого к «головокружению от успехов»: А. Шлейхер всерьез решил, что восстановил реальный индоевропейский праязык, и написал на нем басню. Следующее поколение компаративистов – младограмматики – уже понимало, что полное восстановление праязыка невозможно, но А. Мейе отошел от идей А. Шлейхера еще радикальнее. Несколько раз в книге повторяется положение, в котором ее автор был оригинален и которое потом неоднократно обсуждалось. Уже в

предисловии он предупреждает: «Эта книга не представляет… грамматики индоевропейского языка: он неизвестен, и соответствия между отдельными языками представляют единственное реальное явление, которым занимается сравнительная грамматика… Еще менее имеет в виду сравнительная грамматика объяснять индоевропейский язык: ни один из известных методов не дает для объяснения индоевропейского языка ничего кроме недоказуемых предположений» (32). И далее: «Задача сравнительной грамматики какой-либо группы языков заключается в изучении соответствий, представляемых этими языками» (48). «*Единственная реальность*, с которой она (сравнительная грамматика индоевропейских языков. – *В.А.*) имеет дело, это *соответствия между засвидетельствованными языками*» (73). О восстановлении звуков праязыка сказано: «*Положительными фактами являются только соответствия, а "восстановления" сводятся лишь к знакам, с помощью которых сокращенно выражаются соответствия*» (74).

Такой, безусловно, крайний взгляд был законченным выражением позитивистского подхода, стремившегося далеко не отходить от достоверных фактов и избавлявшегося от недоказуемых положений. Младограмматики также были позитивистами, но все-таки сохраняли убежденность в том, что они, пусть не полностью и не во всем точно, но восстанавливают реальные факты. В то же время у А. Мейе не содержится никаких сомнений в самом факте существования индоевропейского праязыка. Идея о том, что сходство индоевропейских языков может иметь не генетическое, а какое-то иное (типологическое или ареальное) происхождение, к моменту написания книги еще, кажется, никем не предлагалась. Однако в 30-е гг. ее выскажет Н.С. Трубецкой, а в комментариях к изданию 1938 г. в пользу типологического понимания индоевропейской общности высказалась (по-видимому, без влияния Н.С. Трубецкого) Р.О. Шор (503).

Но понимание праязыка как системы соответствий, а его звуков как сокращенного обозначения этих соответствий объективно входило в противоречие со всей выработанной методикой сравнительно-исторического анализа. При последовательном осуществлении данного принципа в области фонетики анализ сводился бы к таблицам соответствий и их условным наименованиям. Например, на с. 131 приводится таблица соответствий для согласных сонантов, среди них есть такое: санскритское *v* – авестийское *v* – армянское *g*, *v* – литовское *v* – славянское *в* – латинское *u* – ирландское *f* – готское *w*. Как можно было бы сокращенно обозначить это соответствие? Вероятно, двумя наиболее естественными обозначениями могли бы быть порядковый номер (скажем, 2: в таблице соответствие стоит вторым) и наиболее частый из соответствующих звуков, в данном случае *v*. Но в первой колонке стоит: «индоевропейское w», что никак не может считаться сокращенным знаком. В тексте книги дается обоснование того, что данные звуки могли произойти именно от *w*, сохранившегося лишь в одном из сравниваемых языков. Но ведь ранее сформулированный в книге принцип не позволяет так рассуждать: автор здесь выходит за пределы системы соответствий и начинает рассуждать о фактах языка, уже объявленного неизвестным. Но так построена вся глава о фонетике: она начинается словами: «Фонетическая система индоевропейского языка состояла из трех видов фонем» (109). То есть с первой строки идут рассуждения о неизвестном языке. Оставаясь в пределах системы соответствий, мы тем более не можем рассуждать о том, чего в праязыке не было, а это тоже есть у А. Мейе (111 и др.). И заключительная фраза главы: «Фонетический облик индоевропейского ничуть не походил на облик любого из современных представителей индоевропейской семьи языков» (165). Как можно сделать такой вывод из системы соответствий? Выходит, что язык неизвестен, но его фонетический облик мы знаем.

Еще более явно нестыковка между теорией и методикой видна в главах о морфологии и особенно синтаксисе, где весь индоевропейский материал излагается так, как можно говорить лишь о реальном языке: «Индоевропейское слово содержит… три части: *корень*, *суффикс* и *окончание*» (167); индоевропейский «порядок слов имел экспрессивное, а не синтаксическое значение» (369) и т.д. Безусловно, речь во всей книге идет о языке, а не только о системе соответствий, которая для морфологии у А. Мейе выделяется не везде, а для синтаксиса не выделяется в эксплицитном виде. Соответ-

ствия в обычном смысле всегда устанавливаются между некоторыми «квантами» языка, которые естественно выделяются в фонетике и лишь частично в морфологии, а синтаксические кванты наука времен А. Мейе просто не умела выделять (что-то в этом роде появилось лишь у генеративистов). Весь раздел о предложении при последовательном проведении теоретических положений книги просто не мог бы существовать. Очевидно, что стремление отойти от «метафизики» и держаться на твердой почве фактов, доведенное до конца, потребовало бы сильно ограничить объект компаративистики и выбросить за борт значительную часть позитивных результатов, ею достигнутых.

Отмечу и позицию Р.О. Шор в комментариях. Она верно отметила, что А. Мейе «избегает термина и понятия "праязык"» (489), но все время вынужден к нему возвращаться, однако сделала из этого противоречия вывод, явно навеянный концепциями Н.Я. Марра, хотя не вполне совпадающий с ними: «предстоит отказаться от понятия "праязыка"» (503), но соответствия между индоевропейскими языками реальны, поэтому А. Мейе следовало бы последовательнее выдержать его теоретические предпосылки. Тем самым Р.О. Шор, исходя вовсе не из позитивизма, оказывается еще более крайним представителем подхода, декларированного А. Мейе.

Не избегал французский ученый и «объяснения индоевропейского языка». Для него объяснением тех или иных явлений было выявление их происхождения (к этому вопросу я еще вернусь). То есть на гипотезы о том, что было до индоевропейского праязыка, наложен запрет. Однако по ходу дела А. Мейе неоднократно его снимал. Вот пример: «В индоевропейском многие основы состояли из одного только корня; тем самым проглядывает древнее состояние языка, когда каждый корень мог служить основой, не будучи снабжен суффиксом» (171). Или: «Однако сквозь индоевропейский тип, столь законченно флективный, можно обнаружить существование более раннего типа с мало или вовсе не изменяющимися формами» (208); далее указывается на имеющиеся в известных нам языках реликты такого типа. На с. 427 А. Мейе снова говорит о «доиндоевропейском типе без словоизменения или с малоразвитым словоизменением». То есть, отказываясь в предисловии от «недоказуемых предположений», автор в дальнейшем тексте книги вовсе их не избегает.

Противоречие между стремлением не выходить за пределы позитивных фактов и желанием рассмотреть весь комплекс вопросов, исследуемых индоевропеистикой, видно и в других случаях. Несколько раз в книге декларирован отказ от рассмотрения вопросов, связанных с жизнью индоевропейцев. «Мы также воздержались от того, чтобы примешивать к точным проблемам и достоверным результатам лингвистики темные вопросы о расе, религии и обычаях народов индоевропейского языка: эти вопросы не могут быть с успехом исследуемы при помощи тех же или аналогичных методов, как вопросы сравнительной грамматики» (32). «Неизвестно, ни где, ни когда, ни кто говорил на языке, из которого развились исторически засвидетельствованные языки и который условно называют индоевропейским» (107). «Выражение "индоевропейские... народы" лишено смысла» (108). «Очень неопределенны и шатки... те данные, которые представляется возможным извлечь из рассмотрения индоевропейских корней с целью выяснить условия существования племен, говоривших на индоевропейском языке» (389). Но сразу же эти «неопределенные и шаткие» данные начинают рассматриваться и появляются высказывания вроде: «Смысловая неопределенность и малочисленность засвидетельствованных названий растений составляют резкий контраст с определенностью значения и обилием терминов для животных; отсюда можно сделать вывод, что "мясо" диких и домашних животных... составляло вместе с молоком... важнейшую часть пищи индоевропейцев» (399). А в последней главе книги А. Мейе шел еще дальше, например: «Политическое состояние древнего индоевропейского мира надо себе представлять по образу самостоятельных греческих городов, а не по образу единого ахеменидского государства» (416). Оказывается, что об обычаях говорить нельзя, а о «политическом состоянии» можно. Индоевропейские народы то выделяются, то нет. На эти противоречия обратила внимание в комментариях Р.О. Шор (502). Правда, ино-

гда А. Мейе последователен, например, в отказе от выделения индоевропейской расы (не влияли ли здесь его довольно левые политические взгляды?).

А. Мейе в теории – очень осторожный автор. Он постоянно выражает скептицизм по поводу возможности куда-либо двигаться, когда нет опоры на достаточно многочисленные данные письменных памятников или живых диалектов. Он, например, пишет, что хотя во французском языке есть бесспорные индоевропейские реликты, но «без знания латыни и средневекового французского языка… "индоевропейское" качество французского языка… не было бы непосредственно доказуемо» (71). А. Мейе, не отрицая возможности древнего родства индоевропейских языков с какими-то другими, считал, что об этом мы не можем что-либо говорить, пока «между индоевропейской грамматикой и грамматиками иных языковых групп не будут обнаружены совпадения более отчетливые и более многочисленные» (71). Однако как установить критерии отчетливости и многочисленности? И сейчас этот вопрос вызывает споры, например, между сторонниками и противниками ностратики. Показательно и скептическое отношение А. Мейе к данным этимологии: «Мало значения имеет этимология не очевидная, а только вероятная» (437). Но все ли приводимые им свои и чужие этимологии очевидны?

Итак, в книге постоянно наблюдается противоречие между последовательно позитивистским стремлением избегать недоказуемых предположений и желанием отразить в итоговой книге все разнообразие проблем, изучавшихся индоевропеистикой XIX века. А вопрос о реальности индоевропейского праязыка – один из «вечных» вопросов компаративистики. «Вопрос о том, как соотносится праязык, выявленный с помощью определенных технических приемов (назовем его *праязыком 1*), с реальными коммуникативными системами прошлого (именуются автором цитаты *праязыком 2. – В.А.*), далеко не прост» [Беликов 2006: 14]. Но как бы ни понималось соотношение праязыка 1 и праязыка 2, теоретический подход А. Мейе, по крайней мере в нашей стране после 1950 г., не принят. Он считается слишком крайним, но главное в том, что он настолько сужал проблематику и возможности компаративистики, что сам автор книги не смог им последовательно пользоваться.

Если вопрос о реальности праязыка занимает большое место в книге А. Мейе, то другой ключевой вопрос – о расхождении и схождении (дивергенции и конвергенции) языков – затрагивается намного меньше, а теоретические споры по нему, к 1903 г. достаточно интенсивные, обойдены. В разделе книги А. Мейе «Очерк развития сравнительной грамматики» «теория волн», традиционно связываемая с именем И. Шмидта, и допущение смешения языков у Х. Шухардта не упомянуты, а исследования этих ученых трактуются с позиций ортодоксальной компаративистики: как выявление заимствований из одних индоевропейских языков в другие (465).

Ключевое положение компаративной теории было постулировано А. Шлейхером, оно заключается в том, что языковые семьи и группы распадаются на отдельные языки, но скрещение (смешение) языков невозможно. Это положение часто называется принципом родословного древа (термин, отсутствующий у А. Мейе). Логическое следствие из него – однозначность отнесения каждого языка или диалекта к семье и группе языков. На этом постулате основано все сравнительно-историческое языкознание, однако далеко не все ученые были с ним согласны; в эпоху, когда работал А. Мейе, его критиковали, в частности, Х. Шухардт и И.А. Бодуэн де Куртенэ. Об этих спорах автор данной статьи уже писал [Алпатов 2006]. А. Мейе считал, что уже к 1880 г. переиздание работ А. Шлейхера «имело бы только исторический интерес» (466), но по данному ключевому вопросу исходил из того же постулата А. Шлейхера.

Отсюда само определение родства у А. Мейе: «*Два языка называются родственными, когда они оба являются результатом двух различных эволюций одного и того же языка, бывшего в употреблении раньше…* Понятие родства языков абсолютно и не допускает различных степеней» (50–51). Вопрос о возможности отражения в языке эволюции двух языков-предков даже не рассматривается (если бы такая возможность была признана, то сразу бы встал вопрос и о степенях родства).

Впрочем, и здесь у А. Мейе не всегда все ясно. Как известно, противники родословного древа наиболее охотно апеллируют к пиджинам и креольским языкам, в начале XX в. еще мало изученным (подробнее см. [Беликов 2006: 57–64]). Упоминает про них и А. Мейе, отмечая: «Креольские наречия сохранили черты африканских языков» (58). При этом, однако, он не указывает, как это сохранение связано с генетической принадлежностью языка, хотя несколькими строками выше он указывает, что речь идет о «неграх-рабах, которые стали говорить по-французски или по-испански» (57), то есть эти наречия входят в романскую семью. Однако какое место занимают эти наречия в сравнительной грамматике романских языков, остается неясным (этот вопрос спорен и в современной науке).

Однако в отношении диалектов позиция А. Мейе оказывается не такой, как в отношении языков. «Когда язык развивается на сплошной территории, можно заметить, что те же самые новшества и те же самые черты старины наблюдаются независимо друг от друга в более или менее обширных областях. Так возникают *диалекты*. Говоры областей, соседних друг к другу, развившиеся в одинаковых условиях, представляют и общие особенности… Эти факты представляют явления совершенно иного порядка сравнительно с фактами, характеризующими родство языков» (51). В другом месте книги: «Все более и более обнаруживается, сколь далеки от реальности попытки объяснить факты данного говора, исходя из наивного предположения, что этот говор развился путем непрерывной передачи индоевропейского языка от поколения к поколению вплоть до исторической эпохи» (470). Но гипотеза родословного древа в чистом виде как раз и исходит из такой передачи. Несомненно, А. Мейе исходил из результатов, полученных Ж. Жильероном и другими авторами первых лингвистических атласов, на которые ссылается. Но ведь разграничение языка и диалекта не всегда легко провести. Сам А. Мейе писал: «На практике не всегда возможно отличить эти диалектальные черты сходства от тех, которые объясняются собственно родством языков, т. е. единством отправной точки» (51).

Итак, не отказываясь в теории от родословного древа, А. Мейе отходил от прямолинейности А. Шлейхера, что отмечает М.В. Сергиевский (17). Если так можно выразиться, ученый сохраняет древо на макроуровне и отказывается от него на микроуровне. И так ведь поступает современная компаративистика: при установлении дальнего родства ученые строго держатся принципа родословного древа, без следования которому здесь вряд ли можно было бы вообще чего-то добиться, зато для диалектов и близкородственных языков (и для пиджинов?) допускаются конвергенции.

Наконец, третий теоретический вопрос, пожалуй, более всего обсуждавшийся в момент первого издания книги А. Мейе, был связан с понятием закона. Оно также было введено А. Шлейхером, затем подхвачено младограмматиками, но Х. Шухардт и др. выступили с критикой. А. Мейе принимает это понятие, но исходя из общего подхода, пишет: «Что обычно называется “фонетическим законом”, это, следовательно, только *формула регулярного соответствия* либо между двумя последовательными формами, либо между двумя диалектами одного и того же языка» (64); аналогично на той же странице трактуется и морфологический закон. И далее говорится о «принципе постоянства фонетических законов», который «оказался плодотворен» сразу в нескольких отношениях (464). Говоря о спорах относительно понятия закона, А. Мейе со свойственной ему во всем осторожностью пишет: «Теоретическая его ценность сможет быть окончательно определена лишь тогда, когда точная природа и причины различных фонетических изменений будут установлены с учетом всей их сложности и всего их разнообразия» (460). И далее, указывая, что принцип фонетического закона «в целом оказался, … безусловно точным в применении ко многим случаям из ряда наиболее важных», ученый признает его «всегда пригодным в качестве методологического руководства» (460). «Работы, не соблюдающие систематически этого принципа, не заслуживают внимания» (460). То есть автор книги оставляет вопрос об онтологической природе фонетических законов открытым, и у А. Мейе немало говорится об исключениях из законов и причинах этих исключений (61–63), но для компаративиста важнее другое. Закон

имеет всеобщую силу как методическое правило (именно из-за несоблюдения этого правила А. Мейе никогда не принимал построения Н.Я. Марра во всех их вариантах). Так понимает закон и современная компаративистика.

Это, пожалуй, все теоретические вопросы компаративистики, рассматриваемые в книге. Значительно больше места в ней, естественно, занимает изложение на многих примерах действительно замечательного сравнительно-исторического метода. Я не буду на этом останавливаться подробно, хочется лишь отметить, что и здесь у А. Мейе можно видеть постоянное противоречие, но уже не между строгими теоретическими принципами и стремлением отобразить все достижения индоевропеистики, а между строгостью методики и реальной изученностью тех или иных процессов.

Один из главных методических принципов индоевропеистики, общепризнанный с XIX в. и в полной мере принимаемый А. Мейе, заключается в ступенчатости реконструкций. Нельзя прямо сопоставлять, скажем, французский язык и маратхи, надо сначала восстановить праязыки для отдельных групп, а потом уже их сравнивать между собой. Однако во всей книге этот принцип постоянно нарушается, разумеется, не столь прямолинейно, как в приведенном выше искусственном примере. Например, во всей объемистой книге я не нашел ни одного примера из праславянского языка. Почти всегда, когда речь заходит о славянской ветви индоевропейских языков, приводятся примеры из языка, названного в русском издании книги древнеславянским, но чаще именуемого у нас старославянским. Изредка и не систематически приводятся примеры и из современных славянских языков, в том числе из русского. Но хотя старославянский – древнейший из известных по письменным текстам славянских языков, он не был праязыком, а большинство славянских языков не являются его потомками, что, разумеется, было хорошо известно А. Мейе. Среди балтийских языков в книге более всего упоминается литовский по причине своей архаичности, иногда приводятся примеры из древнепрусского языка, но полностью проигнорирован латышский язык и нет примеров реконструкций балтийского праязыка. В книге, разумеется, разграничены понятия «италийские языки» и «романские языки», но поскольку об италийском праязыке ничего не сказано, а оскские и умбрские примеры эпизодичны, то реально в качестве праязыка всей этой ветви выступает классическая латынь, не являвшаяся, строго говоря, ни романским, ни италийским праязыком. Сходная ситуация в книге и по другим ветвям.

Безусловно, такое противоречие не было особенностью самого А. Мейе. Оно существовало в науке со времен А. Шлейхера, который, желая поскорее дойти до индоевропейского праязыка, шел по самому простому, хотя методологически небезупречному пути, сравнивая реально засвидетельствованные языки разных групп. Единственным ограничением для него была относительная хронология: для каждой ветви он брал древнейший из известных языков. Если нам известна классическая латынь, то можно было не привлекать данные романских языков, зато для балтийской ветви пришлось использовать литовский язык с поздней письменной традицией. Для А. Шлейхера восстановление древнейшего праязыка было самоцелью, но и для следующих поколений компаративистов, казалось бы, естественное с точки зрения их же строгой методики ограничение – сначала заняться праязыками для отдельных групп и только потом начать восстанавливать праязык для всей семьи – никогда не действовало. Это сохраняется и у А. Мейе, для которого главный исследовательский интерес представлял всего один из множества праязыков, но как раз такой, для реконструкции которого необходима была максимальная подготовительная работа, далеко не во всем проделанная к началу XX в.

Мне однажды пришлось слышать, как японист, занявшийся родственными связями своего языка, отвечая на совет строго соблюдать ступенчатый принцип, сказал: «Говорят, что надо делать на первом шагу, что – на втором и так далее. И самое интересное остается на конец, а я уже немолод». Разумеется, индоевропеисты рассуждают не столь прямолинейно, но проблема остается (конечно, многое здесь связано с недостатком материала по многим группам и подгруппам). Исторически проблема индоевропейского праязыка была поставлена раньше, чем проблемы более поздних праязыков, а ученые

редко отказываются от рассмотрения интересной проблемы, осознав преждевременность ее постановки. Конечно, понимание праязыка лишь как системы соответствий снимает данную проблему: мы вправе установить соответствия между любым множеством языков, где такие соответствия обнаруживаются. Достаточно выделить соответствия для литовского и старославянского, потом можем к ним добавить санскрит, латышский и русский или только санскрит, а можем и не добавлять. Но, как отмечено выше, А. Мейе все же приходит к восстановлению реального праязыка, а как влияет на его восстановление не только малый учет хеттского и тохарского материала, но и фактическое игнорирование данных восточнославянских, западнославянских, латышского и многих других языков? Не будучи компаративистом, не берусь решать этот вопрос. Отмечу лишь еще раз, что эту претензию следует предъявлять не одному А. Мейе, а всей традиции индоевропеистики.

Еще одной чертой подхода А. Мейе, также свойственной не только ему, является прямой перенос на праязык явлений, зафиксированных в древнейших из известных нам индоевропейских языков. Такая экстраполяция проявлялась, прежде всего, там, где выработанные в XIX в. методы не действовали. Выше уже приводилась формулировка А. Мейе: «Фонетический облик индоевропейского ничуть не походил на облик любого из современных представителей индоевропейской семьи языков». Так можно было говорить, поскольку этот фонетический облик мог реконструироваться достаточно детально. Конечно, всегда можно спорить о том, насколько здесь реконструированный «праязык 1» соответствует реальному «праязыку 2», но «праязык 1» здесь – конструкт, который принципиально не отличается от конструктов, построенных на базе реальных языков; полученную фонологическую систему (пусть А. Мейе не пользовался этим термином) можно сравнивать с любой другой. Однако в морфологии методы индоевропеистики могли дать лишь фонетический облик некоторых аффиксов и служебных элементов, а система в целом им не поддавалась, для синтаксиса же методов не было. Однако уже ко времени первого издания книги ученые стремились выйти за пределы фонетических соответствий, не имея здесь не только теории, но и метода. Выход А. Мейе находил в экстраполяции данных письменных языков.

Уже на первой странице главы «Принципы морфологии» А. Мейе, отмечая наличие в греческом и латинском языках категорий числа и падежа, пишет: «Греческий язык в этом отношении, равно как и латинский, *с точностью* (курсив мой. – *В.А.*) воспроизводит положение вещей, бывшее в индоевропейском» (166). Однако даже если мы возвели все греческие и латинские падежно-числовые показатели к праязыковому состоянию, что дает нам основание говорить, что они там так же соотносились друг с другом и имели в точности те же значения, что в греческом и латинском?

Еще более явная экстраполяция видна в главе «Предложение» (359–380), самой короткой в книге. Уже тот факт, что в ней А. Мейе избегает реконструируемых примеров, зато приводит много примеров из известных языков, отстоящих от праязыка достаточно далеко, показывает, что подход здесь резко отличен от подхода в предыдущих главах. Заметно и то, что в главе по сравнению со всеми остальными резко ослаблен сравнительный принцип: подавляющее большинство примеров, в том числе все текстовые, приводятся из древнегреческого языка. Сравнения, если и проводятся, то в плане эволюции отдельных языков и групп: сопоставляются язык Гомера с классическим греческим, латынь с ее потомками, но не выявляется, где к индоевропейскому ближе греческий синтаксис, а где латинский и т.д. То есть синтаксис изучается либо чисто синхронно, либо исторически на базе изучения письменных текстов, но не сравнительно-исторически, а синхронный анализ в данном случае действительно неизвестного языка подменяется анализом известного – древнегреческого – языка.

Экстраполяция видна и в других случаях: «Каждый из индоевропейских говоров надо представлять себе вроде какого-нибудь современного литовского говора, бедного общими понятиями и изобилующего точными названиями конкретных действий и мелочей домашнего обихода» (385). Ср. с этим уже отмечавшийся скептицизм А. Мейе в отношении этимологического материала, если он не очевиден, хотя к моменту написа-

ния книги школа «слов и вещей» уже показала, что как раз «названия мелочей домашнего обихода» в истории языков часто бывают очень изменчивы.

Безусловно, и здесь А. Мейе отражал состояние науки своего времени. Строгий сравнительно-исторический метод, как отмечали и критики компаративистики (см., например, [Шор 1931: 404]), охватывал не все уровни языка, дав плодотворные результаты для самого простого уровня – фонетического, лишь частично захватив морфологию и не распространившись на синтаксис и семантику (впоследствии то же самое получилось и со структурными методами). Но науке свойственно, так или иначе, пытаться исследовать все. Для синтаксиса, семантики и отчасти морфологии во времена А. Мейе возможны были два пути: либо выдвижение не подтвержденных фактами гипотез, либо экстраполяция исторически наиболее близких данных. А. Мейе как последовательный позитивист избрал второй путь, стараясь, по возможности, исходить из древнейших данных, предпочитая ведийский, гомеровский, авестийский материал латинскому или германскому (211 и др.). Но все равно между праязыком и древнейшими письменными языками зазор слишком велик.

Такая экстраполяция по сути не отличалась от вышеупомянутой экстраполяции принципиальных свойств известных языков на реконструируемые праязыки. Только в последнем случае такой подход был в высшей степени разумен для того времени: к строю «первобытных языков» наука не подступилась и сейчас. А изучение строя одного языка на основе текстовых примеров из другого, пусть родственного языка все же логически уязвимо. И в отличие от проблемы происхождения языка исследование индоевропейского синтаксиса с тех пор продвинулось. Скажем, сейчас уже вряд ли можно говорить, что порядок слов в праязыке «имел экспрессивное, а не синтаксическое значение» и «относился к области риторики, а не к области грамматики» (369). Раздел о синтаксисе – один из самых устаревших в книге.

Но книга А. Мейе затрагивает не только чисто компаративную тематику. Она отражает и определенный этап в развитии общелингвистической теории. В момент выхода ее первого издания большинству лингвистов еще казалось, что лингвистика – чисто историческая наука, а сравнительно-исторический метод – единственный подлинно научный метод; теорию языка они не рассматривали вообще или сводили к обсуждению общих вопросов компаративистики. Не все с этим согласны были и в 1903 г., но тогда эта точка зрения господствовала, зато к 1934 г., когда А. Мейе последний раз переработал книгу, она уже не считалась передовой: сложился структурализм. А. Мейе не мог это не учитывать, тем более что его непосредственным учителем был основатель структурализма Ф. де Соссюр, которому он еще в первом издании посвятил свою книгу.

Сложилась парадоксальная ситуация: Ф. де Соссюр был учителем А. Мейе, по возрасту Ф. де Соссюр был на девять лет старше, но в истории науки А. Мейе воспринимается как ученый более ранней эпохи. В наиболее крайнем виде такую точку зрения выразил в предисловии ко второму русскому изданию соссюровского «Курса» А.А. Холодович. Говоря о признании учеными XX в. дихотомии синхронии и диахронии, он писал: «Печальным исключением является ближайший ученик Соссюра А. Мейе, отвергавший этот тип дихотомии начисто.., стоя в этом отношении на позициях младограмматиков XIX в.» [Холодович 1977: 24].

Отчасти такая характеристика верна. Под рядом высказываний А. Мейе могли бы подписаться и младограмматики. Например, «Грамматик, изучающий какой-либо индоевропейский язык, если он не знает сравнительной грамматики, должен ограничиться простым констатированием фактов, не пытаясь вовсе давать им объяснения, так как иначе он рискует объяснять причинами, лежащими в данном языке, и его особенностями такие факты, которые древнее этого языка и происходят от совершенно других причин... Грамматик вправе не знать сравнительной грамматики только в том случае, если он способен ограничиться простым наблюдением голых фактов, никогда не делая попытки их понять» (32–33). Это достаточно похоже на идеи Г. Пауля, делившего науку о языке на описательную и историческую. Оба считали, что объяснение изучаемых

фактов языка должно быть историческим, хотя Ф. де Соссюр показал, что это не единственный вид объяснений.

Поскольку «объяснить исторически какую-либо форму можно только другою, более древнею формою» (81), то «исторически объяснять индоевропейский язык мы будем в состоянии только тогда, когда будет доказано его родство с другими языковыми семьями, когда таким образом окажется возможным установить системы соответствий и при их помощи составить себе представление о доиндоевропейском периоде» (81). И все, что говорится в книге о праязыковом периоде, исключая предварительный этап реконструкции и последующую верификацию через сравнение с более поздними языками, является синхронным анализом. Задолго до появления книги образец такого подхода дал учитель ее автора в раннем труде «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» (посвящение Ф. де Соссюру в первом издании книги было приурочено к двадцатипятилетию выхода «Мемуара»), пусть там еще не было эксплицитных понятий синхронии и диахронии. Книга Ф. де Соссюра высоко оценивается и в историографическом очерке, как за новое объяснение ряда фактов, так и за общий подход: она «была новым словом, …благодаря ей возникала стройная система, обнимающая все факты, ставящая на свое место факты уже известные и вскрывающая множество новых. С этого времени непозволительно стало в каком бы то ни было вопросе пренебрегать тем положением, что каждый язык образует систему, где все между собою связано и подчинено весьма строгому общему плану» (464). Но именно в этом заключалось новаторство Ф. де Соссюра, и именно за это его книгу не приняли младограмматики, см. [Зализняк 1977].

Но в издании 1934 г. упоминается не только «Мемуар», но и «Курс общей лингвистики» (в 1903 г. еще не существовавший). Именно к нему А. Мейе отсылает «читателей, интересующихся общей лингвистикой» (31). Он считает себя обязанным учителю в усвоении и воспроизведении его «точной систематичности и строгого метода» (34). Среди повлиявших на него идей Ф. де Соссюра (вероятно, усвоенных А. Мейе от учителя еще в студенческие годы) чаще всего упоминают тезис о коллективном и социальном характере языка: «Язык существует лишь постольку, поскольку есть *общество*, и человеческие общества не могли бы существовать без языка» (52); «Те же ассоциации навязаны всем членам группы с такой силой, какой не знает никакой иной социальный институт» (52). В связи с этим Р.О. Шор отнесла обоих лингвистов вместе с Ж. Вандриесом и Ш. Балли к «социологической школе в языкознании», об этом пишет и М.В. Сергиевский (17). Термин закрепился в СССР, но показательно, что В.А. Звегинцев, сохранив его в отношении А. Мейе, исключил из этой школы Ф. де Соссюра. Есть и другие сходства. Положение А. Мейе: «Между понятиями и словами, взятыми в какой-либо момент развития того или другого языка, нет никакой необходимой связи» (49) соответствует принципу произвольности знака у Ф. де Соссюра. Похож А. Мейе на учителя и в тех нечастых случаях, когда тот сходился с младограмматиками, например, в понимании языковых изменений как непрерывных и бессознательных (54), а также в сохранении психологизма (см. в вышеприведенной цитате термин «ассоциации»), хотя у обоих его меньше, чем у младограмматиков, исходивших из индивидуальной психики.

Наконец, в самом конце книги А. Мейе, отчасти вразрез с некоторыми другими ее местами, пишет: «Оттолкнувшись в начале XIX в. от общей грамматики, лингвистика теперь возвращается к постановке общих вопросов. Научная лингвистика долгое время отождествлялась с общей лингвистикой; история языков в настоящее время уже настолько изучена, что становится необходимым заново устанавливать общие принципы… Нынешняя общая лингвистика, опирающаяся на исследование фактов прошлого и настоящего, стремится выяснить не то, как образовался язык, как впервые возникли грамматические формы, но в каких условиях, согласно каким законам – либо ограниченным в пространстве и во времени, либо постоянно действующим – наблюдаемые факты сосуществуют и сменяются один другим» (471).

В этой цитате нет терминов «синхрония» и «диахрония», но она показывает, что А.А. Холодович был не вполне прав. А. Мейе принимал идеи своего учителя, даже

идею о синхронии и диахронии, просто тематика его книги соответствовала канонам прежней эпохи, тогда как новые идеи и методы тесно связывались и со сменой приоритетов в тематике, на что А. Мейе уже не мог пойти. И книга стала завершением одного из этапов в развитии мировой лингвистики, хотя ее автор, в отличие, например, от К. Фосслера, не был враждебен новому этапу.

Сто́ит сказать и об отношении А. Мейе к традиции В. Фон Гумбольдта. В одном месте книги он, не называя это имя, обращается к его идеям: «Язык, как когда-то было высказано, не вещь, ἔργον, а деятельность, ενέργεια» (52–53). Об этом сказано в связи с вопросом об освоении языка ребенком (по той же причине обратился к В. Фон Гумбольдту и Н. Хомский). Как известно, у Ф. де Соссюра как раз здесь точка зрения иная: язык – не деятельность, весь этот аспект относится к речи. Еще раз о языке как деятельности с упоминанием имени Гумбольдта – на с. 451. Но в целом гумбольдтовская традиция мало отражена у А. Мейе, как и у большинства его современников.

Хотя книга А. Мейе действительно не является «сочинением по общей лингвистике», но в ней по ходу дела не раз затрагиваются общие проблемы синхронии и диахронии, и не раз высказанные идеи оказывались перспективными. Например, сейчас часто используется понятие грамматикализации. Автор книги пишет: «Выразительное значение слов вследствие употребления ослабляется, их сила уменьшается, и они стремятся образовывать группы… Слова, первоначально самостоятельные, путем употребления низводятся на степень грамматических элементов… В настоящее время три первоначально самостоятельных (латинских. – *В.А.*) слова (*ego*, *habeo* и *factum*), которые дали в результате фр. *j'ai fait*, составляют лишь одну грамматическую форму, равносильную латинскому *feci* и не имеющую больше выразительной силы. Слова, которые таким путем становятся простыми грамматическими элементами, привесками предложения, произносятся особенным образом, часто укорачиваются и в своем фонетическом развитии отличаются от главных слов» (54–55). Понятие грамматикализации активно используется в современной лингвистике, особенно в типологии. Как отмечается в современных работах, сам этот термин восходит к А. Мейе [Плунгян 2000: 232]. Правда, у В.А. Плунгяна и др. речь идет о другой его работе «Эволюция грамматических форм», но и в книге, хотя сам термин не встречается, но, как видно из приведенной цитаты, речь идет именно об этом. Можно отметить и выделение у А. Мейе «нулевых окончаний» (167), изучение до Н.С. Трубецкого законов конца слова (158) и др. А в исследовании закономерностей развития языков все большую роль сейчас играет понятие языкового сдвига, которое фактически рассматривается А. Мейе, когда он говорит о смене языка языковым коллективом (57–60, 69).

Книга А. Мейе не посвящена вопросам типологии (время ее написания, пожалуй, стало периодом наибольшего кризиса типологических исследований), однако весьма любопытны содержащиеся в ней рассуждения о типологических характеристиках индоевропейского праязыка. Точнее, в данном месте книги «индоевропейский язык» может подменяться древнегреческим или латинским, но это в рассматриваемом здесь аспекте не так существенно.

А. Мейе пишет: «Индоевропейский морфологический тип был чрезвычайно своеобразен и вместе с тем крайне сложен. Слово являлось в нем лишь в сочетании со словоизменительными элементами: во французском языке есть лишь слово *pied* “нога”, а в индоевропейском были лишь именит. падеж единств. ч. **pōts*..., родит.-отложит. единств. ч. **pedé/ós*, именит п. множеств. ч. **pódes* и т. д. Иначе говоря, “слово” со значением “нога” не выступало отчетливо… В латинском языке для значения «волк» нет ни слова, ни выделяемой основы; есть только совокупность форм: *lupus*, *lupe*, *lupum*, *lupī*, *lupō*, *lupōs*, *lupōrum*, *lupīs*. Нет ничего менее ясного, чем подобный прием» (426–427). Мейе отмечал и то, что «все индоевропейские языки в большей или меньшей степени, одни раньше – другие позже, обнаружили склонность упразднить словоизменение и довольствоваться словами как можно менее изменяемыми, а в конце концов и вовсе неизменяемыми» (427).

Р.О. Шор по этому поводу справедливо отмечает: «Как понимание структуры отдельного слова.., так и понимание структуры предложения древнейших индоевропейских языков не представляет с точки зрения русского языка – языка синтетического строя – тех затруднений, которые оно представляет с точки зрения французского языка – языка аналитического строя... В этом нетрудно убедиться, сопоставляя русские переводы с греческими примерами в этой части книги» (500); см. также (496).

А. Мейе, разумеется, знал, что в славянских языках «сохранилось богатое склонение» (437), но явно исходил из представлений носителей французского языка, для которых словоизменение – «крайне сложный» и «неясный» прием. Для французских читателей описываемый морфологический тип требовал специальных пояснений, характеризовался как «чрезвычайно своеобразный» и связывался с «неясностью» выражения значений. Упразднение склонения и спряжения, якобы происходившее во всех индоевропейских языках, трактуется как естественное явление.

Как известно, европейская лингвистическая традиция первоначально основывалась на представлениях носителей как раз «чрезвычайно своеобразного», по А. Мейе, строя, что отразилось в традиционных понятиях склонения и спряжения: соответствующие явления рассматривались не как присоединение аффикса к основе, а как изменение целого слова. В терминологии Р.Х. Робинса, это модель «слово – парадигма» в противовес модели «морфема – слово», появившейся в Европе лишь в XVI в. [Робинс 2010: 48]. Когда сформировалась русская традиция, в ней ввиду сходного строя эта модель хорошо прижилась, даже несмотря на появление в ней также и понятий корня и аффикса. Русская лингвистическая традиция XIX–XX вв., выработавшая понятия формы слова, грамматической оформленности, цельнооформленности, словоформы и т.д., исходила из представления о языке синтетического строя как эталоне. Но французская традиция, исходно такая же, по мере перехода от латинского к французскому эталону резко изменилась, что можно видеть из формулировок А. Мейе. Их можно сопоставить с подходом Ш. Балли, разделившего традиционное слово на две единицы: семантему – лексическую единицу и синтаксическую молекулу – минимальную единицу синтаксиса. Согласно Ш. Балли во французском языке семантема вроде того же pied самостоятельна и не требует никаких окончаний, а языки вроде латинского «топят семантему в молекуле», добавляя к ней окончания [Балли 1955: 315–316]. А. Мейе указывает, что не только слово, но и основа «выражает понятие» (170), тогда как А.И. Смирницкий отказывался считать лексической единицей основу слова, поскольку основа вроде *окн-* – «обрубок» [Смирницкий 1955: 14]. То есть для лингвиста – носителя русского языка «оформленность» слова – норма, а для лингвиста – носителя французского языка «оформленное» слово – «чрезвычайно своеобразная» особенность отдельных языков (для А. Мейе, древних индоевропейских). Итак, в книге отразились как значительные типологические различия между синтетическими и аналитическими языками (даже принадлежащими к одной индоевропейской семье), так и различия между национальными лингвистическими традициями, в том числе в понимании слова.

Наконец, книга А. Мейе представляет интерес и как исследование по истории лингвистики. Помимо краткого, но содержательного очерка истории компаративистики XIX в. и начала XX в., книга содержит и ряд более общих идей. Очень существенно замечание о том, что «греки могли наблюдать и описать языки, впоследствии исчезнувшие бесследно или же сильно изменившиеся в дальнейшем», «но у греков не было и мысли о том, что все эти варварские наречия представляли формы… языка, близкого к их языку… Единственным языком, ими изучавшимся, был язык их народа» (445). А. Мейе здесь указывает на то, как могут быть различны культурно обусловленные точки зрения на один и тот же предмет. Для древних греков существовала пропасть между «бормотанием варваров» и единственным настоящим человеческим языком, а для современного лингвиста это все – языки индоевропейской семьи, и отсутствие данных по многим из них – невосполнимая утрата. Любопытно и сопоставление компаративистики с классической филологией, которая до середины XIX в. «сопротивлялась новому направлению», то есть сравнительно-историческому языкознанию; и во време-

на А. Мейе (вероятно, и сейчас) «многие классические филологи не знают сравнительной грамматики, а если и пытаются ею овладеть, то плохо справляются с ее методом» (453). Очень четка и точна сравнительная характеристика Ф. Боппа и В. фон Гумбольдта: «Бопп пренебрегал общими идеями, предпочитая выяснять точные подробности, Вильгельм фон Гумбольдт, наоборот, в своих сочинениях излагал почти исключительно общие идеи» (451).

Отмечу, что среди упоминаемых А. Мейе лингвистов есть и русские. Особенно много сказано о Ф.Ф. Фортунатове, который высоко оценивается не только как славист, но и как индоевропеист, подтвердивший, в частности, идеи книги Ф. де Соссюра 1878 г. (463). В историческом очерке упомянуты также И.А. Бодуэн де Куртенэ (опять-таки без упоминания его критики родословного древа), Г.К. Ульянов, С.М. Кульбакин. А среди многих фамилий лингвистов других стран присутствует и Л. Блумфилд, упомянута и его книга «Язык» (473).

Подводя итоги, можно сказать, что книга А. Мейе хорошо отразила этап развития мировой науки о языке, непосредственно предшествовавший ее повороту в сторону синхронии (этот поворот упомянут, но не мог в силу тематики книги отразиться в ее основной части). Лингвистика того времени достигла больших успехов в одной, как мы сейчас понимаем, очень узкой области: в реконструкции не отраженных непосредственно в текстах праязыковых состояний и в выявлении исторических путей развития от праязыков до известных нам языков. Реально эта область была еще у́же: за весь XIX в. наука почти не вышла за пределы индоевропейской семьи. В книге отражены основные черты сравнительно-исторического языкознания того времени. Оно обладало очень строгим методом и гораздо менее богатой теорией. Оно многого добилось в исторической фонетике и не выработало строгие методы в синтаксисе и семантике. Выдвинув очень жесткие методологические требования (А. Мейе, пожалуй, заходил здесь дальше большинства ученых), оно далеко не всегда соблюдало их на практике. От каких-то проблем, которые не решались, наука не без сожаления отказалась (происхождение языка, строй «первобытных языков»), но какие-то проблемы упорно продолжали обсуждать, несмотря на отсутствие строгого метода для их решения (синтаксис и семантика праязыка, культура его носителей, строй языка более древнего, чем праиндоевропейский). Какие-то области отставали, а где-то прорывались далеко вперед без обеспеченности тылами: масса усилий была потрачена на реконструкцию индоевропейского праязыка, хотя праязыки для отдельных групп этой семьи в большинстве не были восстановлены. Поэтому в книге А. Мейе немало логических неувязок и противоречий, но они отражали живое развитие науки того времени. И индоевропеистика была одним из величайших достижений гуманитарных наук XIX в.; и сейчас, когда теоретические споры и прорывы в основном переместились в другие области лингвистики, она продолжает развиваться и получать новые результаты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алпатов 2006 – *В.М. Алпатов.* Компаративистика, ее критики и герои // Вопросы филологии. 2006. № 2.

Балли 1955 – *Ш. Балли.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.

Беликов 2006 – *В.И. Беликов.* Конвергентные процессы в лингвогенезе: Дис. … докт. филол. наук. М., 2006.

Зализняк 1977 – *А.А. Зализняк.* О «Мемуаре» Ф. де Соссюра // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.

Плунгян 2000 – *В.А. Плунгян.* Общая морфология. М., 2000.

Робинс 2010 – *Р.Х. Робинс.* Краткая история языкознания. М., 2010.

Смирницкий 1955 – *А.И. Смирницкий.* Лексическое и грамматическое в слове // Вопросы грамматического строя. М., 1955.

Холодович 1977 – *А.А. Холодович.* О «Курсе общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.

Шор 1931 – *Р.О. Шор.* Языковедение // БСЭ. Т. 65. М., 1931.

© 2010 г. Л.В. ЗУБОВА

ИРОНИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА: СРЕДНИЙ РОД В ИГРОВОЙ НЕОЛОГИИ*

В статье рассматриваются факты грамматической неологии, характерные для сетевого общения людей, склонных к игровому словотворчеству: образование форм среднего рода типа *книжко*, *стихо*, *проблеммо*, их связь с игровой антиорфографией и с историей языка. Анализируются психологические и социальные причины этой моды, рассматриваются аналогичные явления из языка поэзии.

В лингвистике давно замечена тенденция к утрате среднего рода в русском языке, особенно явно выраженная в диалектах [Обнорский 1927: 65–66; Высотский 1948: 81–101]. Однако утрате среднего рода противостоит тенденция, указывающая на повышенную востребованность этой категории не только книжными стилями речи[1], но и за их пределами. В разговорном языке, социальном и экспрессивном просторечии весьма продуктивны оценочные собирательные существительные типа *бабьё*, *старичьё*, *солдатьё*; несклоняемые слова, даже обозначающие живых существ (*одно кенгуру*); нередко встречается произношение, а иногда и написание *моё фамилие*, отфразеологическое сращение *моё деньрождение*. Форму среднего рода принимают аббревиатуры, даже без финальных элементов *-о* или *-е*[2]: *Какой род присвоить аббревиатуре ГИБДД? Московское ГИБДД и московская ГИБДД? слышу постоянно – «ое», а вроде как инспекция, то бишь она*[3]; *ЖЖ расшифровывается как живой журнал, значит род мужской, а кто пишет «моё жж» – пишет неправильно, потому что нет слова среднего рода «жеже»*.

В жаргоне появляется много слов типа *гламурьё*, *хулилище*, *бабло*, *бухло*, *кидалово*, *стебалово*, *попадалово*. Оценочная сниженность подобных номинаций опирается на абстрактность и собирательность таких слов, на понятийную семантику среднего рода[4]. Т.Б. Радбиль, анализируя отглагольные существительные среднего рода типа *догоняло-во*, *пошлово*, так объясняет продуктивность этой модели: «Возникающие в результате ее актуализации отглагольные новообразования имеют очень интересную семантику комплексного типа: значение такой лексемы как бы охватывает всю ситуацию в целом или весь комплекс психических состояний лица» [Радбиль 2009: 117].

---

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Грамматика в современной поэзии» РГНФ № 08-04-00214а.

[1] См., например [Виноградов 1972: 75; Крылова 2006: 139]. «На книжный характер существительных среднего рода указывает и тот факт, что в просторечии формы среднего рода часто искажаются, принимая окончания мужского рода: *полотенец, крылец, яблок*, или женского: *в училищу, в стаду, без платьи, в худой ведре*» [Голуб 2005: 223].

[2] Если такие элементы есть в произношении, они все же не воспринимаются как флексии.

[3] Здесь и далее примеры, извлеченные из блогов Интернета (преимущественно Живого Журнала), приводятся без указания на авторов реплик, так как все эти реплики помещены в Интернете под «никами» (псевдонимами). Орфография реплик приводится в соответствии с источниками, за исключением унифицированного в статье написания заглавных букв, которые маркируют начало каждого из примеров. Все картинки скопированы из Интернета.

[4] О понятийном среднем роде см. [Есперсен 1958: 281–284].

Подобные новообразования выходят за пределы социально маргинального дискурса: *По просьбам заинтересованных френдов вывешиваю оповещалово об очередном поэтическом сюжете в альманахе «Цвет времени».*

В последние годы стало весьма распространенным и такое явление: в сетевом общении людей, склонных к игровому словотворчеству, активно производятся формы типа *книжко*, *собачко*, *соседко*, *тётко*, *задачо*, *проблеммо*, *рыбо*, *девицо*, *пятницо*[5].

Такие новообразования создаются по аналогии с антиорфографическим клише («мемом») *йа криветко*: «Йа кривéтко (также известен как Йа кривéдко, Йа кревéдко, эрратив от "Я креветка") – популярный интернет-мем, произошедший от известной цитаты на "цитатнике Рунета" bash.org.ru <…> По данным на июль 2009 года на запрос "йа криветко" выходило 28 300 попаданий, а на запрос "йа криведко" – 33 000 <…> "Йа криветко" стало стандартным комментарием в блогах и даже приобрело ряд значений: дезориентации человека, пишущего это, и при этом сохранения у него отличного настроения; просто радостных ощущений; особого мироощущения, нежелания что-либо делать (что вытекает из текста "канонической" цитаты); осознания собственной ничтожности или непонимания чего-либо» [Йа криветко 2009].







При этом явно доминирует словообразовательный тип существительных с суффиксом *-к-*.

Подобные формы часто используются в заголовках, обозначающих жанр текста или изображения: *сказко*, *стихо*, *картинко*, *сценко из фильма*, *напоминалко*, *задачо*.

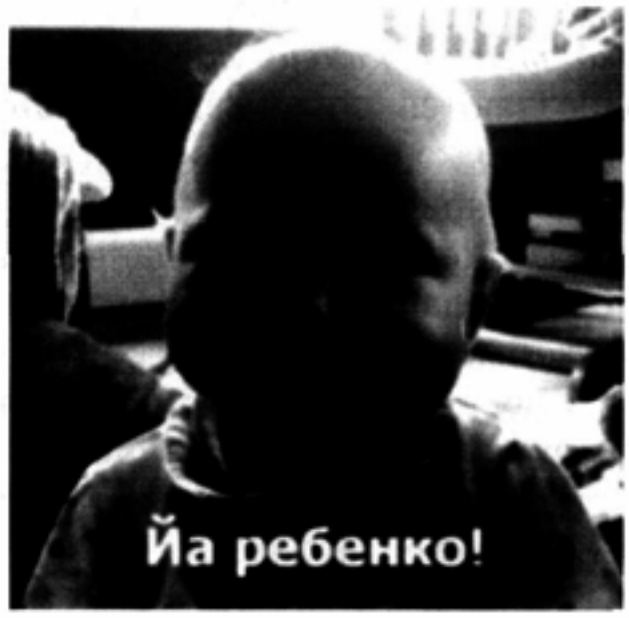
Согласуемые члены предложения при таких существительных употребляются во всех трех родах – встречается и семантическое согласование с опорой на род слова в литературном языке: *Шляпная вечеринко*; *Лошадко сошла с ума*; *В картинку не вошла мордочко шута*; *И первой жертвой пал нещщастный Ванечко, оставленный наедине с Линуксом*, и согласование по форме грамматического неологизма: *Новогоднее корпоративное вечеринко*; *А еще такое тарелко, жена ваяла*; *Кофто очень подошло мне*; *Супер моднецкое туфелько*; *А вот мое симпотичненькое мордочко*; *Мое блондинко вернулось из Индии*; *Рисовку я ещё могу пережить, но вот когда вполне адекватный в каноне парень начинает вести себя как хнычущее тряпко, хочется из милосердия его убить*; *Назрело проблеммо*; *Это задачо съело мой моск*. Вероятно, специальных лингвистических усилий требует демонстративное рассогласование слов по всем параметрам: *Отличный пластинко*; *Новогодний открытко*; *Летающий лягушко*; *Опман зрения, я думал пластинко такой*.

Прослеживается тенденция к несклоняемости грамматических неологизмов среднего рода, указывающая на рост аналитизма в русском языке: *Пиво без водко – деньги на ветер*; *Клавиатуро для блондинко*; *Наливаем в тарелко, посыпаем кунжутом*; *Короче, в этом стихо полно пародоксов*. Встречается и отказ от согласования в числе: *В тексте никаких ошибко нет*; *Они с Машей загорали в теплых кофто*; *Мне вот твои стихо нравятся*. Преобразование существительных в слова среднего рода затрагивает и формы pluralia tantum: *Работать буду – деньго нужно*; *За неё ещё и деньго платить надо*.

---

[5] Интернетовские игры со средним родом были замечены, но как грамматическое явление пока не рассматривались: они интерпретировались как проявление демонстративной антиграмотности и механизма клиширования [Кронгауз 2008: 153–159].

Новообразования среднего рода, обозначающие детей (по возрасту, родственным отношениям или социальному статусу) – *ребёнко*, *внучко*, *племянницо* – воспроизводят те грамматические свойства слов, которые существовали в истории языка, но впоследствии утратились, оставив след в виде внесистемных реликтов (*чадо*, *дитя*, *дитятко*).



Эта же закономерность прослеживается на примерах других словообразовательных моделей с экспрессивными суффиксами: *А что, подумал я, парнишко не вовсе неправ*; *Котище такое... ошарашенное слегка*; *Это же надо выпустить на сцену такое бабище с паклей на голове и перекошенной рожей*; *Когда добираюсь до зеркала на даче, то узнать не могу – такое бабище!*

Отнесение слов с экспрессивными суффиксами к среднему роду, наиболее ярко представленное в былинах (см. [Копелиович 1989: 102–106]), было нормативным еще в XVIII веке: «На *е* окончание имеющие суть рода среднего: *сердце*, *спасеніе*, *писаніе*. Увеличительные, на *ще* кончаемые, от мужеских имен происходящие *столище*, *домище*, *дѣтинище*, хотя суть мужеские, и от женских: *бабище*, *избище*, *силище* – рода женского, однако чаще в среднем употребляются: *великое домище*, *дурное бабище*» [Ломоносов 1952: 439].

Своеобразной реставрацией былой принадлежности слов к среднему роду являются слова *мочалко*, *коленко*: *Это мочалко для полировки доски. Оно должно быть суровым!*; *Самое смешное, что у меня волосы стали лучше – видимо, потому что я их мою теперь раз в неделю – и они слегка оздоровились, раньше ну просто были как мочалко*; *Моё коленко, кажется, становится лучше. На прошлой неделе я вышла на работу*; *Сидели рядом, моё коленко ей немного мешало.* Слово *мочалко* даже стало названием кафе: *10 октября в диско-кафе «Мочалко» болельщики смогут посмотреть футбол на большом экране.* Такими и должны были быть системно закономерные диминутивы от слов среднего рода *мочало*, *колено*, но в литературном языке закрепились варианты с отражением аканья[6].



[6] Ср.: *Золотой луч солнца, скользнув мимо соломенной крыши, упадал на его коленко* (Лермонтов. «Вадим»). Этот и другие примеры приводятся в работе [Виноградов 1978: 213–214].

Употребление форм среднего рода, произведенных от нормативных существительных женского рода, совпадает с древней звательной формой в конструкциях обращения: *Лошадко*!; *Рыбко ты хде*?; *Букво, я тебя знаю*; *А ты не хихикай, женщино*; *Девушко, вы танцуете? а я пою, бугага!*



Стихия игровой неологии, связанной с активизацией среднего рода, иногда затрагивает и прилагательные. Поскольку в системе языка почти любое прилагательное как родоизменяемая часть речи может быть среднего рода, выразительность игровой грамматики усиливается деформацией окончаний. Например, окончание прилагательного среднего рода в реплике *Я в этой кофто похожэ на узбечку* усилено заменой буквы «е» на букву «э», а фотография маленькой девочки, остриженной наголо, с короной на голове, подписана словами *Лысайо прынцессо*.

Возможно, антиорфографические написания глаголов типа *нравиццо*, *радуетсо*, которые появились в сетевом жаргоне раньше, чем распространилась мода на средний род, в контексте этой моды могут быть восприняты как глаголы настоящего времени в среднем роде, что, конечно, грамматически асистемно, но вполне экспериментально. Впрочем, асистемность таких форм относительна: глаголы прошедшего времени могут быть среднего рода, а это создает прецедент и для экспериментов с формами настоящего времени.

Активизация грамматических неологизмов среднего рода приводит и к тому, что авторы высказываний предлагают читателям переосмыслить литературные двухкорневые слова с соединительной гласной «о»: *Красивое стихо-творение!*; *Начну выкладывать своё стихо-творчество. Заценяйте*; *Смутное, невнятное, бесцельное пока стихотворчество, потребность, еще не ставшая необходимостью.*

Любопытно, что авторам таких реплик иногда бывает недостаточно дефиса, полуавтономность элемента *стихо-* демонстрируется кавычками перед дефисом: *А ты очень красноречиво проиллюстрировал процесс «стихо»-творчества.* Элементы двухкорневого слова расчленяются запятой на разные слова при сохранении буквенно-звуковой последовательности: *Настроеньице: крео. Меточки: малостишия, синячки, стихо, творчество.* Расчленение слова маркируется и комбинацией запятой с последующей заглавной буквой: *Стихо, Творчество, оно проходит... а я, все-таки, помню наизусть.* Встречается пробел между элементами, пунктуационно не разделенными: *Спасибо, на мой взгляд тема посвящённая стихо творчеству, как минимум не лишняя.* Слэш позволяет повысить автономность элемента *стихо-* включением его в перечислительный ряд: *Увлечение фэнтези (как следствие, «менестрельным» песне/стихо/творчеством) – откровенный, намеренный (можно сказать – честный) уход от реальности*; *Забавная игрушка в помощь стихо/творчеству/сложению/анализу.* Переосмысливаются и конструкции с субстантивным определением (*Стихо-конкурс*; *Стихо-заклинание в духе Иоанна Богослова*).

При употреблении новообразований среднего рода заметна тенденция к фразеологизации высказываний (надписей, подписей), структурно производных от исходного клише *йа креведко*: существует немало надписей на футболках, кружках и других пред-

метах с местоимением *я* (*йа*): например, табличка на автомобиле *Я блондинко*, надпись на бутылке *Йа водко*, слова на десятирублевой купюре *Йа дисядко*.

Таким образом, игровой язык сетевого общения, начавшийся с антиорфографических забав, существенно затрагивает грамматику и фразеологию. Элементы этого языка, выходя за рамки Интернета, попадают в устную и художественную речь.

Впрочем, поэтические эксперименты иногда значительно опережают явления практического языка. Так, в стихотворении Виктора Сосноры «У ворот (лубок)», из цикла «Хутор потерянный», написанного в 1976–1978 гг., есть строки:

У ворот
(вот-вот!)
о овца, как офицер
(пьяница, одеколон!)
с мордой
смотрит:

во дворе лежит бревно, – как попало, голышом...

ЧЬЕ ОНО **ЛЮБОВНИЦО**?

[Соснора 2006: 623].

У Александра Левина в стихотворении «Перестановка мебели», помещенном в сборник 1995 г., есть такие строчки:

стул – бродячее дерево,
которому приделали ноги,
двоюродный брат пиджака, который висит на нём
как родной (кто на ком?)
Кресло – двоюродное **сестро** стула,
но не родственник пиджаку

Пиджак.

[Левин 1995: 96–97][7].

Новообразования среднего рода весьма активно осваиваются в современном стихотворчестве, реагирующем на сетевую моду.

Упражнением-забавой можно считать такой текст (здесь приводится отрывок из очень длинного стихотворения, сочиненного коллективно). «Вот такая поэма родилась из диалогов с моими коллегами по аське», – пишет блогер xacumomo, адресат стихотворения, помещая текст в своем Живом Журнале 10 апреля 2009 г.):

Анко – Креведко
седлала Медведко
гоняла Конядко
Ловила Енотко
Енотко умчалсо
проголодалсо
нашел Анко – грядко
и долго там пасся.

нарыл там морковко,
одно помидорко,
натырил картошко,
сложил все в лукошко,

---

[7] Шрифтовые выделения слов в цитированных стихах мои. – *Л. З.*

Анализ словоупотребления *любовницо* и *сестро* в стихотворениях В. Сосноры и А. Левина см. в книге [Зубова 2000: 293–295].

помыл рядом в речко,
отнес на крылечко,
порезал все ровно
и схавал задорно :)

потом огляделсо,
на хвост свой уселсо,
глядит и дивицца:
ведь не с кем делицца...

[Ода мне 2009].

Стихотворение заканчивается словами *а дальше лень придумывать*.

В следующем контексте форма среднего рода активизирует свою потенциальную грамматическую полисемию, создавая объемный образ:

Как **пчелко** – гудит под землею Неглинка,
скользят хоккуисты по невскому льду
и рыжая дремлет брюнетка блондинка,
которую – сам у себя украду

[Кабанов 2005].

Здесь в слове *пчелко* можно видеть не только существительное, но и наречие, и безличный предикатив. Эта контекстуальная грамматическая неопределенность, суммирующая варианты возможного восприятия, дублируется и на лексическом уровне: *и рыжая дремлет брюнетка блондинка*, и на словообразовательном: в слове *хоккуисты* объединены названия авторов хокку и хоккеистов.

Мода на средний род заслуживает серьезного внимания: разнообразные психологические и социальные причины этого явления могут много сказать о самоощущении современного человека и о его картине мира[8].

Этот язык субкультуры Интернета возник и пока преобладает вовсе не в низших социальных слоях, а в среде грамотных людей из творческой интеллигенции, причем далеко не только молодых.

Можно предположить, что в грамматической забаве, активизирующей средний род, осуществляется потребность человека снизить пафос высказывания, интимизировать речь. Когда автор говорит о своем произведении *стихо* или *картинко*, он самоиронией защищается от чужого строгого отношения к произведению. Когда автору говорят: *это прекрасное стихо*, ему дают понять, что одобрение исходит из неофициальной среды, когда то же слово *стихо* включается в порицающий контекст, неодобрение смягчается игровой формой. Клише типа *йа креведко*, *йа блондинко*, *йа лошадко*, возможно, обусловлены аксиологически: подразумевается, что любой человек со всеми его недостатками имеет право быть самим собой и быть принятым в обществе.

В грамматической трансформации именований, указывающих на пол человека (*мужчино, любовницо*), очевиден потенциал грамматического способа оценки – указание на неполное соответствие человека его гендерной роли.



[8] «История языка – это история поколений, как теперь говорят, пользователей, а вовсе не история отдельных слов. И семантика это не набор приписанных словам значений, которые старшие передают младшим в назидание, а только такое значение, которое непосредственно устанавливается в акте коммуникации, или, как мы бы с вами сказали, в событии общения» [Гусейнов 2006: 174].

Представляется особенно важным, что грамматические неологизмы среднего рода потенциально энантиосемичны как модальные и оценочные единицы языка. А это значит, что принципиально значима сама неопределенность их модальности и оценочности, говорение «как бы в шутку» (в сети неологизмы среднего рода очень часто сопровождаются смайликами). Может быть, именно поэтому игра в средний род так затянулась, что она имеет психотерапевтический характер и смысл.

Вероятно, на распространение слов среднего рода со значением лица или какого-либо живого существа (т. е. остро парадоксальных номинаций) влияет системная возможность подобной номинации, связанная с памятью языка: это и зватсльная форма с окончанием *-о*, и слова с экспрессивными суффиксами, изменившие былой средний род на мужской или женский (*бабище*, *девчонко*, *зайчишко*), и фамилии типа *Бондарко*, *Ивашко*, в далеком прошлом диминутивы имен нарицательных, и метафорические наименования людей словами типа *солнышко*, и возможность среднего рода в обозначении живых существ гиперонимами *животное*, *насекомое*, *млекопитающее*, в том числе существ мифических: *чудище*, *чудовище*.

Конечно, это только некоторые из возможных интерпретаций. «Часто бывает желательным и даже необходимым при обозначении живых существ иметь слова, которые ничего бы не говорили об их поле и были бы в равной степени приложимы к существам мужского и женского пола» [Есперсен 1958: 269]. Возможно, такие слова, как *лошадко*, *мужчино* являются попыткой создать новую модель слов общего рода.

Не вполне ясно, можно ли в таком словоупотреблении видеть нейтрализацию оппозиции по признаку пола: нейтрализация обычно происходит в немаркированном элементе оппозиции, а весь рассмотренный материал показывает экстремально высокую степень стилистической маркированности новообразований среднего рода[9]. Коннотативная нагруженность этой категории определяется тем, что, в соответствии с нормой, существительные среднего рода – преимущественно неодушевленные, абстрактные или собирательные.

Важно, что средний род – категория условная, не соотнесенная с полом, что адекватно выражено в латинском термине «neutrum» и, например, в белорусском «ніякі». Именно семантически пустое и способно максимально наполняться содержанием. Это свойство среднего рода издавна является основанием острословия: *Безбородко говорил об одном своем чиновнике: «Род человеческий делится на он и она, а этот – оно»* [Русский литературный анекдот 1990: 77]; *...А кофе пьем какое-то говно – / Какой там «он» – понятно, что оно!..* [Вишневский 2000: 256].

Востребованность среднего рода речью с установкой на выразительность лишь отчасти противоречит тенденции к утрате этой категории. При ослаблении категории ее элементы вытесняются на языковую периферию, становясь стилистически маркированными. Потому они и оказываются сильным средством художественной образности и речевой экспрессии.

Наблюдаемые факты интересны и как проявление динамики в нелинейной эволюции языка. Если тенденцию к вытеснению среднего рода из русской грамматики признать реальностью, то следует заметить, что на периферии языка вытесняемые грамматические формы получают новую функцию – прагматическую – с перспективой семантической дифференциации нейтрального варианта и стилистически маркированного.

Такая перспектива напоминает о гипотетически былом смысловом различении родовых форм в индоевропейских языках. По сведениям, приведенным в статье И.У. Кобовым, неоплатоник Аммоний из Александрии (V век н. э.) указывал, что существительные мужского рода выражают активное начало, женского – пассивное, а среднему роду свойственна такая семантика: «1) существа, возникшие из мужского и женского пола, например, τό παιδιον – "ребенок"; 2) существительные, обозначающие переход из сильного элемента в более слабый, например, τό σπέρμα – "семя", τό ὕδωρ – "вода";

---

[9] В теории Р. Якобсона статус среднего рода как сильного или слабого члена оппозиций противоречив (см. анализ концепций Якобсона [Шахмайкин 1996: 260–268]).

3) родовые понятия, например, το ζ/ῶον – “живое существо, животное”» [Кобов 1972: 49–50].

Большинство сетевых новообразований среднего рода могли бы быть приблизительно истолкованы в соответствии с пунктами этой классификации. И дело не только в том, что, применительно к пункту 1, появляются варианты слов типа *ребёнко*, а и в том, что во многих случаях объекты внимания, выраженные одушевленными существительными, воспринимаются авторами реплик как дети; в целом же, сама игровая речь с имитацией грамматических и орфографических ошибок является подражанием детской речи.

Применительно к пункту 2 тоже можно увидеть не только характеристику объектов, но и характеристику говорящих субъектов, а также извлечь информацию об отношении субъектов речи к адресатам (способным принять шутку). Самый наглядный пример – исходное клише *йа криветко* со значениями, указанными выше, и ближайшие к нему производные выражения типа *йа блондинко*, *йа дисятко*.

Пункт 3 представлен тем, что и одушевленные, и неодушевленные существительные, оформленные как слова среднего рода, таксономически объединяются грамматическим значением гиперонима *существо*.

Если эти толкования верны, а также если верны утверждения Аммония, массовая лингвистическая игра, возникшая в сетевом общении начала XXI века, опирается на исходную семантику категории рода, описанную в те времена, когда еще можно было хотя бы приблизительно установить мотивацию явлений, которые к нашему времени утратили логику грамматического обозначения.

Существовали и другие попытки найти семантические основания для различения существительных по роду за рамками соответствия грамматического рода полу живых существ. «По Я. Гримму, все быстрое, активное относилось к мужскому роду, все малое, спокойное, пассивное – к женскому, а все искусственное, собирательное – к среднему» [Шахмайкин 1996: 230].

Современная лингвистика настаивает на том, что «род – это прежде всего грамматикализованная согласовательная категория, разделяющая всю именную лексику языка на классы (роды), отличающиеся друг от друга не своей семантикой, а грамматически выраженным способом синтаксического соединения с зависимыми словами» [Шахмайкин 1996: 270][10]. Однако любые тексты, ориентированные на осуществление эстетической функции языка, склонны преобразовывать формальное в содержательное.

Стилистическая функция категории рода в целом обусловлена тем, что эта классификационная категория, которая «не имеет последовательного содержательного объяснения» [Русская грамматика 1980: 467], является потенциально формообразовательной (модификационной). Изменение существительных по родам в древнерусском языке проявлялось варьированием форм рода (см., например [Обнорский 1927; Глинкина 1974]); нестабильность грамматического рода свойственна и современным говорам [Блинова 1965]. Архаические явления в этой сфере можно объяснить наследием праславянского синкретического имени, которое могло обозначать и предметы, и признаки [Потебня 1968: 62].

Это наследие, вероятно, и сейчас является резервом формообразовательных возможностей категории рода: «в современных текстах весьма часты попытки изменить род существительного, идущие как бы в направлении словоизменительной регуляризации этой категории <…> мы имеем здесь дело с множественными случаями расшатывания родовых оппозиций вполне грамотными носителями русского языка. И если данные примеры и возможно истолковать как случаи “игры” или “манипуляции” с родом, то надо отдавать себе отчет в том, что за этими “манипуляциями” стоят какие-то объективные внутриязыковые силы» [Норман 2006: 166, 171].

---

[10] Автор высказывания основывает свою формулировку на анализе многочисленных теоретических подходов к изучению категории рода.

Вероятно, эти силы – не только внутриязыковые. Современный материал, извлеченный из текстов начала XXI века, побуждает очень внимательно отнестись к высказыванию: «на род нужно смотреть как на явление, порожденное временными (не всегдашними) потребностями национальной (не общечеловеческой) мысли, не первобытной, а уже предполагающей, быть может, тысячелетия существования языка и сознательной мысли» [Потебня 1968: 451]. Приводя эту цитату, Л.С. Ковалева и Л.Т. Кабулова предваряют ее словами «пессимистический прогноз» [Ковалева, Кабулова 1994: 117]. С такой характеристикой трудно согласиться: этот «прогноз» представляется исключительно оптимистическим, так как жизнеспособность языка определяется возможностью изменяться, выражая именно сознательную мысль, а не только следуя языковым привычкам.

Поскольку все языковые изменения начинаются именно на периферии языка, можно предположить, что у среднего рода есть будущее не только в пределах фиксированной современной нормы, но и в грамматической динамике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Блинова 1965 – *О.И. Блинова.* Заметки о морфологическом варьировании имен существительных в говорах // Вопросы русского языка. Томск, 1965.

Виноградов 1972 – *В.В. Виноградов.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972.

Виноградов 1978 – *В.В. Виноградов.* О связях истории русского литературного языка с исторической диалектологией // В.В. Виноградов. Избранные труды: История русского литературного языка. М., 1978.

Вишневский 2000 – *В. Вишневский.* Басни о Родине. М., 2000.

Высотский 1948 – *С.С. Высотский.* Утрата среднего рода в говорах к западу от Москвы // Доклады и сообщения Ин-та русского языка АН СССР. 1948. Вып. 1.

Глинкина 1974 – *Л.А. Глинкина.* О родовариантных формах существительных в древнерусском языке (По «Материалам...» И.И. Срезневского) // Вопросы словообразования и лексикологии древнерусского языка. М., 1974.

Голуб 2005 – *И.Б. Голуб.* Стилистика современного русского языка. М., 2005.

Гусейнов 2006 – *Г. Гусейнов.* Жесть технология // Знамя. 2006. № 4.

Есперсен 1958 – *О. Есперсен.* Философия грамматики / Пер. с англ. В.В. Пассека, С.П. Сафроновой. М., 1958.

Зубова 2000 – *Л.В. Зубова.* Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.

Йа криветко 2009 – Йа криветко // http://ru.wikipedia.org/wiki/Криветко. 20 декабря 2009.

Кабанов 2005 – *А. Кабанов.* Vorovskaya // http://alexandr-k.livejournal.com/78728.html. 01.08.2005.

Кобов 1972 – *И.У. Кобов.* Проблема грамматического рода в античной грамматической науке // М.Е. Грабарь-Пассек, М.Л. Гаспаров, Т.И. Кузнецова (ред.). Античность и современность: к 80-летию Федора Александровича Петровского. М., 1972.

Ковалева, Кабулова 1994 – *Л.С. Ковалева, Л.Т. Кабулова.* Экспрессивный потенциал грамматической категории рода в сниженных стилях // Язык и эмоции. Волгоград, 1994.

Копелиович 1989 – *А.Б. Копелиович.* Очерки по истории грамматического рода. Владивосток, 1989.

Кронгауз 2008 – *М.А. Кронгауз.* Утомленные грамотой // Новый мир. 2008. № 5.

Крылова 2006 – *О.А. Крылова.* Лингвистическая стилистика. Кн. 1. Теория. М., 2006.

Левин 1995 – *А. Левин.* Биомеханика. М., 1995.

Ломоносов 1952 – *М.В. Ломоносов.* Российская грамматика // М.В. Ломоносов. Полное собрание сочинений: В 7 т. Т. 7. Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л., 1952.

Норман 2006 – *Б.Ю. Норман.* Лингвопсихологические аспекты грамматической категории рода // RLing. 2006. V. 30. № 2.

Обнорский 1927– *С.П. Обнорский.* Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1. Л., 1927.

Ода мне 2009 – Ода мне // http://xacumomo.livejournal.com/44787.html. 10.04.2009.

Потебня 1968 – *А.А. Потебня.* Из записок по русской грамматике. Т. 3. М., 1968.

Радбиль 2009 – *Т.Б. Радбиль.* Активные процессы в русском языке последних лет и русская языковая картина мира // Функциональная семантика: Сб. докл. Международной научной

конф. II Новиковские чтения «Функциональная семантика языка, семиотика знаковых систем и методы их изучения». Москва, 16–17 апреля 2009 г. М., 2009.

Русская грамматика 1980 – Русская грамматика: В 2 т. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М., 1980.

Русский литературный анекдот 1990 – Русский литературный анекдот XVIII – начала XIX в. / Сост., примеч. Е. Курганова, Н. Охотина. М., 1990.

Соснора 2006 – *В. Соснора*. Стихотворения. СПб., 2006.

Шахмайкин 1996 – *А.М. Шахмайкин*. Проблема лингвистического статуса категории рода // Актуальные проблемы современной русистики. Диахрония и синхрония. М., 1996.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2010

© 2010 г. А.А. ГОРБОВ

ТОП-МЕТОД ЭКСПРЕСС-НОМИНАЦИИ ЭКОНОМ-КЛАССА: О РУССКИХ ИМЕННЫХ КОМПОЗИТАХ С АТРИБУТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ В ПРЕПОЗИЦИИ К ВЕРШИНЕ*

Статья посвящена анализу русских именных композитов с не выраженной сегментными средствами связью между существительным-вершиной и препозитивным определением. В работе дается классификация подобных композитов, а также анализируются причины формирования и экспансии новой грамматической модели в русском языке. Проведенное исследование показывает, что композиты данной структуры имитируют структуру английских именных групп с препозитивным примыкающим определением. Кроме того, в статье рассматриваются прагматические аспекты функционирования в русском языке именных композитов, построенных по данной модели, и высказывается предположение о том, что их активная экспансия обусловлена как престижностью английского языка, так и тенденцией к экономии языковых средств в плане выражения.

В данной статье рассматривается ряд проблем, связанных с относительно новым для русского языка явлением, получившим, однако, в последние годы большое распространение и продолжающим интенсивную экспансию, – образованием именных комплексов (композитов) с несогласованным атрибутивным или аппозитивным элементом в препозиции к вершине. Речь идет об образованиях типа *интернет-технология*, *веб-решение*, *топ-менеджер*, *дизайн-бюро*, *арт-проект*, *бизнес-центр*, *USB-порт*, *Горбачев-фонд*, *онлайн-представительство*, *маркетинг-план* и т. п. Эти образования представляют собой двухкомпонентные комплексы, второй компонент которых является самостоятельным существительным, а первый компонент – единицей, уровневый статус которой подлежит уточнению. Неясность статуса первого элемента делает неясным и статус всего комплекса, в связи с чем для обозначения данного явления употребляются нетерминологические наименования «комплекс» и «композит»[1].

Представляется, что появление и бурное распространение подобных именных комплексов заслуживает внимания и объяснения, а их структура и семантика – лингвистического описания.

---

* Работа выполнена в рамках проекта «Современная русская речь: проблемы нормы и динамика языковых изменений» и при поддержке Гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ «Школа общего языкознания Ю.С. Маслова» НШ-3668.2010.6.

[1] Широко известна концепция, согласно которой все несклоняемые атрибутивные элементы образуют особую часть речи – «аналитические прилагательные» (см. [Панов 1971]). С такой точкой зрения трудно согласиться ввиду существенных различий в грамматических свойствах объединяемых элементов – степени их автономности, отделимости и переместимости, а также позиции относительно опорного существительного. В «Русской грамматике» некоторые атрибутивные элементы рассматриваются как части «сложных слов с подчинительным (неравноправным) отношением основ» [РГ-80: 1, 241–244], другие же (в основном употребляющиеся в постпозиции к вершине) считаются отдельными словами – прилагательными «нулевого склонения» [РГ-80: 1, 556]. Атрибутивные элементы, употребляемые в препозиции к опорному существительному и совпадающие со словарной формой или основой существительного, как особая группа не рассматриваются.

Существенными признаками рассматриваемых композитов следует считать следующие:

1) композит состоит из двух компонентов, обладающих лексическими значениями;

2) связь между компонентами является подчинительной и носит атрибутивный характер;

3) главный компонент комплекса равен самостоятельному существительному;

4) зависимый компонент совпадает со словоформой или основой слова, употребляемого в русской речевой практике[2], и при этом не является формой или основой прилагательного (чаще всего имеет место совпадение с начальной формой существительного);

5) зависимый компонент находится в препозиции к главному;

6) зависимость не выражена никакими сегментными средствами.

Вопросы, возникающие в связи с массовым появлением и распространением в современном русском языке композитов указанной структуры, можно объединить в следующие две основные группы, условно обозначив их как группу проблем грамматического описания и группу прагматических проблем.

В первую из названных групп входят следующие вопросы:

Каков уровневый статус рассматриваемых именных комплексов: являются ли они словами или сочетаниями слов? Являются ли они инвентарными или конструктивными единицами (≈ должны ли они целиком включаться в словарь)? Существуют ли в русском языке модели, на базе которых или по аналогии с которыми сформировалась модель образования рассматриваемых именных комплексов? В чем заключаются отличия рассматриваемой модели от других структурно и функционально близких моделей?

Вторая группа включает в себя следующие вопросы:

Каковы причины массового распространения таких именных комплексов? В чем прагматические преимущества рассматриваемой модели выражения атрибутивных отношений перед другими моделями?

Поиск исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы предполагает проведение углубленного исследования, которое на данный момент не завершено. В связи с этим в данной статье лишь представляется общее описание имеющегося материала и высказываются основанные на его предварительном анализе предположения о наиболее вероятных ответах на часть сформулированных вопросов (например, не рассматривается важная проблема уровневой принадлежности композитов).

Для анализа именных комплексов, обладающих указанными свойствами, был собран корпус примеров. Для этой цели была составлена сплошная выборка из «Толкового словаря русского языка начала XXI века» [Скляревская 2008], далее в тексте работы обозначаемого «Словарь». В «Словаре» было обнаружено 353 композита рассматриваемой структуры[3]. Затем выбранные таким образом композиты были сгруппированы

---

[2] Осторожность данной формулировки вызвана включением в область рассмотрения так называемых слов-«кентавров» типа *USB-порт, VIP-обслуживание* и др., где препозитивные зависимые элементы изображаются на письме латиницей, в связи с чем ставится под сомнение их принадлежность русскому языку; см., например [Крысин 2008: 173].

[3] Помимо композитов, вынесенных в заголовки словарных статей, учитывались и именные комплексы, обнаруженные лишь в иллюстративном материале словаря: например, в словаре имеются отдельные статьи «хип-хоп-культура» и «хип-хоп-движение», но иллюстративный материал статьи «хип-хоп[2]» содержит также композиты *хип-хоп ассоциация, хип-хоп команда, хип-хоп музыка, хип-хоп фестиваль* (с раздельным написанием компонентов) [Скляревская 2008: 1050–1051]; в словаре нет отдельных статей для композитов с первыми компонентами «хайтек-» и/или «хай-тек-», однако в иллюстративном материале статьи «хай-тек[2] и хайтек[2]» (по мнению авторов «Словаря», это самостоятельное неизменяемое слово) представлены комплексы *хай-тек-бизнес, хай-тек-индустрия, хай-тек-корпорация* [Скляревская 2008: 1044–1045]. Аналогичная ситуация имеет место в отношении композитов со многими другими атрибутивными компонентами. При этом основания для выделения или невыделения отдельной словарной статьи для того или иного композита остаются неясными.

по начальному (зависимому) препозитивному компоненту, после чего в Национальном корпусе русского языка (далее – НКРЯ) и при помощи поисковой системы Яндекс был произведен поиск не зафиксированных в «Словаре» композитов с первыми компонентами, имеющимися в выборке. Регистрировались также случайно встретившиеся на сайтах сети Интернет и при чтении научной литературы случаи употребления композитов аналогичной структуры с атрибутивными компонентами, не зарегистрированными в «Словаре».

При этом важно отметить, что поиск в сети Интернет привел к весьма значительному увеличению объема имеющегося корпуса. Практически для каждого из зафиксированных в «Словаре» атрибутивных компонентов поиск в сети Интернет дает не только уже имеющиеся в «Словаре», но и новые именные комплексы (например, помимо имеющихся в «Словаре» 24 композитов с компонентом «бизнес-» в результате поиска (просматривались первые 50 сайтов, найденных поисковой системой по соответствующему запросу) обнаруживается еще 12, в дополнение к зафиксированным двум композитам с компонентом «интим-» поиск дает еще четыре и т. д.).

Кроме того, в процессе интернет-поиска (заметим в скобках, что данный композит в словаре также отсутствует)[4] встречаются композиты с атрибутивными компонентами, не зафиксированными в качестве таковых в «Словаре». В число таких компонентов входят, например, следующие: *блютус- / Bluetooth-* (*Bluetooth-адаптер*, *блютус-гарнитура*), *эконом-* (*эконом-такси*, *эконом-класс*), *имидж-* (*имидж-агентство*, *имидж-студия*), *люкс-* (*люкс-жизнь*, *люкс-номер*, *люкс-поезд*), *маркетинг-* (*маркетинг-план*, *маркетинг-менеджмент*), *слайд-* (*слайд-адаптер*, *слайд-модуль*, *слайд-проектор*, *слайд-шоу*), *тест-* (*тест-группа*, *тест-система*), а также многие буквенные обозначения и аббревиатуры (*А-класс*, *FTPсервер*, *USB-порт*), некоторые собственные имена (*Горбачев-фонд*, *Вивальди-оркестр*, *Низорал шампунь*) и несколько неизменяемых слов русского языка (например, в композитах-терминах, созданных авторами лингвистических работ: *КАК-типология*, *ПОЧЕМУ-типология*, «*И*, а не *ИЛИ принцип*»)[5].

Общий объем собранного корпуса примеров на момент написания данной работы составил 500 употреблений именных композитов, обладающих перечисленными выше существенными признаками (по одному примеру на каждый встретившийся композит). Кроме того, был составлен дополнительный корпус альтернативных средств, в который вошло около 200 высказываний, содержащих именные группы, полностью синонимичные рассматриваемым композитам, но образованные по иным моделям (существительное с согласуемым прилагательным или существительное с постпозитивным несогласованным определением, например, *маркетинговый план* или *план маркетинга*, а не *маркетинг-план*). Следует подчеркнуть, что в задачи работы не входило составление полного списка или словаря подобных именных комплексов: корпус примеров служит в данном случае для проверки рабочих гипотез о неинвентарном (т. е. конструктивном) характере исследуемых именных комплексов и большей продуктивности модели их производства по сравнению с возможными альтернативными моделями (при их наличии). В связи с этим корпус собранных примеров носит вспомогательный характер и объем этого корпуса сам по себе не имеет решающего значения.

---

[4] В «Словаре» зафиксировано 58 именных комплексов с первым компонентом «интернет-», каждому из которых посвящена отдельная статья. В результате поиска в Интернете было обнаружено еще 10 композитов с первой частью «интернет-», в числе которых *интернет-поиск, интернет-источник, интернет-словарь* и др.

[5] Автором композитов «КАК-типология» и «ПОЧЕМУ-типология» является А.Е. Кибрик [Кибрик 1992], композит «И, а не ИЛИ принцип» употребляется в докторской диссертации М.В. Русаковой [Русакова 2009]. Последний композит отличается от прочих, рассматриваемых в настоящей работе, тем, что в качестве первой части содержит, казалось бы, сочетание нескольких слов с внутренней синтаксической структурой; однако данный комплекс является результатом опущения повторяющегося элемента, «вынесения за скобки» (см. [Касевич 2006: 517–522]), и легко представим через сочетание «И-принцип, а не ИЛИ-принцип».

В результате группировки имеющихся примеров по сходству структурных и семантических характеристик атрибутивных компонентов были выделены следующие типы композитов.

1. Композиты с атрибутивным компонентом – существительным, заимствованным из английского языка[6]

Наиболее многочисленны (380 из 500, или 76% от общего количества примеров) композиты, где первая (атрибутивная) часть представляет собой заимствованное из английского языка нарицательное существительное, усвоенное русским языком как в качестве самостоятельной единицы, так и в качестве атрибутивного компонента именных словосочетаний, где данное слово выступает как определение к другому существительному, причем заимствуемый композит изначально осознается как членимый (в отличие от германских заимствований XVIII в. типа *фартук*, *шумовка*, *зонтик*, которые в момент заимствования как членимые не осознавались). Доля атрибутивных компонентов данного типа составляет около 60% от общего числа препозитивных элементов, представленных в имеющемся корпусе примеров (43 из 72). К компонентам данного типа относятся, в частности, *арт-*, *веб-*, *кэш-*, *секс-*, *фитнес-*, *шоу-* и др. Механизм самостоятельного образования в русском языке композитов с подобными атрибутивными компонентами, таких как *арт-тусовка*, *арт-ярмарка*, *веб-служба*, *веб-преступность*, *секс-товары*, *фитнес-зал*, *шоу-площадка*, по-видимому, таков: элемент заимствуется русским языком параллельно как самостоятельное слово и в составе одного или нескольких готовых композитов[7], например: *шоу* (сущ.) ← англ. *show* и *шоу-бизнес* ← *show business*; композит осознается носителями русского языка как разложимый комплекс, построенный по определенной модели, которую можно использовать для создания других комплексов, уже с привлечением материала, имеющегося в русском языке. Таким образом, заимствованная единица (в нашем примере – *шоу*) укореняется в русском языке не только в качестве самостоятельного слова, но и в качестве первой части именного композита, опорным элементом которого может быть практически любое существительное, лексически сочетающееся с атрибутивным компонентом. Тем самым запускается механизм создания композитов по данной модели в процессе речевой деятельности в соответствии с потребностями говорящего. Приведем несколько примеров:

(1) Организаторы **шоу-программы** «Танго обольщения» наобещали с три короба (Елена Губайдуллина. Танго вместо партсобрания. Аргентинское шоу в Государственном Кремлевском дворце // «Известия», 2002.04.29; НКРЯ);
(2) Агентство «Алфавит» является одним из крупнейших, поэтому в его календаре работы за минувший год – самое большее количество промакций, **шоу-проектов** (Наталья Васкина. Sales promotions – наступление на регионы // «Рекламный мир», 2000.02.15; НКРЯ);
(3) При получении виз в документах было написано, что артистки работают в **шоу-группе** Людмилы Гурченко и в коллективе Аллы Баяновой (Маргарита Кондратьева. Россия вышла на первое место в мире по работорговле // «Газета», 2003; НКРЯ);

---

[6] Данная формулировка отсылает лишь к происхождению компонента и факту его существования в русском языке как самостоятельного существительного и не означает, что данный компонент в составе композита также является существительным: постановка вопроса о частеречной принадлежности компонента имеет смысл только при отнесении компонента композита к уровню слов как автономных единиц языка.

[7] Следует отметить, что атрибутивный компонент композитов и соответствующее самостоятельное существительное не обязательно заимствуются русским языком одновременно. Так, атрибутивный компонент композитов *пресс-конференция, пресс-бюро, пресс-секретарь, пресс-служба, пресс-клуб, пресс-бар, пресс-тур, пресс-сообщество, пресс-тусовка* заимствован из английского языка, но связывается по значению с ранее заимствованным из французского языка существительным *пресса*. Этот факт не влияет ни на характеристики композитов, ни на механизм их образования.

(4) **Шоу-театр** «Холидэй» уникален хотя бы тем, что, не имея своей площадки, он в ней и не нуждается, поскольку все их постановки выездные: на дому, в школах и офисах (Петр Каменченко, Игорь Мартынов. Шоу бродячее // «Столица», 1997.10.28; НКРЯ);
(5) В современном мире производство – уже не просто место, где появляются на свет товары. Это главная **шоу-площадка** для привлечения сверхлояльных потребителей этих товаров (http://www.pr-technologies.ru/images/pr/prproduce.htm).

Представляется, что отсутствие в имеющемся корпусе примеров других композитов с первой частью *шоу-* не означает невозможности их создания и употребления по мере надобности. В частности, композиты *шоу-кампания*, *шоу-версия*, *шоу-тур*, *шоу-центр* (созданные автором настоящей работы) не кажутся «словами, не существующими в русском языке» и вполне могут быть употреблены в русских текстах.

Следует отметить, что все именные основы, соответствующие компонентам, входящим в данную группу, отличаются весьма низкой словообразовательной активностью: от большинства таких основ (30 из 41 обследованных) невозможно или сильно затруднено образование аффиксальных основ прилагательных, причем не только в случаях типа *шоу-* или *спа-*, когда финаль основы не отвечает морфонологическим требованиям имеющихся в русском языке суффиксов, но даже в тех случаях, когда система, казалось бы, должна позволять такую деривацию (ср. с допустимыми морфонологически, но не зафиксированными единицами: **артовый / артный директор*, **бизнесный / бизнесовый план*, **вебный сайт*, **гейный парад*, **хайтечный / хайтековый бизнес* и т. п.). Словосочетания с такими прилагательными звучали бы «слишком по-русски», были бы лишены необходимого «привкуса» западной цивилизации[8]. Окказиональное образование таких прилагательных изредка имеет место, но их употребление стилистически окрашено и может служить для привлечения внимания, например: *Педагогов отправили в инкубатор. Бизнесный!* (заголовок новостной заметки на сайте http://www.penza-online.ru/news.14859.htm).

При наличии прилагательных, образованных от именных основ данной группы (например, *интернетный*, *сексуальный*, *мультимедийный*), в некоторых случаях наблюдается тенденция к стилистическому расхождению (только тенденция, но не жесткое разграничение!) между такими прилагательными и компонентами композитов: прилагательное зачастую менее формально, менее «терминологично», чем компонент композита (см. примеры 6 и 7), либо тяготеет к качественности (пример 8), ср.:

(6) а Кроме того, на рынке денежных переводов появились самостоятельные специализированные **интернет-системы** перевода денег (Денежные переводы мигрантов – фактор инновационного развития мировой финансовой инфраструктуры // «Вопросы статистики». № 8. 2004; НКРЯ);
б Искушенный искатель халявы не идет прямыми путями; он знает, что **интернетный мир** – не без добрых людей (Илья Утехин. Стекло на вырез // «Неприкосновенный запас». 2002.07.14; НКРЯ);
(7) а Мы окажем полный комплекс услуг по созданию **мультимедиа-продуктов**, начиная с видео и фотосъемки, заканчивая дизайном обложки и тиражированием CD (http://softmajor.ru/multimedia/);
б Интересно посетить планетарий с **мультимедийным залом**, оборудованный по последнему слову техники (Виктор Грицюк. Магия пасторали // «Вокруг света». 2004.07.15; НКРЯ);
(8) а Следствие уже установило, как именно работала **секс-фирма** (Подмосковные девушки раздевались для всего мира через интернет // «Вечерняя Москва». 2002.05.16; НКРЯ);

---

[8] По-видимому, здесь следует полностью согласиться с рассуждениями Л.П. Крысина [Крысин 2008: 171] о социально-психологических причинах массового проникновения иноязычных неологизмов в русский язык: высказанные соображения верны, вероятно, и в отношении заимствования некоторых грамматических моделей.

б Излишне **сексуальный вид** в воскресенье может вызвать активный интерес к твоей персоне у множества мужчин, как у плохих, так и у хороших (Больше свободы и открытости! // «Лиза». 2005; НКРЯ).

В некоторых случаях, когда первые части композитов обозначают названия стилей и технологий, в качестве альтернативы композиту выступают обычные в таких случаях для русского литературного языка сочетания опорного существительного с постпозитивным приложением, идентичным по форме и значению первой части композита: *техно-музыка = музыка техно*, *разработки хай-тек = хай-тек разработки*, *блютус-гарнитура = гарнитура блютус* и т. д. При этом, однако, наблюдается отчетливая тенденция к увеличению частотности композитов с аппозитивным элементом в препозиции, копирующих структуру соответствующих сочетаний в языке-источнике заимствования этого элемента: *techno music* (**music techno*), *high-tech engineering* (**engineering high-tech*), *Bluetooth headset* (**headset Bluetooth*). Такая тенденция, по-видимому, также связана с ориентацией на структуры престижного языка-источника, в которых ощущается «привкус» западной цивилизации и культуры потребления. Ввиду того, что в рассматриваемых композитах аппозитивные отношения наименования часто тесно сплетаются с обычными атрибутивными (ср.: *стиль хай-тек* = стиль, называемый «хай-тек», – наименование, выраженное приложением, и *разработки хай-тек* = разработки, относящиеся к области, называемой «хай-тек», – определение с опосредованным наименованием), тенденция выбора структуры с препозитивным зависимым аппозитивным элементом поддерживается и общим массовым распространением модели образования композитов с атрибутивным элементом в препозиции к вершине.

2. Композиты с атрибутивным компонентом – буквенной аббревиатурой или буквенным классификационным обозначением, записываемым латиницей или кириллицей

К данной группе относятся такие композиты как *А-класс*, *НС-показатель*, *FM-диапазон*, *FTP-сервер*, *USB-порт*, *HR-менеджер*, *IT-специалист*, *VIP-зал* и т. п. – всего 55 из 500 имеющихся в выборке примеров (11%).

В целом атрибутивные элементы композитов данной группы по своим свойствам практически не отличаются от соответствующих компонентов композитов первой группы. Различие между группами носит лишь внешний характер. По-видимому, аббревиатуры начали употребляться в качестве атрибутивных элементов композитов в научной и технической литературе в 1960–1970-е гг., ср.:

(9) Основное отличие от предыдущей модели – возможность приема станций в **УКВ диапазоне** [Левитин 1967: 337].

В данном случае, однако, комплекс *УКВ диапазон* следует, по-видимому, считать не именным композитом рассматриваемой структуры, а словосочетанием с сокращенно записанным согласованным прилагательным *ультракоротковолновый*. То же относится ко всем случаям, когда аббревиатура не является заимствованной из английского языка или результатом перевода (ср., например, термин Е.В. Падучевой [Падучева 2004] *Т-категория*, где элемент *Т-* изначально является сокращением прилагательного *таксономическая*). В том же случае, когда композит не сводим к такому сочетанию с прилагательным, имел место перевод на русский язык английской структуры (сопровождавшийся соответствующими пояснениями о правильной расшифровке):

(10) Мы назовем эту часть структурной характеристики «показателем **НС-структуры**»[4] (Phrase-marker) терминальной цепочки *t* или, сокращенно, «НС-показателем» (P-marker).
(Сноска 4: Сокращение – от «показатель структуры непосредственно составляющих». – *Прим. ред.*) [Хомский 1965: 38].

В настоящее время чрезвычайно широкое распространение получило употребление композитов с препозитивной атрибутивной частью, выраженной аббревиатурой, заимствованной из английского языка, причем часто аббревиатура дается на письме только в латинице, без расшифровки, и ее точное значение остается неясным большинству людей, употребляющих аббревиатуру и содержащие ее композиты. Ярким примером является известная сегодня практически каждому пользователю компьютерной техники аббревиатура *USB*, которая входит в состав композитов *USB-порт*, *USB-интерфейс*, *USB-кабель*, *USB-разъем* и т. п. При этом в данном случае (как и в некоторых других) не возникает потребности расшифровки и/или передачи сокращения графическими средствами русского письма: сочетания с расшифрованной и переведенной аббревиатурой были бы громоздкими (ср.: *USB-порт* → *порт универсальной последовательной шины*), а введение кириллической аббревиатуры (**УПШ*) вызвало бы эффект, сопоставимый с употреблением аббревиатуры *ЭВМ* вместо слова *компьютер* продавцом или покупателем в магазине компьютерной техники.

Трудно согласиться с Л.П. Крысиным в том, что такие слова-«кентавры» не принадлежат русскому языку, поскольку они «не прошли еще первый, самый необходимый этап освоения иноязычного слова в русском языке – этап передачи его графическими средствами языка-реципиента», а также в том, что сфера их употребления «ограничена профессиональной средой»[9] [Крысин 2008: 173]. Представляется, что латиница выступает сегодня для русского языка вспомогательной графической системой, целиком воспринятой русским языком и применяемой его носителями для решения прагматических задач, одной из которых является повышение «социального престижа» текста. Данное соображение подтверждается результатами сопоставления композитов, в состав которых входят английские буквенные аббревиатуры (например, *PR-*) и их русские транскрипции, записанные кириллицей (например, *пиар-*). В частности, для наименования должностей сотрудников компаний употребляются только композиты с аббревиатурой *PR-*; в контекстах же, где выражается негативное или ироническое отношение автора текста к деятельности по формированию общественного мнения, в подавляющем большинстве случаев (по имеющимся данным, более 90%) употребляются композиты с компонентом *пиар-*, ср.:

(11) а Генеральный директор – Дмитрий Аброщенко. Вопросы корпоративной **PR-политики** курирует Светлана Пономарева (Кто куда // «Рекламный мир». 2000.03.30; НКРЯ);
б Созданные путем искусственного оплодотворения в **пиар-лабораториях** структуры, словно сиамские близнецы, обречены на смерть вслед за уходом из большой политики их непосредственных боссов и кураторов (Олег Головин. Коллективный Маугли // «Завтра». 2003.08.13; НКРЯ).

Словообразовательная активность аббревиатур так же невелика, как и словообразовательная активность основ атрибутивных компонентов первой группы. При этом производные прилагательные, образованные от аббревиатур, например, *айтишный* (от *IT-*), *пиарный* / *пиаровский*, всегда стилистически маркированы и не обладают «терминологичностью» сокращений-компонентов композитов.

Как и в случаях с несокращенными компонентами именных композитов, при выражении аббревиатурами или буквенными обозначениями отношений наименования в качестве альтернативы композиту выступают сочетания существительного-вершины с постпозитивным приложением: *А-класс* / *класс А*, *FTP-сервер* / *сервер FTP*, *FM-диапазон* / *диапазон FM*. Чаще всего такие варианты равнозначны, однако в текстах рекламного

[9] Сопоставление сфер употребления аббревиатуры *USB* и ее расшифровки *универсальная последовательная шина* показывает, что «профессиональной средой» ограничено как раз употребление расшифровки, а в текстах для пользователей-неспециалистов употребляется только аббревиатура *USB* и содержащие ее композиты.

и коммерческого содержания, ориентированных на восприятие потенциальным потребителем описываемых товаров и услуг, имеет место явное преобладание композитов[10].

3. Композиты с атрибутивным компонентом – заимствованной из английского языка предложной группой с адвербиальным значением

К данной группе относятся композиты с компонентами *онлайн* (*он-лайн*) и *оффлайн* (*офф-лайн*), например, *онлайн-конференция*, *онлайн-трансляция*, *онлайн-услуги*, *оффлайн-браузер*, *оффлайн-пресса.* Слова *онлайн* (*он-лайн*) и *оффлайн* (*офф-лайн*) первоначально были заимствованы русским языком как наречия со значениями, соответственно, «в режиме реального времени» и «автономно от сети Интернет» (например, *зарегистрироваться онлайн*; *работать офф-лайн*), а уже затем от этих наречий методом конверсии образовались соответствующие неизменяемые прилагательные (*режим онлайн / он-лайн*, *режим оффлайн / офф-лайн*) и существительные (*жизнь в онлайне*, *версия программы для оффлайна*), от которых в свою очередь образованы суффиксальные прилагательные *онлайновый / он-лайновый* и *оффлайновый / офф-лайновый.* Таким образом, употребление в русском языке элементов *онлайн-* и *оффлайн-* в качестве компонентов именных композитов типа *онлайн-коммерция*, *оффлайн-операция* и т. п. связано не с параллельным заимствованием из английского языка композитов и их элементов, а с применением принципа аналогии.

В качестве альтернативы композитам с препозитивными элементами *онлайн-* и *оффлайн-* могут употребляться сочетания с постпозитивными неизменяемыми прилагательными – *конференция онлайн*, *экзамен-онлайн*, *тесты оффлайн* и т. п. Однако словосочетания такой структуры (за исключением устойчивого *в режиме онлайн*) встречаются довольно редко, и во всяком случае, намного реже композитов с атрибутивным элементом в препозиции: в имеющемся вспомогательном корпусе представлен только один пример подобного рода, а в НКРЯ на 22 композита с препозитивным компонентом *онлайн-* не обнаружилось ни одного сочетания, где слово *онлайн*, употребленное после существительного, бесспорно являлось бы неизменяемым прилагательным, а не наречием.

Другой, более частотной альтернативой композиту является сочетание существительного с производным согласуемым прилагательным *онлайновый / оффлайновый*, например, *онлайновое издание*, *онлайновая версия*, *оффлайновый вариант* и т. п. Следует отметить, что количество имеющихся в НКРЯ примеров употребления таких словосочетаний значительно превышает число композитов: на 100 употреблений словосочетаний с согласованными прилагательными приходится 22 употребления композитов. Общее количество зарегистрированных композитов с различными опорными существительными составляет, по данным НКРЯ, всего 14 единиц, причем не зарегистрировано ни одного композита с препозитивным компонентом *оффлайн-* (*офф-лайн*).

Само по себе преобладание согласуемых прилагательных над композитами не должно вызывать удивления, если принять во внимание отмеченное выше отличие механизма образования композитов данной группы от механизма образования именных комплексов с опорой на параллельное заимствование готовых именных комплексов (группа 1). При этом, однако, неясно, насколько данные НКРЯ отражают реальное положение дел. Результаты поиска в сети Интернет показывают, что композиты с препозитивными компонентами *онлайн-* и *оффлайн-* отнюдь не являются редким явлением и механизм их образования работает в полную силу. Например, только беглый просмотр первых 50 результатов поиска в системе Яндекс по запросу «оффлайн» выявляет наличие в текстах таких (отсутствующих в НКРЯ) композитов, как *оффлайн-браузер*, *оффлайн-обновление*, *оффлайн-просмотр*, *оффлайн-встречи (творческих людей)*, *оффлайн-рек-*

---

[10] Данная гипотеза основана лишь на сопоставлении количества употреблений композитов и словосочетаний с опорным существительным *класс* и буквенным обозначением в текстах различной тематики, имеющихся в основном и вспомогательном корпусах.

лама, *оффлайн-карта (Москвы)*, *оффлайн-база*, *офф-лайн журналы*, *оффлайн-клиент*, *оффлайн-интервью*, *оффлайн игры* (с дефисным и раздельным написанием компонентов).

В выборке представлено 49 примеров, относящихся к данной группе, что составляет почти 10% общего количества примеров, имеющихся в основном корпусе. Учитывая, что эта доля приходится только на два препозитивных компонента из 72 обследованных (т. е. менее чем на 3% всех препозитивных элементов, представленных в корпусе), можно высказать предположение об относительно высокой продуктивности образования композитов с компонентами *онлайн-* и *оффлайн-* (в различных вариантах написания). Список возможных композитов с данными компонентами является, по-видимому, принципиально открытым, как и список композитов с препозитивными компонентами первой группы.

4. Композиты с атрибутивными компонентами *интим-, элит-, эконом-, штрих-*

К данной группе относятся, например, композиты *интим-сервис*, *интим-знакомства*, *интим-магазин*, *интим-портал*, *элит-класс*, *эконом-класс*, *эконом-такси*, *штрих-код*, ср.:

(12) Недорогое такси, или **эконом-такси** – это вариант заказа автомобиля, доступный москвичам с любым уровнем достатка (http://www.7887880.ru/inexpensively/).

Такие композиты составляют относительно небольшую (11 композитов из 500, т. е. немногим более 2%), но весьма интересную группу. Особенностью этих композитов можно назвать тот факт, что их атрибутивные компоненты не являются новыми заимствованиями из английского языка, а образованы, по-видимому, от существующих в русском языке прилагательных с давно заимствованными корнями способом так называемой «нулевой суффиксации», описанным Е.А. Земской (см., например [Земская 1997: 425]) как способ образования имен существительных: *интимный* → *интим-*, *экономный* (*экономичный*, *экономический*) → *эконом-*, *элитный* → *элит-*, *штриховой* → *штрих*. Выбор этого субстантивного способа словообразования представляется мотивированным структурной аналогией, направленной на расширение сферы применения «престижной» новой модели построения именных композитов, в которых используется атрибутивный элемент субстантивной природы.

5. Периферийные группы: «штучные» композиты с аппозитивным элементом – именем собственным: личным именем, коммерческим наименованием или русским неизменяемым словом

В данные группы входят композиты *Горбачев-фонд*, *Вивальди-оркестр*, *Низорал шампунь*, *Русь-банк*, *Связь-банк* (5 композитов из 500, т. е. 1%), а также «*КАК-типология*», «*ПОЧЕМУ-типология*» (термины А.Е. Кибрика [Кибрик 1992]), «*И, а не ИЛИ принцип*» (термин М.В. Русаковой [Русакова 2009]).

Эти композиты и их атрибутивные / аппозитивные компоненты сами по себе не являются заимствованиями из английского языка, однако такие комплексы представляют собой, по-видимому, результат имитации структуры принятых в английском языке названий организаций, банков, товаров, ср.: *the Rockefeller Foundation*, *Glenn Miller Orchestra*, *Ocean Lift Shampoo*, *Chase Manhattan Bank*, *Citibank*, а также лаконичных и образных терминов, наименований методов работы и подходов к решению проблем, ср.: *yes/no-question*, *can-do approach* и т. п. Тот факт, что эта структура в принципе идентична структуре композитов типа *шоу-бизнес*, *шоу-театр*, *шоу-программа*, уже активно используемой русским языком, способствует ее восприятию как вполне приемлемой и «грамматичной».

Заключение

Композиты с атрибутивными элементами описанных выше типов составляют основу для формирования в русском языке новой модели образования сложных номинативных единиц – именных комплексов с вершинным существительным и несогласованным препозитивным определением, выраженным элементом неясной (предположительно, промежуточной между основой и самостоятельным словом) уровневой принадлежности. Композиты, созданные по данной модели, явным образом имитируют структуру английских именных групп с препозитивным примыкающим определением, чаще всего выраженным именем существительным.

В целом данная модель характеризуется весьма высокой продуктивностью и несет значительную прагматическую нагрузку. Продуктивность модели объясняется, по-видимому, массовым усвоением русским языком новых английских заимствований, способных употребляться как автономно, так и в качестве зависимого препозитивного компонента в готовом именном комплексе, в связи с чем заимствуемая единица начинает использоваться в функции несогласованного препозитивного определения и в русском языке. При этом отпадает необходимость образования прилагательных путем аффиксальной деривации, что дает экономию языковых средств. Важно также, что создаваемые композиты имитируют модель престижного языка-источника, и даже в тех случаях, когда образование аффиксального прилагательного возможно, словосочетание с таким прилагательным часто ощущается как недостаточно «терминологичное», несколько громоздкое, не ориентированное на последние достижения цивилизации.

Применение модели для создания новых композитов позволяет говорящему (пишущему) быстро «штамповать» лаконичные и экономные наименования для сложных понятий, ср., например, заголовки статей и заметок: *Хайтек-борьба с хайтек-пиратами* (http://stopgame.ru/newsdata/7729), *Топ-мотивация для топ-менеджера* (http://www.iteam.ru/publications/human/section_48/article_2703/), *Игумен наказан за интернет-хуліганство* (http://levit1144.ru/forum/13-8303-1). В создании таких композитов ярко проявляется стремление говорящего (пишущего) к максимальной краткости и речевой компрессии.

Следует также отметить, что дополнительное удобство данной модели для говорящего (пишущего) заключается в отсутствии необходимости эксплицировать семантические связи между главным и подчиненным компонентами комплекса, ср.: *арт-карьера* ≈ карьера в сфере искусства, *арт-терапия* ≈ лечение путем приобщения пациента к самостоятельному художественному творчеству / при помощи показа пациенту предметов искусства; *бизнес-план* ≈ план предпринимательской деятельности, *бизнес-класс* ≈ разряд в классификации товаров и услуг, предназначенный для бизнесменов и других клиентов с сопоставимыми финансовыми возможностями, и т. п. Это свойство конструкции может оказаться при недостаточности контекста неудобным для слушающего (читающего), однако применение модели дает значительную экономию языковых средств в плане выражения. Такая экономия, безусловно, отвечает современным тенденциям развития русского языка, которое очевидным образом идет, по выражению М.В. Панова, «в пользу говорящего» (цит. по [Крысин 2008: 265]), т. е. в направлении упрощения грамматики, расширения значений слов и сокращения объема точной информации, способствующей однозначному установлению семантических отношений между значащими единицами.

Таким образом, анализ имеющегося материала позволяет прийти к следующим предварительным выводам:

1. В русском языке сформировалась и активно используется модель образования именных комплексов с препозитивными несогласованными определениями и приложениями. Уровневая принадлежность композитов остается неясной, однако они, скорее всего, не являются единицами словаря (единицами лексикона являются только их компоненты). Этот факт делает образованные по данной модели композиты сходными

со словосочетаниями. При этом основным отличием таких композитов от обычных для русского языка сочетаний слов является цельнооформленность композитов.

2. Основным фактором, обусловившим появление и распространение композитов рассматриваемой структуры в русском языке, является, по-видимому, параллельное заимствование из английского языка слов как самостоятельных единиц и как элементов готовых композитов, где роль и значение элементов четко осознается носителями русского языка (*шоу* и *шоу-бизнес*).

3. Экспансия модели, по-видимому, не в последнюю очередь объясняется престижностью английского языка, поскольку данная модель имитирует структуру английской именной группы с препозитивным определением, примыкающим к вершинному существительному.

4. Помимо престижности языка-источника, важной причиной распространения модели являются ее прагматические особенности, которые заключаются в краткости, «терминологичности» номинации (ср., например, созданные лингвистами термины типа «*ПОЧЕМУ*-типология») и отсутствии необходимости экспликации семантических связей между главным и зависимым элементами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Земская 1997 – *Е.А. Земская.* Словообразование // В.А. Белошапкова (ред.). Современный русский язык. М., 1997.

Касевич 2006 – *В.Б. Касевич.* Семантика. Синтаксис. Морфология // В.Б. Касевич. Труды по языкознанию: В 2 т. Т. 1. СПб., 2006.

Кибрик 1992 – *А.Е. Кибрик.* Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). М., 1992.

Крысин 2008 – *Л.П. Крысин* (отв. ред.). Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков. М., 2008.

Левитин 1967 – *Е.А. Левитин, Л.Е. Левитин.* Радиовещательные приемники. Справочник. М., 1967.

НКРЯ – Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru/

Падучева 2004 – *Е.В. Падучева.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Панов 1971 – *М.В. Панов.* Об аналитических прилагательных // Фонетика. Фонология. Грамматика. К 70-летию А.А. Реформатского. М., 1971.

РГ-80 – Русская грамматика: В 2 т. / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М., 1980.

Русакова 2009 – *М.В. Русакова.* Речевая реализация грамматических элементов русского языка: Автореф. дис. … докт. филол. наук. СПб., 2009.

Скляревская 2008 – *Г.Н. Скляревская* (ред.). Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика. М., 2008.

Хомский 1965 – *Н. Хомский.* О понятии «правило грамматики» // Новое в лингвистике. Вып. 4. М., 1965 / Пер. с англ. И.К. Вельской.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2010

© 2010 г. Е.Л. БЕРЕЗОВИЧ

РУССКИЙ *АД* НА ИНОЯЗЫЧНОМ ФОНЕ: к сопоставительному изучению деривационной семантики межъязыковых лексических эквивалентов*

В статье рассматриваются семантические дериваты слова *ад* в русских народных говорах и народно-разговорном языке. Сопоставляется деривационная семантика русск. *ад* и его лексических эквивалентов в индоевропейских языках – славянских (континуанты **рькълъ*), германских (англ. *hell*, нем. *Hölle*), романских (итал., порт. *inferno*, франц. *enfer*, исп. *infierno*) и др. Выявляются основные мотивационные признаки, лежащие в основе деривации и дающие наиболее явные различия деривационной семантики в разных языках: «то, что пожирает», «то, где царят шум, беспорядок → скандалы», «то, где горят (грешники)», «то, что является углублением, отверстием». Устанавливается, что для развития семантики на базе русск. *ад* наиболее продуктивен признак пожирания, поглощения.

Появившись в русском языке с принятием христианства, грецизм *ад* (через ст.-слав. *адъ* из ср.-греч. *ἀδης* < *ᾰ̓δης* ‘преисподняя, ад’ < *Ἄδης* ‘Аид, бог преисподней’ [Аникин РЭС, 1: 97]) пустил на русской почве корни, став основой обширного деривационного гнезда. Формирование этого гнезда, его семантическая организация интересны как в этнолингвистическом плане (особенности рецепции христианской идеологии, ее диалога с идеологией языческой), так и в системно-лингвистическом (логика взаимодействия заимствованного terminum sacrum с принимающей языковой системой), а также в типологическом. Раскроем подробнее последний аспект.

Значение ‘ад, преисподняя’ выражается в языках европейских народов, принявших христианство, с помощью слов с разной внутренней формой, ср., например, греч. *ᾰ̓δης*, *Ἄδης* – этимологически, возможно, «невидимое»; новогреч. *κόλασις* – «наказание»; лат. *inferna* – «принадлежащее нижнему миру» → итал. *inferno*, франц. *enfer*, исп. *infierno*; гот. *halja*, др.-норв. *hel*, др.-в.-нем. *hella*, нем. *Hölle*, др.-англ. *hel*, англ. *hell* – «место, где прячутся», см. [Buck 1949: 1485–1486].

В отличие от названных выше языков, в которых для выражения понятия «преисподняя» используются исконные лексемы, славянские языки прибегают к заимствованиям[1] – грецизму *ад* и континуантам **рькълъ*. Праслав. **рькълъ* ‘смола’ является, во всей видимости, древнейшим заимствованием из нар.-лат. *picula* ‘то же’ (через посредство др.-в.-нем. или др.-н.-нем.), которое восходит к и.-е. **pīk-* ‘то же’. Значение ‘преисподняя’ появилось в западнославянских языках с принятием христианства как калька со ср.-в.-нем. *pech* ‘смола’ → ‘ад’, а затем распространилось на славянской территории.

---

* Исследование выполнено при поддержке госконтракта 14.740.11.0229 в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (тема «Современная русская деревня в социо- и этнолингвистическом освещении»). Автор выражает глубокую благодарность С.М. Толстой за ценные консультации и соображения, высказанные при знакомстве с этой работой, а также Т.А. Агапкиной, О.В. Беловой, Т.Н. Бунчук, А. Кравчик-Тырпе, Л. Кралику, Ф.Р. Минлосу, О.В. Мищенко и О.А. Теуш, обратившим мое внимание на некоторые неизвестные факты и малодоступную литературу вопроса.

[1] Напротив, обозначения рая в славянских языках исконные, а в романо-германских заимствованные: «Нельзя не высказать своего удивления по поводу того, что столь глубокое различие между Западом и Востоком до сих пор, насколько я знаю, не привлекло внимания» [Трубачев 2002: 421].

Связь значений в ср.-в.-нем. объясняется представлением о том, что грешники горят в аду в кипящей смоле. Продолжения **pьkъlъ* испытывают аттракцию к континуантам **pekti* 'печь, жечь' (этимологическая трактовка излагается по [Czarnecki 2007]; ср. также [Machek 1968 (1971): 441–442; Фасмер 1964–1973, III: 226; Boryś 2005: 428; ЕСУМ, 4: 328–329; ЭСБМ, 9: 14] и др.).

Ад фиксируется в русской, украинской (с пометой «устаревшее»), болгарской, македонской и сербской литературных традициях, но только русская языковая стихия допускает мощное гнездовое развитие этого слова в говорах (особенно севернорусских)[2]. В западнославянских языках этот грецизм не представлен, они отдали предпочтение «пеклу» (здесь и далее для краткости мы будем называть продолжения **pьkъlъ* в разных славянских языках словом «пекло»); кроме того, «пекло», параллельно с *адом*, фиксируется в южнославянских и восточнославянских языках и активно проникает в говоры (в том числе южнорусские): укр. *пе́кло*, блр. *пекла*, серб. *пàкао*, болг. *пъ́къл*, макед. *пекол*, словен. *pekẽl*, польск. *piekło*, кашуб. *pekło*, чеш., слвац. *peklo*, в.-луж. *pjekło*, н.-луж. *pjakło* и др.

Пекло представлено и в русском литературном языке. Это слово появилось довольно поздно: оно не отмечается в Словаре древнерусского языка XI–XIV вв., а первые фиксации датируются XVII в., при этом в контекстах проскальзывает чуждость лексемы для сознания носителей языка, ср. «А по латынски адъ наричется пеклъ» [СлРЯ XI–XVII, 14: 186]. В то же время в старобелорусском языке – в языковой стихии, более тесно связанной с католическими текстами, – слово фиксируется раньше, в XV в. (1489 г.) [ГСБМ, 24: 66]. Интересны контексты, дифференцирующие *пекло* и *ад*, ср. староукр. «Абовѣмъ пекло ся розумѣетъ, што палитъ и печетъ, а адъ … розумѣется мѣстце невидимое или мѣстце темностій и низких пропастей, до которыхъ Христосъ обожженною душею, души отъ ада высвобожаючи, зступилъ» (1603) [СУМ XVI–XVII, 1: 76].

В современном русском литературном языке *пекло* расходится семантически с *адом* – это скорее не собственно преисподняя, а именно «горячая часть» преисподней, полыхающий в ней огонь. Думается, из всех литературных словарей наиболее точен СлРЯ, который, в отличие от ряда других источников, считает 'ад, адский огонь' не самостоятельным значением слова *пекло*, а оттенком значения 'сильный огонь, сильный жар' (иные значения этого слова: 'сильный зной, жара', 'место, где происходит жаркий бой, горячие споры') [СлРЯ, 3: 38]. Русское *пекло* практически не дает деривации, употребляется весьма редко и в «несвободных» контекстах (как правило, в связи с чертом[3]) – и, таким образом, существенно уступает *аду* как способ выражения понятия «преисподняя».

Кроме основных обозначений понятия «преисподняя» в славянских и других европейских языках, в их литературных вариантах встречаются многочисленные дополнительные наименования, как однословные (например, русск. *преисподняя*, чеш. *podsvětí*), так и двусловные перифразы (к примеру, русск. *царство теней* – польск. *królestwo cieni*). Есть также обозначения ада, которые воспринимаются как прецедентные имена собственные, отсылающие к образам *Аида* и *Тартара* (*Hades*, *Tartarus*). Близко к ним и слово *Gehenna* 'геенна', восходящее в конечном счете к др.-евр. *Gēhinnōm* «долина, юдоль сына Хиннома» [Черных 2002, 1: 184]. Особый интерес представляют диалектные способы выражения указанного понятия, реестр которых, кажется, полностью не выявлен, ср. серб. диал. *јама* [СД, 1: 94], слвац. архаич., чеш. диал. *sitno* [SSJ, 4: 82; PSJČ, 5: 248] (о последнем слове подробнее см. ниже).

Представив кратко тот фон, на котором функционирует русск. *ад*, подойдем к обоснованию задач настоящей статьи. Главная задача – охарактеризовать **семантическое**

---

[2] В украинском и южнославянских языках случаи проникновения слова *ад* в говоры фиксируются, но весьма редко (см., например, в [EPCJ, 1: 61; Хобзей 2005: 22–23]).

[3] Ср.: «Раз, за какую вину, ей богу, уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла» (Н.В. Гоголь); «Хоть к черту в пекло, хоть к крокодилу в зубы, только чтоб не здесь оставаться» (А.П. Чехов); «Да попадись такой козырь умелому человеку – он под отстающий колхоз у самого черта пекло выпросит» (Г. Николаева) [ССРЛЯ, 9: 362].

своеобразие деривационного гнезда русск. *ад*. Внимание к деривационной семантике – результатам собственно семантической деривации, понимаемой как порождение одних значений многозначного слова от других (например, русск. диал. *ад* ‘глотка’), а также результатам семантико-словообразовательной деривации (русск. диал. *ádáть* ‘много и с жадностью есть’) – объясняется тем, что семантические дериваты воплощают в себе ту часть существующего в вербальной форме знания об аде, которая наиболее устойчива, верифицирована системой языка и даже в известной мере создана ею – в процессах разного рода внутриязыковых притяжений и сближений. Помимо семантической деривации, языковой концепт может выражаться также во фразеологии, устойчивых сравнениях, эпитетах и т.п. – ср. русск. диал. *как ад жрать* ‘о человеке, который ест жадно и много’ (такие факты тоже привлекаются нами к рассмотрению – в тех случаях, когда они выражают те же смысловые линии, что и семантическая деривация). Далее следуют свободные текстовые связи, которые не отличаются регулярностью и устойчивой воспроизводимостью – и здесь мы уже вступаем в зону текстовой реализации концепта. Между системно-языковой и текстовой проекциями концепта, естественно, нет жесткой границы, они имеют общий источник и значительную часть общих смыслов, однако есть и различия: так, элементы системы языка участвуют во внутриязыковых сближениях, которые, как говорилось выше, способны внести нюансы в их концептуальное наполнение, в то время как семантика слова в тексте имеет несколько иную детерминацию, зависит от жанрового задания и т. д. Концепт ада репрезентирует себя в огромном количестве проявлений – системно-языковых, текстовых и даже внеязыковых (к примеру, относящихся к сфере живописи, иконографии). Все они, конечно, не могут рассматриваться в рамках одной работы. Ограничив анализ деривационной семантикой, поставив задачу рассмотреть ее специфику как сферы реализации концепта, мы, разумеется, не можем не обращаться по мере необходимости к другим таким сферам – в том числе внеязыковым (иконографии ада и др.). Деривационное гнездо бывает непросто очертить: для корневой идентификации ряда лексических фактов требуется семантическая реконструкция разной степени глубины (так, при атрибуции слов как производных от деэтимологизированного и «короткого» *ада* мы сталкиваемся с затруднениями семантико-мотивационного и лингвогенетического плана) – отсюда потребность прибегать к разнообразным «поддержкам», в том числе «культурным». Таким образом, пытаясь не терять основную линию исследования – изучение закономерностей функционирования деривационной семантики на базе слова *ад*, мы время от времени «открываем окно» в другие сферы реализации концепта преисподней для того, чтобы выделить сам объект изучения и глубже понять его устройство.

Отсюда вытекает, что мы ни в коей мере не претендуем на полноту описания концепта «Ад» в русском языке и культуре; мы лишь пытаемся выделить одну из сфер реализации концепта, рассматривая ее в ряде случаев на фоне других.

В статье изучастся в первую очередь народная языковая традиция – диалектные и общенародные данные, реже просторечные. Эти данные особо интересны, если учесть, что, как говорилось выше, русские (в первую очередь севернорусские) говоры – единственный участок славянской территории, который «привержен» *аду* и не поддался «увлечению» континуантами **рькъ/ъ*. Факты книжной традиции привлекаются к анализу в том случае, если они в смысловом отношении соответствуют (не противоречат) общенародным и диалектным. Выбор народного языка обусловлен нашим желанием увидеть самостоятельный (разумеется, эта самостоятельность весьма относительна) путь русского *ада* в языковой системе, который, несмотря на влияние «интернациональной» книжной традиции и взаимодействие с ней, обнаруживает индивидуальные способы внедрения слова в национальный лексикон, реагирования на смысловые и формальные импульсы, идущие от «принимающей стороны».

Эта задача будет совмещаться с задачей сравнительно-типологической (сопоставление деривационной семантики гнезда *ад* и его межъязыковых лексических эквивалентов), решение которой, помимо собственных типологических нужд, поможет более выпукло представить специфику изучаемого русского гнезда.

Из гнезд межъязыковых лексических эквивалентов *ада* выбрано для анализа в первую очередь гнездо слав. **рькъlъ*, особенно его западно- и восточнославянские составляющие (в южнославянских языках это гнездо, кажется, не так активно в деривационном отношении). Менее регулярно будут рассматриваться дериваты неславянских наименований преисподней – прежде всего образованные на базе основных слов для изучаемого понятия в романо-германских языках: англ. *hell*, нем. *Hölle*, итал., порт. *inferno*, франц. *enfer*, исп. *infierno* (гнезда германских корней далее будут условно называться *гнезда «hell»*, гнезда романских – *гнезда «inferno»*). Эпизодически анализируются другие корни, выражающие в различных европейских языках значение 'ад'.

Смысловые сферы, в которых функционируют дериваты лексемы *ад* и ее эквивалентов в изучаемых языках, разнообразны, и количество языковых фактов очень велико. Многие значения и фразеологические обороты полностью сходны во всех привлеченных для анализа языках: «адский» 'сильный, интенсивный', «адские муки», «тьма ада», «адский камень» 'ляпис (порошок, применяемый как прижигающее средство)' и др. В центр нашего внимания попадет не вся «адская» лексика, а лишь та, в которой отражены следующие мотивационные признаки (т.е. представления о свойствах ада), лежащие в основе семантической деривации или обыгрываемые во фразеологизмах: 1) то, что пожирает; 2) то, где царят шум, беспорядок, сутолока (→ ссоры, скандалы, распри); 3) то, где горят (грешники); 4) то, что является углублением, отверстием.

Выбор именно этой лексики обусловлен тем, что в ней наиболее явственно ощутимы различия в языковой картине преисподней в разных языках. Различия выражаются в образовании уникальных значений в каком-либо из изучаемых языков (в первую очередь в русском), в разной активности (степени выраженности) отдельных элементов деривационной семантики, в реализации разных путей формирования значений.

ТО, ЧТО ПОЖИРАЕТ

Данный признак очень активен в деривационном пространстве русск. *ад*. О возможности трактовки ряда русских диалектных слов как дериватов лексемы *ад*, реализующих признак пожирания, говорилось в литературе [Аникин РЭС, 1: 97; Журавлев 2005: 386–388; Успенский 1982: 58; Черепанова 2005: 75 и др.], однако в разработке этой проблемы остались спорные и неизученные моменты, позволяющие обратиться к ней вновь.

Прежде чем перейти к диалектному материалу, укажем на существование культурного фона, который значим для понимания изучаемой лексики. Представление о пожирании адом грешников является, разумеется, общехристианским. Действие пожирания «опредметилось» в книжной традиции в образе адских челюстей, зева, чрева и проч., ср., например, церк.-слав. ритор. *челюсти* (*уста*) *ада*, *адская гортань* (*зѣв*) 'символическое обозначение смерти, гибели' [СлРЯ XVIII, 1: 24, 28–29], ст.-слав. ... *тщ въ чрѣвѣ адьстѣѣмъ лежитъ їѡна* (Супр.) [SJS, 1: 17], староукр. *во адѣ чрева носити* (*що*) 'иметь пристрастие к чему-л.' [СУМ XVI–XVII, 1: 76].

Другой вариант опредмечивания – ассоциация ада со змеем, червем: др.-русск. *чьрвь* 'в образных выражениях – геенна, ад' [Срезневский 1893–1903, 3: 272], староукр. «Змій великїй ѡ(т)ступникъ: Адъ ро(з)зѣвлаючїй пащекѹ <пасть> свою» [СУМ XVI–XVII, 1: 76].

Об актуальности идеи «адского пожирания» и для русской народной традиции говорит тот факт, что в диалектах (Русский Север, Поволжье, часть среднерусских говоров) сформировалось огромное количество дериватов слова *ад*, реализующих эту идею (дополнительно могут проявляться также признаки зияющего (разинутого) отверстия и источника крика, шума).

Наиболее ярко такая мотивационная база отражена в словах с значением 'глотка, рот': башк. (русск.), влг., вят. (киров.), костр., перм., яросл. *ад* (мн. *ады́*) [СРНГ, 1: 203; Дилакторский 2006: 7; ОСВГ, 1: 22; СГРС, 1: 13; СРГБаш: 17; ФСПГ: 212; ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 44], влг. *ада́ло*, *а́дина* [СГРС, 1: 13], вят. *а́дище*, *ади́ще* [СРНГ, 1: 207;

ОСВГ, 1: 23]. Образ глотки лежит в русле обытовления представлений об аде, типичного для русской народной рецепции религиозных концептов, но у такого обытовления есть обратная сторона – деэтимологизация соответствующих слов, которые в синхронной системе говоров могут восприниматься как немотивированные.

Образ глотки находит в севернорусских говорах дальнейшее «акциональное» развитие в обозначениях ненасытного человека, обжоры (→ нахлебника) и собственно действия пожирания[4].

Жадный до еды, ненасытный человек (животное), обжора; пьяница, пропойца; нахлебник: влг., вят., иван., костр., сев.-двин., тамб., яросл. *ад* (мн. ч. *ады́*): «Экой ведь ад некрытой» (костр.); «Ад, говорят, не может наесться, адушко. Ад не тот, что на том свете, а в том смысле, что много жрет» (костр.); «Ой ад ненаедной, накормить не можём тебя» (костр.); «Ад ты ненасытный, насопеться не мог» (вят.), «Опился, ад живоглотной!» (вят.) [СРНГ, 1: 203–204; ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 44; ОСВГ, 1: 22; ЛКТЭ]; яросл. *как ад* (*жрать*) ‘о человеке, который ест жадно и много’ [Ховрина 1998: 44], костр., яросл. *ад бездённый* [СРНГ, 1: 204; Ховрина 1998: 44], костр. *ад змеиный* [ЛКТЭ]; иван., самар., сев.-двин., яросл. *ад* ‘о домашних животных. Говорится о домашних голодных животных, которые тотчас съедят, что им предложат, и кричат и просят еще. Это слово как порицание их жадности’: самар. «Ах вы ады живоглотные!» [СРНГ, 1: 204], яросл. *ады* ‘едоки, нахлебники (о детях)’ [ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 44]; сев.-двин. *а́дик* ‘об обжоре, пьянице’ [СРНГ, 1: 207]; влг. *ади́на* [СВГ, 1: 15], влг. *а́дина-жа́дина* [СГРС, 1: 13], влг. *адо́вище* [СВГ, 1: 15]; влг., вят., костр. *а́дище* [ЛКТЭ; СРНГ, 1: 207; Дилакторский 2006: 7], влг., вят., костр. *ади́ще*: «Адишшо, сколь иссопел, адишшо ненасытное» (костр.) [ОСВГ, 1: 23; СРНГ, 1: 207; ЛКТЭ], костр. *аду́й* ‘обжора, особенно тот, кто пьет много чая, воды’: «Ой ты, адина, адуй, адушко, обадался-то»; костр. *а́душко* ‘обжора; пропойца, пьяница’ [ЛКТЭ]. Ср. также костр. *адуй объелся* – о человеке с расстройством желудка [Там же];

много и с жадностью есть или пить, «жрать»; пьянствовать: влг., костр. *а́дать* [СГРС, 1: 13; ЛКТЭ], арх., влг., вят., костр., яросл. *ада́ть* [СГРС, 1: 13; СРНГ, 1: 206; ОСВГ, 1: 22–23; ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 46], перм. *а́дгать* [СПГ, 1: 8], влг. *а́дить* [КСГРС], яросл. *ади́ть* [СРНГ, 1: 207; Ховрина 1998: 46], костр., перм. *а́довать*, яросл. *адовать* (без уд.) [ЯОС, 1: 20; СПГ, 1: 8; Ховрина 1998: 46; ЛКТЭ], вят. *а́довать* ‘пьянствовать’ [ОСВГ, 1: 23], арх. *сада́ть*, *сода́ть* ‘много съесть, «сожрать»’ [КСГРС].

Возникает вопрос: действительно ли все перечисленные выше факты могут быть квалифицированы как дериваты *ада*? Как будет показано ниже, некоторые из названных слов имеют и альтернативные этимологические трактовки, связывающие их с другими этимонами. Чтобы укрепить «адскую» версию, следует привести аргументы культурологического характера, которые выводят нас из плоскости анализа слова в плоскость изучения культурного концепта. Такой выход, повторимся, оправдан необходимостью мотивационно обосновать принадлежность названных выше слов к одному гнезду.

Итак, идея пожирания многогранно и разносторонне поддерживается **культурной традицией**. Вот некоторые формы проявления этой поддержки, наиболее близкие народной языковой стихии:

Апокрифы («Хождение Богородицы по мукам», «Слово о сошествии Иоанна Крестителя во ад» и др.), духовные стихи. Ср. апокрифические контексты: «И увидѣ Святая, гдѣ лежаху на пламени огненемъ и ядяше ихъ червь не усыпая» [БЛДР, 3: 312], «И видѣ другия жены во огни лежаша и различная змия ядяху ихъ» [Там же: 314] и др.

Важно, что в апокрифической традиции Ад может одушевляться, ему приписываются диалоги с Дьяволом («Сотоной»): ««И рече Адъ ко Диаволу: “Дияволѣ, слыши, а ты, Давид, глаголи”» [Там же: 256], «Адъ же озревся и рече Сотоне: “О Вслзаулѣ

---

[4] Другая линия развития образа связана с номинацией кричащих людей и крика (см. далее рубрику «то, где царят шум, беспорядок, сутолока»).

окаяннѣ, добру запретитель”» [Там же: 260], «И wтвѣщавъ адъ глѧа димволоу <...> азъ тъгда съгноихъ тѣло лазорево зѣло» [УС XII–XIII: 364] и др. Так подчеркивается «субъектность» ада, его способность совершать самостоятельные действия.

Мотив «адского пожирания» звучит и в текстах духовных стихов: «А чародеи отыдут в тяжкий смрад: И ясти их будут змеи лютыя; Сребролюбцам место – неусыпный червь; А мраз зело лют будет немилостивым...» [Бессонов 1863: 503]; «Готова вам есть мука вечная, Огонь-пламень неугасимый И место темное, и черви лютые» [Стихи духовные: 229] и т. п.[5]

И к о н о п и с ь. При общехристианской распространенности сюжета «Страшного суда» в иконографии и живописи (ад изображался в виде пасти зверя, змея, дьявола)[6], в России особо популярным был этот сюжет, как следует из искусствоведческой литературы, в северно- и среднерусской иконографии – в Ярославской, Костромской, Вологодской, Московской школах иконописи, т. е. фактически в той зоне, где слово *ад* получает значение пожирания. На этой территории, особенно на Русском Севере, данный сюжет регулярно разрабатывался в храмовой росписи. К примеру, композиция «Страшный суд» вологодского Софийского собора – самая большая фреска на этот сюжет в России. Введение сюжета в канон расписывания церквей связано с византийской традицией (см. об этом в [Покровский 1887: 285]), а эта традиция лучше всего «законсервировалась» на Русском Севере, в то время как на юге и западе России в иконописи сказывались западноевропейские влияния. Русский изобразительный канон – по сравнению с западноевропейским – был более императивным и стандартизированным.

Стоит отметить, что в русской иконописи есть и некоторые новации, усиливающие представления о «змеиности» ада: кроме «обычного» змея (пасти ада), на иконах нередко изображался и так называемый «змей мытарств», встречающийся в составе русских «Страшных Судов» с конца XV в.[7] Его хвост тянется из пасти геенны огненной, а голова упирается в стопу молящегося Адама. На тело змея нанизаны кольца мытарств с обозначениями грехов (об этом см., например, в: [Алексеев 1998; Бережная 2003: 456–460; Goldfrank 1995]). Трактовки происхождения и символики «змея мытарств» разноречивы[8], но в контексте нашей работы важен не столько «план содержания», сколько «план выражения»: «змей мытарств» изображался чаще всего в самом центре иконы, занимал в ее композиции существенное место и сразу приковывал к себе внимание, – а именно это наиболее значимо для наивного восприятия и создания «картинки ада» в народном сознании.

Н а р о д н а я г р а в ю р а, л у б о к. Сюжет Страшного Суда с участием змея был весьма активен и в народной гравюре, ср. описание типичной картины: «... изливается в адову пасть огненная река; из этой же пасти исходит громадный змей, извивающийся по всей картинке» [Ровинский 1900: 292].

Несмотря на столь мощную культурную поддержку и на прозрачность, казалось бы, связей между значениями ‘преисподняя’ и ‘пожирать’ (и оживление этих связей в соче-

---

[5] Анализ подобных контекстов из апокрифов и духовных стихов осуществлялся, в частности, А.Н. Соболевым, который прослеживает связь между характером адской пытки (например, пытка пожиранием) и категориями грешников [Соболев 1913: 182–186].

[6] Об этом есть обширная литература, ср. хотя бы [МНМ, 1: 39].

[7] «Змей мытарств» встречается еще на иконах, созданных на территории современных Карпат, которые называют «украинскими», «карпатскими» или «русинскими» [Бережная 2003: 479–480]. В то же время этот образ считается преимущественно русским нововведением, поскольку на русских иконах змей изображается последовательно, а на карпатских используются и другие способы художественного воплощения мытарств [Там же: 458].

[8] Так, А.А. Алексеев считает, что функция змея – пожирать грешников, чьи грехи нельзя искупить, и вергать их в геенну [Алексеев 1998: 17]; Л.В. Нерсесян (к которому присоединяется Л.А. Бережная) видит в образе змея символ ветхозаветного Антихриста-искусителя; Я. Клощиньска полагает, что змей символизирует очищение души по пути в рай, см. [Бережная 2003: 456–457]; по мнению Д. Гольдфранка, в вопросе о символике змея остается много загадочного, но идея змея на иконе, возможно, принадлежит Иосифу Волоцкому и поддерживается хилиастическими настроениями на Руси в конце XV в. [Goldfrank 1995: 199] и т.д.

таниях вроде *ад змеиный*, *ад ненасытный* и *ад живоглотный*), приведенные выше русские диалектные слова относятся к спорным в этимологическом отношении. А.Е. Аникин указывает на возможное финно-угорское происхождение глаголов *а́дать*, *ада́ть*, *сада́ть*, *сода́ть* [Аникин РЭС, 1: 97]. А.К. Матвеев конкретизирует это положение, квалифицируя глаголы как коми заимствования, ср. коми-з. *adžny* 'много или жадно есть, «жрать»', *аджны* 'жрать', диал. *адавны*, коми-п. *ада́вны*, сев. *ада́лны* 'жрать, сожрать' [МФУЗ: 24]. У коми слов нет удовлетворительной этимологии: сравнение с фин. *ahmia* 'жадно есть, пожирать', производным от *ahma* 'росомаха', различные специалисты по финно-угорской этимологии считают спорным. Версия о коми заимствовании, по мнению А.К. Матвеева, поддерживается географией слов: три смежных района на юго-востоке Архангельской области [Там же]. Однако вышедшие в последние годы словари и недавние полевые сборы расширяют наши представления о географии лексем (см. выше). Фиксация формы *адать* и др. в таких говорах как, скажем, ярославские, несколько ослабляет позиции коми версии (хотя здесь можно найти контраргумент: слово могло проникнуть в русские говоры из какого-то вымершего диалекта коми языка [Там же]). Смущает и то, что в случае принятия коми версии придется допустить гетерогенное происхождение всего блока наименований глотки, обжоры и действия пожирания (а также связанных с ними семантически обозначений крикунов и крика, особенно глаголов типа *ада́ть* 'кричать', см. ниже): для лексем со значением 'глотка', 'обжора', отмеченных, к примеру, в тамб., иван., башк. говорах, коми источник все-таки маловероятен.

Нам представляется, что все русские диалектные слова, приведенные выше, можно считать производными от *ад* 'преисподняя'. Что касается происхождения коми лексем, то этим вопросом надо заниматься специально. Отметим только, что в говорах коми, кроме глаголов типа *адавны*, *адалны* и др., есть слово *ад* 'жадина' и выражения *ад горш*, *ад ом* («адово горло») 'о жадных' [ССКЗД: 9; КРК: 24], которые прозрачно связаны с коми *ад* 'преисподняя', являющимся русским заимствованием. Более того, коми словообразование допускает и отыменное (от коми *ад*) происхождение глаголов типа *адавны* (формы с аффрикатой типа *аджны* вообще могут иметь другую этимологию). Данные глаголы, вероятно, представляют собой результаты семантического калькирования на основе русской модели 'преисподняя' → 'глотка' → 'есть, жрать'.

На базе семантики пожирания в русских говорах развиваются значения жадности и скупости.

Жадный человек: костр., перм., сев.-двин., яросл. *ад* [СРНГ, 1: 204; СПГ, 1: 8; ЛКТЭ; ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 44], яросл., костр. *ад кромешный* 'жадный до всего', *ад несытый* 'алчный' [ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 44], костр. *ад недополнен* 'о жадном человеке': «Христос сказал: "Катите ему бочку золота – ад недополнен у него". Это в аду ему места не хватает» [ЛКТЭ], сев.-двин. *адён* 'жаден', влг. *а́дея*, влг., сарат. *ади́да* 'о скупой, неряшливой женщине, скряге', сев.-двин. *а́дик* [СРНГ, 1: 206–207], костр. *а́дина*: «Адина-жадина, лишь бы сграбастать чего» [ЛКТЭ], перм. *ади́на* [СПГ, 1: 8], яросл. *ади́ще* [ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 45], костр. *адова́т* 'скупой, скаредный' [СРНГ, 1: 208], костр. *адова́тый* 'жадный', яросл. *ади́щий* 'очень жадный' [ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 45], костр. *ади́й* [ЛКТЭ]. Ср. болг. диал. *ад несит* 'человек ненасытный, жадный по отношению к деньгам, имуществу': «Грабителско око, вълче гърло – ад несит» [МБТР, 1: 58];

быть жадным, скаредным: костр., яросл. *а́дать*, *ада́ть* [ЛКТЭ; ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 45], влг. *а́дить*, яросл. *ади́ть* 'копить', 'неумеренно употреблять' [ДО: 1], яросл. *ади́ть* 'присваивать себе чужое добро', 'неумеренно употреблять что-либо' [Ховрина 1998: 46], костр. *а́довать* [ЛКТЭ].

Ср. также близкие значения: твер. (Селигер) *а́да накопить* 'разбогатеть' [Селигер, 1: 15]; костр., яросл. *ади́ть* 'завидовать' [Ховрина 1998: 46].

Семантика жадности и скупости формируется и поддерживается не только благодаря закономерному развитию значений 'пожирать' → 'быть жадным'. Важно также то, что жадность, стяжательство, стремление к обогащению в народной картине мира гре-

ховны. О первостепенной роли жадности в перечне пороков, «составленном» русским народом, говорит, к примеру, тот факт, что в ходе переработки представлений о библейских «злодеях» в народном сознании им в первую очередь приписывается скупость, которая могла отсутствовать как дифференцирующая черта в прецедентном тексте: так, в русских говорах фиксируются слова *июда*, *аман*, *аред*, *асмодей*, *ирод*, которые получают значение ‘скупой человек’, ‘скряга’ (подробнее см. [Березович 2007: 49]).

В то же время значительный вклад в формирование семантики жадного поедания и собственно жадности, скупости сыграли внутриязыковые факторы – **процессы аттракции и явление семантического параллелизма**.

Наиболее ощутима аттракция *ад* ↔ *жад-*, которая проявляется собственно в семантике вышеприведенных слов (‘есть с жадностью’), в рифме *адина-жадина*, в контекстах типа влг. «Адина, вот жадный-то» [КСГРС] и др.

Можно говорить также об аттракции *ад* ↔ *гад-* (ср., к примеру, перм. «Работать-то гад, а пить-то ад» [СПГ, 1: 8], костр. «Он жрать как ад, а работать как гад» [ЛКТЭ]), осуществляемой, помимо фонетического сходства, на основе общего экспрессивного фона обоих корней, а также «пищевых» значений дериватов *гад-* (ср. якут. (русск.) *гад* ‘о плохом, невкусном кушанье’, влг., ворон., новг., орл., пск., *га́дить*, диал. шир. распр. *га́довать* ‘извергать рвоту’ [СРНГ, 6: 90–91]). Связь *ад* ↔ *гад-*, несомненно, имеет дополнительную поддержку в представлениях об аде как змее, черве.

Активность процессов аттракции в изучаемом блоке значений подтверждается также калуж., тул. *ад* ‘яд’ [СРНГ, 1: 204] < из *яд* (< **ědъ*) вследствие контаминации с *ад* [Аникин РЭС, 1: 97].

Отметим и притяжение к экспрессивному просторечному *дуть* ‘пить много и с жадностью’, проявляющееся в *адуй* ‘обжора, особенно тот, кто пьет много чая, воды’ (ср. костр. «По Ветлуге плывём, ветлужана кричат: “Адуи пузатые!” Обругивали нас, что мы адуи, чай дуём» [ЛКТЭ]).

Особо следует выделить группу слов, связанных, как и *ад*, с прецедентными культурными текстами (библейской традицией) и имеющих в известной степени сходный с *адом* коннотативный фон (в результате параллельного смыслового развития). Такой параллелизм более четко прорисовывает, усиливает в сознании носителей языка линии и связи, наличествующие в семантике каждого из слов, и может катализировать процессы аттракции.

Во-первых, следует отметить семантический параллелизм и возможное притяжение слов *ад* и *а́ред*. Лексема *а́ред*[9] имеет в русских говорах богатый набор значений, среди которых диал. шир. распр. ‘чрезвычайно скупой человек, скряга; жадный, алчный человек’, влг. ‘жадный на еду человек, обжора’, арх., влг., карел. ‘очень трудолюбивый, жадный на работу человек’ [СРНГ, 1: 271–272; СРГК, 1: 21; АОС, 1: 73; СГРС, 1: 21; ЛКТЭ] и др., ср. факты, обнаруживающие сближение *ада* и *ареда*: влг. *адов аред* ‘обжора’ [КСГРС], костр. «Аред, всё ему надо, всё гребёт, ад-от», «Аред всё загребаёт. Ад, аред, ашпид, ахид – всё похожиё слова, всё грехи называют» [ЛКТЭ]. Последний контекст демонстрирует также возможность притяжения *ад* ↔ *аспид* (*ашпид*) и *ад* ↔ *ахид*, см. ниже.

Во-вторых, сходные отношения обнаруживаются для слов *ад* и *аспид*[10]. Кроме приведенного выше контекста ср. русск. костр. *адский а́спид* ‘злой человек, мучитель’ [ЛКТЭ], а также влг., дон., костр., курск., яросл. *а́спид, а́шпид* ‘скупой человек, скряга’, влг., калуж., киров., костр., оренб., пск., смол. *а́спид* ‘злой, вредный человек’ [СРНГ, 1: 286; ЛКТЭ; ПОС, 1: 73], костр. *аспид* ‘кровососущее насекомое’ [ЛКТЭ] и др. Возможности аттракции демонстрирует также староукр. *адъ аспидный* ‘злоба’ [СУМ XVI–XVII, 1: 76].

---

[9] Русск. диал. *аред* восходит к библейскому имени *Иаред* [Аникин РЭС, 1: 271–272].

[10] Русск. *аспид* восходит к греч. *ἀσπίδα, ἄσπις* ‘ядовитая змея’. Это слово в славянской книжности имело следующие значения: ‘аспид, вид ядовитой змеи’, ‘мифический двуногий змей’, ‘мифическое существо, имеющее черты змеи, человека, василиска и птицы’ и др.; перен. ‘обозначение иудеев, не принявших спасительного божественного слова’, ‘обозначение дьявола, сокрушенного силой Христа’ и др. В иконографии аспид изображается как существо с птичьей головой и змеевидным телом, как дракон и др. [Белова 2000: 58–60].

В-третьих, можно говорить о параллельном семантическом развитии (и в некоторых случаях, возможно, аттракции) слов *ад* и *ахид*[11]. Ср. *áхид*, *ахи́д* яросл., нижегор. ‘голодный, ненасытный человек’, влад., вят., казан., костр., моск., нижегор., перм. ‘жадный человек, скряга’, ‘злой человек, ненавистник’ [СРНГ, 1: 296; ЛКТЭ], костр. *áхидом* (*áшпидом*) *накинуться* ‘накинуться на кого-л. агрессивно’ [ЛКТЭ] и др. Сказанное позволяет предложить новое этимологическое решение для коми (русск.) *ахид* ‘пасть’: «Кинься собаке в ахид» [МРС: 91, № 343]. О.А. Черепанова предполагает, что это слово связано по происхождению с манс. *ахт*, *ах* ‘протока’, ‘речка’, ‘канава’ или якут. *айах* ‘рот, пасть’ [Черепанова 2005: 75]. Думается, не стоит искать финно-угорские или тюркские истоки слова *ахид*. Это слово – как в значении ‘пасть’, так и ‘обжора’, ‘скряга’ и др. – явно связано по происхождению с грецизмами *ехидна*, *ехид* и т. п. (ср., кстати, близкие по значению к *ахиду* диалектные слова на *ехид-*: без указания местности *ехи́д*, влг. *ехи́дник* ‘злой, ехидный человек’, курск., твер. *ехи́да* ‘злая, ехидная женщина’, арх. *ехи́дный* ‘непослушный, упрямый’ и др. [СРНГ, 9: 47]). Фонетически данная реконструкция прозрачна (здесь отражение перехода *е* → *о*, ср. *Елена – Алёна* и проч.; отметим также, что слово *ехинъ* ‘морской еж’ в книжности фиксируется в варианте *ахиднъ* [Белова 2000: 113]). Значение ‘пасть’ содержит отсылку к «звериному» (точнее, змеиному) образу, запечатленному в исходном значении *ехидны* и ее греческого прототипа. Набор значений слов *ахид* (*ехид*) повторяет семантический спектр слова *ад* – тем самым эти слова этимологически поддерживают друг друга.

Таким образом, процессы аттракции и явление семантического параллелизма можно считать значимым фактором, способствующим «творению» семантической структуры корневого гнезда *ад-*.

Рассмотрим связь значений ‘пожирание’ ↔ ‘преисподняя’ в типологическом плане. Семантика пожирания, насколько нам удалось установить, отсутствует в деривационном гнезде славянского «пекла», а также в гнездах «hell» и «inferno». «Пекло» участвует в выражении идеи пожирания только на уровне текстовых связей – в выражениях типа польск. «Bodaj to piekło pochłonęło!» (Чтоб его ад поглотил!) [NKPP, 2: 865]. Семантика жадности (и далее – зависти) реализуется в еще более «слабых» контекстах: слвац. «Za peniaze pôjde i do pekla» (За деньги пойдет в ад) [Záturecký 2005: 278], чеш. «Závist je peklo věčné!» (Зависть есть ад вечный) [PSJČ, 4/1: 175]. Выражения такого же плана фиксируются с участием слов из гнезд «hell» и «inferno».

В то же время рассматриваемая связь значений проявляется в деривационных связях некоторых других обозначений преисподней в индоевропейских языках. Эта связь основана на двух признаках (свойствах), приписываемых денотатам: акциональном (пожирание) и предметном (отверстие, провал). Она является двусторонней (хотя более регулярен переход в направлении ‘преисподняя’ → ‘глотка’); возможна также соотносительность данных значений в рамках одного корневого гнезда вне семантических переходов.

Наиболее яркий пример рассматриваемых семантических связей дает литовский язык: для литов. *prãgaras* ‘обжора’, ‘преисподняя’ (< *gérti* ‘пить, «жрать»’) восстанавливается этимологическое значение «“разевание” для проглатывания» [Smoczyński: 480; Pokorny 1949–1959: 475]. Ср. также подборку примеров, приводимых А.Ф. Журавлевым: русск. *пропасть*, употребляемое также для обозначения ада, родственно *пасть* ‘рот, зев’ (оба слова производны от глагола *пасть*, *паду*); польск. *czeluść* (ср. русск. *челюсть*) → ‘пропасть, бездна’; греч. *χάος* ‘пропасть, тьма’, ‘подземное царство’, ‘первобытный мрак’ соотносительно с глаг. *χάσκω* ‘зевать, зиять, раскрывать рот’ и родствен-

---

[11] Русск. диал. *áхид*, как и литер. *ехидна*, восходит к греч. *ἔχιδνα* ‘ядовитая змея’, ‘ящерица’, ‘черепаха’, ‘еж’. В славянской книжности самое распространенное значение слова *ехидна* – ‘мифическое существо, наполовину человек, наполовину крокодил, со змеиным хвостом’. Ср. также символические значения: ‘обозначение дьявола, опустошающего человеческие души’; ‘обозначение человека, воздающего злом за зло, дающего волю злым делам и помыслам’ и др. В иконографии ехидны изображаются, в частности, как полулюди со змеиными хвостами и когтями; иногда – как два крылатых существа, одно из которых заглатывает другое [Белова 2000: 111–113].

но русск. *зевать*, *зиять*; греч. *βάραθρον* ‘пропасть’ (перен. ‘гибель, смерть’) родственно гл. *βιβρώσκω* ‘съедать, пожирать’ [Журавлев 2005: 387–388].

Итак, можно выделить первое существенное различие в деривационной семантике основных гнезд, рассматриваемых нами (*ад*, «пекло», «hell», «inferno»): только в гнезде *ад* эта семантика формируется с активным участием признака пожирания, который не проявляет себя в остальных трех гнездах (опорные слова этих гнезд участвуют в выражении идеи пожирания лишь на уровне текстовых связей).

ТО, ГДЕ ЦАРЯТ ШУМ, БЕСПОРЯДОК, СУТОЛОКА (→ ССОРЫ, СКАНДАЛЫ, РАСПРИ)

Ад известен *адским шумом* (*грохотом*), что отражено как русской литературной традицией (ср. литер. *ад* ‘переносно и образно: о невыносимом шуме, суматохе, грохоте и т. п.’, эпитеты к слову *ад* – *бушующий*, *грохочущий*), так и говорами, в которых на базе слова *ад* образуются обозначения действий по «производству» крика, шума (влг., вят., яросл. *ада́ть*, яросл. *а́ди́ть*, *аде́ть*, *а́довать* ‘кричать, ругаться’ [СРНГ, 1: 206; ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 45; ОСВГ, 1: 23; СГРС, 1: 13], влг. *адом дурить* ‘о громко кричащем человеке’ [СВГ, 2: 65]), а также крикуна (влг., вят., яросл. *ад* ‘о громком голосе; о крикуне, плаксе’ [СРНГ, 1: 203; ЯОС, 1: 20; ОСВГ, 1: 22; Ховрина 1998: 44], влг. *ади́на* ‘крикливый человек’ [СГРС, 1: 13], яросл. *адо́к* ‘то же’ [ЯОС, 1: 20; Ховрина 1998: 44, 45]). Диалектные лексемы можно весьма уверенно связывать с рассмотренным выше *ад* ‘горло, глотка’: такая связь особо ощутима в перм. *драть ад*: «Мимо иду этта-ка, а у их в избе ув да ряв, ребятишки сбежалися да и дерут ад-от» [ФСПГ: 387]. Слияние звуковых и «пищевых» функций глотки отражено в факте контаминации *ад* ↔ *едок*, которая чувствуется в *адок* ‘крикун’[12].

Адский шум «слышен» и в гнезде «пекло» (ср. польск. *piekło* ‘шум, крики’, *piekło tam, jak w piekle wrzask, trzask* («как в пекле крик, треск»), чеш. *pekelný hluk* ‘адский шум’, серб. *nàкао*, хорв. *pàklenā vîka* («адский крик») [Matešić 1982: 739], макед. *пекол-на врева* («адская суматоха (крик, шум)») [PMJ, 2: 148] и т.п.), а также в гнездах западноевропейских эквивалентов *ада* (англ. *hell*, итал. *inferno*, исп. *infierno* и др. ‘место, где стоит шум и гвалт, режущие ухо звуки’, англ. *hell of a noise*, нем. *Höllenlärm*, исп. *un ruido infernal* ‘адский шум’, франц. *mener un tapage d'enfer* («поднять шум ада») ‘поднять жуткий шум’, итал. *fare un / l'inferno* («сделать ад») ‘страшно шуметь’ и т.п.).

Тесно связанной с признаком шума оказывается идея б е с п о р я д к а, с у т о л о к и, с у м а т о х и, которая тоже реализуется в гнезде рус. *ад* (русск. калин. *а́дея* ‘беспорядок, шум, сутолока’ [СРНГ, 1: 207], пск. *ад* ‘то же’ [ПОС, 1: 51]), и далее – с с о р, с к а н д а л о в, р а с п р е й, которые разворачиваются, как правило, в семье. Эта идея соединяет в себе перцептивные свойства ада и социальные характеристики его обитателей: русск. литер. *ад* ‘переносно и образно для обозначения места или положения, пребывание в котором несносно, мучительно’: «В пичугинской семье воцарился кромешный ад» (Д.Н. Мамин-Сибиряк); «Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли – вырваться из ада теткина дома» (А.И. Герцен) [ССРЛЯ, 1: 50], русск. (морд.) *ад аримéшный* ‘невыносимая обстановка; ад кромешный’ [СРГМ, 1: 22], костр. *ади́на* ‘брань, ругань, скандал’, ‘место, где спорили из-за земли’ [ЛКТЭ], смол. *ад разворотить* (*разорить*) ‘наделать много шуму, поставить всех на ноги, выйдя из себя, рассердившись’ [ССГ, 1: 64], байк. *ад воротить* ‘разрушать, разбойничать’ [Афанасьева-Медведева, 1: 203–204], смол. *ад разорить* ‘выйдя из себя, страшно рассердившись, наделать много шуму, поднять всех на ноги’ [СРНГ, 1: 204] и др. Ср. также название поля *Ади́на*: «Спорили из-за его, адина такая шла» (Костр., Павинск. р-н) [ТЭ].

---

[12] Возможно, к числу фактов аттракции *ад* ↔ *гад-*, о которой говорилось выше, следует причислить также влг. *га́дить* ‘кричать, ругать’ [СРНГ, 6: 91]. Значение ‘кричать’ может быть и результатом независимого семантического развития *гадить*, но версия относительно аттракции имеет право на существование, поскольку это значение единично фиксируется именно в той зоне, где многократно засвидетельствовано *а́дить* ‘кричать’.

Семантико-деривационная линия гнезда *ада*, связанная с криком, имеет параллель в гнезде прецедентного библейского топонима *Содом*, ср. арх., влад., влг., костр., куйбыш., мурман., нижегор., перм., сев.-двин. *содом* ‘шум, ссора, ругань’, <в сравн.> влг. *дом как содом*, влг., костр. *содомить*, р. Урал *содóмничать* ‘ссориться, браниться’, горьк., р. Урал *содóмник* ‘крикливый, сварливый, бранчливый, склонный к ссорам человек’, костр. *содóмщина* ‘ссора, брань, суматоха’ и др. [СРНГ, 39: 211–212; ЛКТЭ; КСГРС]. В.И. Даль определяет *ад* в рассматриваемых значениях через *содом*: *ад* ‘невыносимое житье, ссора в доме, крик, брань, драка, содом’ [Даль$_2$, 1: 6]. Дериваты от *Содома* представлены и в русской топонимии, при этом для них реконструируется мотивационное значение «место (земельное угодье), из-за которого спорят» (см. [Березович 2000: 282–283]; к приведенным там фактам можно добавить еще два из последних записей ТЭ: поле *Содомное* – «Спорили, чьё оно, вот и Содомное» (Костр., Солигаличск. р-н); пок. *Содомная Кулига* – «Содом мужики устроили, делили поле» (Арх., Ленский р-н) [ТЭ]). На этом фоне возникает возможность аттракции *ад* ↔ *содом*, которая усматривается в костр. *адóмить* ‘ссориться’: «Соседи шумкие у нас, всё адомят, адомят», *адóмник* ‘крикливый человек’ [ЛКТЭ]. Помимо фонетической и смысловой близости, рассматриваемая аттракция может «подогреваться» библейским культурным фоном, объединяющим *ад* и *содом*.

В гнезде «пекло» семантика беспорядка, ссор, скандалов находит более детальную в словообразовательном плане разработку, чем в гнезде *ада*.

Ссоры, распри: укр. *пекло* ‘беспорядок, шум, гам’ [СУМ, 6: 111], польск. *piekło* ‘сутолока, беспорядок’, ‘ссора, скандал’ [SW, 4: 147], *dom jak piekło* [NKPP, 3: 866], кашуб. *pékełko* ‘раздоры, несогласие в семье’ [Sychta, 4: 248], слвац. *máš peklo v dome* ‘имеешь неприятности’ [SSJ, 3: 51], диал. *peklo* ‘неприятная ситуация, неприятности, ссора’ [SSN, 2: 766], серб. *nàkao* ‘место, где часто случаются скандалы’ [РСХКЈ, 4: 306], диал. (воевод.) *пакао* ‘ад’, ‘мучительная ситуация, тяжелая, невыносимая обстановка в семье и др.’ [РСГВ, 6: 123], словен. *doma je bil pekel* [SSKJ, 3: 558] и др.

Ссориться, браниться: блр. диал. *пекліцца* ‘суетиться, хлопотать’ [ЭСБМ, 9: 15], слвац. *robit' peklo* ‘устраивать ссоры, распри’ [SSJ, 3: 51], диал. *peklit' sa* ‘ссориться’, ‘сердиться на кого-л.’ [SSN, 2: 766], словен. *delati komu pekel* [SSKJ, 3: 558], польск. *robić piekło, piekłować, piekłić się* ‘устраивать скандалы’ [SJPD, 6: 314–315], чеш. диал. *míti peklo s kým* ‘иметь напряженные отношения, неприятности, скандалы с кем-то’ [PSJČ, 4/1: 175] и т.д.

Скандалист, вздорный человек: польск. *piekielnica* ‘сварливая, злая женщина’, *piekelnik* ‘человек, любящий ссориться, скандалист, буян’ [SJPD, 6: 313–314], чеш. валаш. *peklonoš* ‘человек, который сеет распри между людьми’ [Kazmiř 2007], слвац. *Švekra – pol pekla* [Záturecký 2005: 70] и т.п.

Думается, тяготение дериватов «пекла» к семантике ссор, скандалов «подогревается» тем, что в них дополнительно актуализируется идея печения, горения (как на базе внутренних смысловых ресурсов, так и в ходе притяжения к продолжениям **pekti*): эта идея мотивирует многие «скандальные» слова, ср. русск. *задать жару*, *дать горячих* и проч.

Возможно, в контексте этих мотивов следует рассматривать темное в этимологическом отношении слвац. архаич., чеш. диал. *sitno* [SSJ, 4: 82; PSJČ, 5: 248]. Относительно происхождения этого слова высказывались различные версии. Рассмотрим предложенное недавно решение М. Пуканца[13]. *Sitno* как название ада, вероятно, восходит к

---

[13] Согласно другой версии, слово *sitno* представляет собой адъективное производное от названия болотного растения (напоминающего камыш) *sítie, sitina* ‘ситник’ (это континуант праслав. **sitъ*, **sita*). В этом случае **sitьno* – ‘место покрытое ситником’ → ‘озеро, болото, топь и т.п.’ → ‘ад, преисподняя’. Аргументом в пользу данной версии является наличие целого ряда топонимов, производных от названия этого растения, т.е. активное участие модели в образовании наименований мест [Majtán 2001]. Если принять эту гипотезу, то мы получим еще одно подтверждение того, что ландшафт ада может представляться как болото (см. далее). Впрочем, данная версия Майтана в целом выглядит менее убедительной, чем решение Пуканца (к которому мы предлагаем некоторые коррективы).

названию горы *Sitno* (с остатками древнего замка) в южной части средней Словакии. В языческом прошлом гора могла связываться с культом Перуна, поэтому это место стало объектом интенсивной христианизации. На горе находится колодец, которому приписывалось сакральное происхождение. Первые христиане могли дать ему имя с библейскими аллюзиями – *Sitna*, в честь упоминаемого в книге Бытия колодца *Ситна*. Дальнейшее семантическое развитие: 'колодец' → 'отверстие в земле' → 'ад, преисподняя' [Pukanec 2005].

Представляется, что в эту версию можно внести некоторые коррективы. Вспомним библейский прецедент – колодец *Ситна*: «И копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек колодезю имя: Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодезь; спорили также и о нем; и он нарек ему имя: Ситна» [Быт. 26: 19–21]. Ср.: «*Ситна* (враждебность, вражда) – название колодца, так наименованного вследствие того, что пастухи Исаака спорили здесь с пастухами филистимскими» [БЭ: 652]. По мнению М. Пуканца, семантика др.-евр. названия колодца (которую он трактует как «обвинение») может указывать на то, что на горе Ситна поклонялись Перуну – богу права, справедливости, имущества, верховной власти [Pukanec 2005: 273]. Кажется, можно переставить акценты: если трактовать древнееврейское название в соответствии с текстом Бытия – «объект тяжб, споров», – то оно находит смысловые переклички с образом *Содома*, представлявшегося в русской народной традиции как место (объект) тяжб (в том числе земельных споров) и *ада*, который тоже воспринимается как место разворачивания ссор, скандалов и собственно сами ссоры. Напомним особо русск. костр. *ади́на* 'место, где спорили из-за земли'. В свете этого следует предположить, что слвац. и чеш. *sitno* – деонимизированное слово, содержащее отсылку к библейскому названию колодца *Ситна*, который стал символом (земельных) споров. Отсюда вполне вероятно следующее звено семантического развития: место скандалов → ад. Дополнительная смысловая поддержка для образа ада должна быть усмотрена собственно в свойствах колодца = ямы, провала. Если принять эту версию, то слвац., чеш. *sitno* следуст рассматривать не как производное от слвац. топонима *Sitno*, а как параллельное образование.

Что касается гнезд «hell» и «inferno», то в их пространстве значения крика, скандалов и др. фиксируются, но не являются особо частотными и активными, ср., к примеру, англ. диал. *hell-cat* (адская кошка) 'сварливая женщина, мегера' [EDD, 3: 135], англ. *give smb. hell*, нем. *die Hölle heiß machen* (*heizen*) 'бранить кого-л., ругать кого-л. на чем свет стоит' [ABBYY Lingvo x 3], исп. *armar un infierno* 'затеять ссору' [ИРФС: 337].

О закономерности появления рассматриваемых значений в «адской» лексике говорят также, к примеру, литовские данные, ср. *pragarúoti* (< *prãgaras* 'ад') '«верещать», кричать' [Smoczyński 2007: 480].

ТО, ГДЕ ГОРЯТ (ГРЕШНИКИ)

Признак горения (и, соответственно, огня, жара) – доминантный в представлениях об аде. Однако в деривации на основе русск. *ад* этот признак не актуализируется, а проявляется лишь в контекстных связях, ср., например, устойчивые сочетания *адский огонь*, *адова* (*адская*) *жара*, проклятия вроде «Чтоб ты в аду сгорел!», переносные выражения вроде русск. дон. *кипеть как в аду* (*котле*) 'много и тяжело работать' [БТДК: 216] и др. Аналогичные сочетания есть во всех без исключения славянских и романо-германских языках, ср. некоторые из них: укр. *огонь пекельний*, *пекельна спека*, блр. *пякельны агонь*, «Каб яго душа ў пеклі гарэла!», польск. *ogień piekielny* '«адский огонь», также перен. гангрена' [SW, 4: 146], *pójść za kogo w ogień piekielny* 'быть готовым все для кого-л. сделать, понести жертвы' [SJPD, 6: 314], серб. *врућина* <жара> *као у пак-*

лу, хорв. *oganj pakleni*, макед. *пеколен оган*, *пеколни горештини*, слвац. «Posielal ho do horúceho pekla», франц. *feu d'enfer*, нем. *Höllenfeuer* и мн. др.

Как можно заранее предполагать, у континуантов **рькъль* признак огня и горения эксплуатируется не только на уровне контекстных связей, но и имеет более глубокое внутрисистемное закрепление. Об этом говорит этимологическое значение корня, отсылающее к смоле (кипящей), а также факт контаминации «пекла» и дериватов **pekti*. В русском литературном языке эта контаминация особо ощутима в словах с «температурными» значениями, о которых говорилось выше: *пекло* 'сильный огонь, сильный жар', 'сильный зной, жара', а также перен. 'место, где происходит жаркий бой, горячие споры'. Здесь идея «печения» выходит на первый план, а связь с понятием преисподней затушевана (и проявляется только на этимологическом уровне). В других языках, где «пекло» ассоциируется в первую очередь с адом, эта связь ощутима на синхронном уровне в обозначениях жары: укр. *як у пеклі* 'о жаре, духоте', серб. *пàкао* 'сильный зной, жара', чеш. «Slunce pálí jako v pekle» и др.

Другая линия реализации признака горения связана с образом п е ч и, ср. русск. орл. *пёкло* 'огонь в печи', *пекло* 'горячие угли' [СРНГ, 25: 318], укр. полес. *пікóлок* 'небольшая обогревательная печь' [Аркушин, 2: 50], блр. *пякóлак* 'камелек' [ЭСБМ, 10: 292], польск. диал. *piekło* 'топка печи' [Malec 2000: 283] и др. При этом большинство дериватов «пекла», связанных с печью, обозначают не непосредственно печной огонь или топку, а разного рода углубления, отверстия, «уголки», имеющиеся в «печном пространстве»: польск. *piekiełko* 'припечек, карниз перед отверстием печи', 'запечек, место между печью и стеной', *piekiełek* 'то же' [SW, 4: 146], чеш. *pekelec* 'возвышенное место за печью, запечек' [PSJČ, 4/1: 173], диал. *pekło* 'углубление перед печью', 'помещение под стекловарной печью, куда падал пепел (прибежище бедноты зимой)', *pekélko* 'углубление перед печью', 'пространство между стеной и печью' [Kazmíř 2007], слвац. диал. *pekliska, pekielko, peklo* 'углубление в полу перед отверстием печи', *pekelec* 'узкое пространство между печью и стеной', 'ниша на печи', 'отверстие на конфорке плиты' [SSN, 2: 766], блр. диал. *пякóлак* 'выступ у печи' [СПЗБ, 4: 213], 'шесток печи; углубление в боковой части шестка, куда сгребают угли', *пякóлка* 'ямка на шестке печи, куда сгребают пепел', 'карниз над печью' [ЭСБМ, 10: 292], укр. *пікóлок* 'выступ у печи над плитой' [ЕСУМ, 4: 403], русск. смол. *пекóлка* 'углубление в наружной стене печи, куда кладут вещи для просушки', 'боковой выступ у русской печи', перм. *пекóлка* 'место в печи, куда сгребают горячие угли', смол. *пекóлок* 'карниз, выступ наверху русской печи', русск. забайк. *пéкло* 'углубление в шестке русской печи, куда сгребаются угли' [СРНГ, 25: 318–319] и т. д. Эти слова (одни больше, другие меньше) демонстрируют постепенный уход от семантики жара – и выход на первый план признака углубления, отверстия, ямы, который является ведущим в восприятии ада как пространства (см. ниже). Они имеют общий ареал – западнославянские языки, украинский, белорусский и пограничные русские смоленские говоры (о забайкальском и пермском диалектизмах см. ниже).

Источником этих значений этимологические словари признают нем. диал. *Hölle* («ад») 'в крестьянских домах: узкое пространство между печью и стеной со скамейкой' [DUDEN-8, 4: 1854]. Думается, что семантика немецкого слова объясняется не только актуализацией признака углубления, но и аттракцией нем. *Hölle* 'ад' к своему омофону – *Höhle* 'пещера, полость'. Нем. *Hölle* стало основой семантического калькирования ('ад' → 'место за печью') для чеш. *pekýlko*, *pekelec*, *pekýlec*, *pekýlek*, морав. *pekélko* и проч. [Machek 1968 (1971): 442]. Украинские и белорусские формы признаются западнославянскими (польскими) заимствованиями [ЭСБМ, 10: 292; ЕСУМ, 4: 403]; очевидно, то же можно сказать о смол. *пекóлка, пекóлок*. Что касается забайк. *пéкло* и перм. *пекóлка*, то эти слова могли сформироваться вне западнославянского влияния.

Значение ‘печь’ проявляется также на базе англ. *hell* ‘ад’, ср. спец. *hell* ‘печь для сжигания отходов лесопильного производства’ [ABBYY Lingvo x 3], диал. *hell* ‘печь для обжига кирпича’ [EDD, 3: 136]. Любопытный штрих в развитие образа «адской печи» вносит англ. диал. *purgatory* («чистилище»), *purgatory hole* («дыра чистилища») ‘отверстие под камином (очагом), покрытое решеткой, через которую может падать зола (пепел); также решетка, которая покрывает это отверстие’ [OED].

Рассматриваемые значения фигурируют и в романских языках: каталон. *infern*, кастильск. *infernillo* ‘переносной очажок, работающий на спирте или другом жидком топливе, который служит для разогревания небольших сосудов, особенно с питанием для больных’ [DCVB, 6: 657], исп. *infiernillo* ‘спиртовка для разогревания лекарственных отваров’ [DLE: 744]. Кажется, к значению ‘печь’ здесь добавляется идея «греховности»: эти приспособления работают на спирту.

Таким образом, признак горения практически не представлен в деривации на основе русск. *ад*, но активно проявляет себя в дериватах от «пекла». При этом наблюдаются сложные «флуктуации» производной семантики, совмещающей признак горения с признаком углубления, отверстия, который проникает в семантическое пространство «пекла» под влиянием германских языков. Менее активно (но вполне определенно) данный признак ощущается в гнездах «hell» и «inferno».

ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ УГЛУБЛЕНИЕМ, ОТВЕРСТИЕМ; ТО, ЧТО НАХОДИТСЯ ВНИЗУ

В признаке углубления преломляется представление о пропасти ада, которое реализуется во всех анализируемых языках. Этот признак воплощен в различных значениях дериватов слов, обозначающих преисподнюю (к примеру, он играет определенную роль – правда, второстепенную – в формировании рассмотренного выше значения ‘глотка, рот’, для которого более важен признак пожирания). Наиболее крупными являются две группы значений: предметные и ландшафтные.

Предметные значения. Обозначения разного рода предметов – бытовых приспособлений, орудий труда – не представлены в семантическом пространстве русск. *ад*.

В то же время предметная семантика активно функционирует в гнезде **рькъ́лъ*. Напомним «печные» значения (углубления в разных участках пространства печи), которые были рассмотрены выше, а также приведем примеры из других тематических сфер: польск. *piekiełko* ‘углубление перед ткацким станком, где скапливается пух от хлопка, предназначенного для изготовления ваты’, ‘выдвижной ящик, запертый на ключ, куда через щель аптекари бросают деньги, полученные за обслуживание клиентов’, ‘ящик, в который складывают поврежденные литеры’ [SW, 4: 146–147], диал. *piekło* ‘место под молотилкой, где скапливается мякина’ [KSGP], слвац. диал. *peklo* ‘углубление под ногами ткача, чтоб подножья при нажатии ногой могли опуститься на нижнее положение’, ‘яма под большим колесом молотилки, которая приводится в движение конской тягой’ [SSN, 2: 766], чеш. диал. *pekło* ‘углубление под ногами ткача’ [Kazmíř 2007], морав. *peklice* ‘висячий замóк’ [Bartoš 1905–1906, 2: 285] и др.

В некоторых случаях (когда речь идет о хранилище для поврежденных литер, углублениях, где скапливаются отходы при молотьбе или при производстве хлопка) к мотиву нижнего положения добавляется мотив негодности. В названиях закрытого на ключ ящика и висячего замка проявляются признаки «замкнутости» и «потаенности» (см. также ниже романские примеры). Интересен мотив «ключей ада». Он проскальзывает и в русск. выражении *ключи ада* (*ключи бездны*), которое В.И. Даль приводит с пояснением «у скопцов: известн. части» [Даль$_2$, 1: 6]. Вообще, ключи чаще упоминаются в связи с раем (ср. народное представление о том, что ворота в рай запираются на ключ [СД, 4:

399]), но стремление носителей традиции «огородить» ад, «замкнуть» его пространство приводит к появлению также «адовых ключей».

Любопытную вариацию рассматриваемой семантики дает польск. диал. *piekielnica* ‘нижняя юбка (красного цвета)’ [KSGP]. Здесь признак нижнего положения сочетается с признаком красного цвета, содержащим отсылку к «огненности» ада, а также, возможно, с признаком греховности (юбка прикрывает «срамные» части тела).

«Предметные» реализации признаков нижнего положения и углубления, отверстия еще более активны в германских языках, при этом некоторые факты являются источниками калькирования в западнославянские. Ср. значения, где к идее углубления добавляется идея негодности: нем. *Hölle* ‘круглое отверстие в портняжном столе (для обрезков ткани)’ [ABBYY Lingvo x 3], англ. *hell* ‘место под рабочим столом портного, куда падают лоскутки и кусочки ткани, обрезанные при кройке одежды, которые становятся дополнительным заработком (чаевыми) портного’, ‘место, куда типографщики бросают отходы при производстве (бракованные литеры)’, ‘простейшее вместилище для отходов’ [OED]. Если в германских данных ощутим признак отверстия, то в романских словах он оказывается затушеванным, а на первый план выходит идея негодности: итал. *inferno* ‘место, где хранятся отходы от оливкового масла, используемые для розжига и в производстве мыла’ [Battaglia 1961–2002, VII: 921], порт. *inferno* ‘цистерна или яма, куда сливаются отходы при производстве оливкового масла’ [Freire 1954, VIII: 2966], исп. *infierno* ‘то же’ [DLE: 744] и т.д.

В романских языках есть группа значений, где признак углубления заменяется близким по смыслу признаком нижнего положения, к которому может добавляться идея «потаенности», секретности: каталон. *infern*, *infernet* ‘нижний карман жакета или другой домашней одежды’ [DCVB, VI: 657–658], исп. *infierno* ‘потайное отделение (бумажника, портфеля)’ [ABBYY Lingvo x 3], итал. *inferno* ‘чулан, укромный уголок, тайник’, ‘в публичных библиотеках: место, где хранится порнографическая литература’ [Battaglia 1961–2002, VII: 921], каталон. *infernet* ‘отделение в библиотеке, где хранятся запрещенные книги’ [DCVB: 658], франц. *enfer* ‘то же’ [Robert 1990, 3: 975] (в значениях, связанных с библиотекой, проявлен также мотив «греховности», который представлен, к примеру, в исп. *infierno* ‘трапезная, где едят скоромное (в монастыре)’ [ABBYY Lingvo x 3]).

В «низведении» ада до подобных бытовых смыслов в германских языках важную роль сыграли внутриязыковые аттракции: нем. *Hölle*, как говорилось выше, «притягивается» к *Höhle* ‘пещера, полость’, а англ. *hell* – к *hole* ‘дыра’, *hollow* ‘дыра; полость, впадина’, ср. наиболее очевидное проявление такой аттракции в англ. *hellhole* ‘адская бездна’ [ABBYY Lingvo x 3], диал. *hell* ‘дыра; полость, впадина’, *hell-hole*, *hell's hole* ‘притон со скандальной репутацией’, ‘темный уголок, который, как предполагается, посещают привидения’ [EDD, 3: 135–136], а также в топониме *Hell Hole* [Алпатов 2007: 140].

Романские лексемы тоже имеют внутриязыковую специфику: признак нижнего положения актуализируется в них во многом за счет прояснения внутренней формы (ср., к примеру, итал. *infero* ‘адский’, ‘нижний’).

Ландшафтные значения. В русской языковой традиции образ пропасти ада находит определенную и яркую ландшафтную конкретизацию: пропасть становится болотом, ср. влг. *ад* ‘сильная непроходимая грязь’ [Дилакторский 2006: 7], яросл. *а́дина* ‘низкое болотистое место’ [ЯОС, 1: 20], прииртыш., томск. *а́дина* ‘топкое заболоченное место’ [СРСГСП, 1: 16; СРГС, 1: 25], влг. *а́дово дно* ‘топкое, вязкое, труднопроходимое место’ [СГРС, 1: 13].

«Болотность» ада отражена и в топонимии. На территории Русского Севера фиксируется 9 названий, образованных от основы *ад*, при этом 7 из них обозначают болота или заболоченные места: покос на болоте *Ад*, заболоченный ручей *Адовая Курья*, болота

Адово (2), *Адово Болото* (2) [ТЭ]. Все «болотные» топонимы отмечены в Архангельской области, в ландшафте которой болота играют огромную роль. Думается, севернорусский и сибирский «болотный» образ преисподней имеет национальный колорит, отражая типичный ландшафт территории, в говорах которой функционируют дериваты слова *ад*.

Что касается ландшафтного образа «пекла», то оно может представляться как озеро (слвац. диал. *prepadňi sa do jazerňiho pekla*! [SSN, 2: 766]) или котловина, овраг, яма (кашуб. *pękełko* 'долина, ложбина, котловина' [Sychta 1967–1976, 4: 248], слвац. диал. *peklisko* 'впадина, углубление, овраг' [SSN, 2: 766], польск. *piekło* 'ямка в игре' [Karłowicz 1900–1911, 4: 88], хорв. *pàklen* (прилаг.) 'о глубине (яме, канаве, пропасти)': «Zli će pasti u ponore dno paklenich crnih jama» [RHSJ, 9: 575]). При этом «пекло» практически не дает семантику б о л о т а[14], хотя ср. укр. диал. *пекло* 'яма в болоте, трясина' [ЕСУМ, 4: 329]. По мнению авторов ЕСУМ, это результат сближения укр. диал. *пелька* 'то же' с *пекло* 'преисподняя' [Там же][15]. Приведем также сербские факты, реализующие обратный переход ('яма' ↔ 'ад'): диал. *јама* 'тот свет, ад' [СД, 1: 94], а также выражение *јадова јама*, в котором отражена аттракция *ад* ↔ *јȁд* 'горе; беда' [EPCJ, 1: 61].

В романо-германских языках фиксируются значения я м ы, к а н а в ы, к о т л о в а н а, у щ е л ь я (с текущей по нему рекой): итал. *inferno* 'маленький колодец, яма, канава' [Battaglia 1961–2002, VII: 921], порт. *inferno* 'котлован (омут) под колесом водяной мельницы' [Freire 1954, 8: 2966], англ. диал. *hell-kettle* («адский котел») 'яма, полная воды', *hellbeck* («адский ручеек») 'речушка, ручеек, вытекающий из пещерообразной впадины', *hell-dyke* («адский ров») 'темное ущелье' [EDD, III: 135]. Ср. немецкий топоним *Höllental* («адская долина»), означающий узкую долину р. Шварца в Нижней Австрии, которая имеет мрачный вид [ABBYY Lingvo x 3].

Подобные значения развиваются и на основе семантики 'чистилище': англ. (амер.) *purgatory* («чистилище») 'пещера', 'узкое глубокое ущелье или овраг с вертикальными или крутыми берегами; также ручей, текущий по такому ущелью. Обычно как географическое название' [OED].

Дериваты «чистилища» дают также значение 'б о л о т о', которое не развивается, кажется, на основе слов, называющих ад, ср. англ. (амер.) диал. *purgatory* («чистилище») 'болото, особенно такое, которое трудно пересечь' [Там же]. Ср. и название американского болота *Little Hell* («маленький ад») [Копач 2004: 109].

Специфика романо-германских языков в отражении ландшафта ада состоит, во-первых, в более пристальном внимании к прецедентной адской «топографии» (образ реки, вытекающей из ущелья), во-вторых, в акцентировании признаков впадины и темного цвета (ср., кстати, англ. *hell* 'часть здания и др., которая за ее мрачность и дискомфорт сравнивается с адом' [OED]). Эти акценты определяются, возможно, особой ролью библейских текстов в культурном сознании народа, а также актуализацией связей в языковой системе (притяжением к словам со значениями 'дыра, провал').

* * *

Подведем итоги. Мы рассмотрели ту часть значений, проявляющихся в гнезде русского *ада* и в гнездах его межъязыковых эквивалентов, которая обнаруживает определенную специфику в рамках отдельного языка или группы языков. Наиболее существенные различия можно представить в таблице:

---

[14] Топонимия, образованная от основы «пекло», тоже не содержит однозначного указания на болота и обнаруживает большое разнообразие в плане ландшафтной «привязки» (подробнее см. в [Березович 2009]).

[15] Дополнительную устойчивость этим связям придает тот факт, что в разговорном стиле украинского литературного языка слово *пелька* имеет значение 'глотка'.

<table>
<tr><th>мотивационные признаки</th><th>Ад</th><th>Пекло</th><th>Hell</th><th>Inferno</th></tr>
<tr><td>тот (то), что пожирает</td><td>++</td><td colspan="3">– (признак проявляется только на уровне контекстных связей)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">шум, беспорядок
↓
ссоры, скандалы, распри</td><td colspan="4">значения ‘шум’, ‘грохот’, ‘беспорядок’</td></tr>
<tr><td>+ (на основе значения ‘глотка, рот’)</td><td>++ (отчасти на основе семантики печения)</td><td colspan="2">признак проявляется относительно редко</td></tr>
<tr><td>там, где горят (грешники)
жара, огонь, высокая температура</td><td>– (признак проявляется только на уровне контекстных связей)</td><td>++</td><td colspan="2">– (признак проявляется только на уровне контекстных связей)</td></tr>
<tr><td>печь, пространство печи</td><td>–</td><td>++ (часть значений – германские кальки)</td><td>+ (с акцентом на признаке углубления в пространстве печи)</td><td>+ (с акцентом на «грсховности» горючего – спирта)</td></tr>
<tr><td>углубление, отверстие;
то, что внизу
предметы</td><td>–</td><td>+ (часть значений – германские кальки)</td><td>+ (с акцентом на признаке отверстия)</td><td>+ (с акцентом на признаке нижнего положения и «потаенности»)</td></tr>
<tr><td>ландшафт</td><td>+ (‘болото’)</td><td colspan="3">+ (‘яма, котловина, овраг’)</td></tr>
</table>

Как видим, специфические (или особо акцентированные) смыслы русского *ада* представляют его в первую очередь как нечто пожирающее, ненасытное, порождающее шум, скандалы и распри, в ландшафтном регистре подобное болоту. Специфика деривационного гнезда **рькъlъ* в разных славянских языках создается главным образом подчеркиванием идеи горения, печения. В германских языках особо выделяется идея углубления, отверстия; в романских – идея нижнего положения.

Таким образом, изучение особенностей деривационной семантики слов со значением ‘ад’ в европейских языках обнаруживает некоторое «напряжение» между типологическим аспектом исследования и системно-функциональным. Наличие единого культурного источника, продуцирующего представления о преисподней, должно, казалось бы, обеспечить сходные пути смыслового развития «адской» лексики, однако есть целый ряд специфических для разных европейских языков факторов, создающих различия в картине ада, которая рисуется средствами деривационной семантики на базе разных лексем, номинирующих преисподнюю. Перечислим их:

• заимствованный или исконный характер лексем, от чего зависит, в частности, степень «живости» внутренней формы слов в сознании носителей языка и ее влияние на деривационную семантику. Так, в некоторых языках группы «inferno» прозрачны связи между значениями ‘адский’ и ‘нижний’, определяющие участие семы ‘низ’ в развитии значений;

• внутриязыковые притяжения (процессы контаминации, паронимической аттракции). Этот фактор действует во всех изучаемых языках, однако в русском процессы аттракции особо активны. Отсутствие этимологических связей в рамках русского языка, а главное – минимальный план выражения, представленный всего двумя звуками, побуждают слово *ад*, стоящее как бы «на семи ветрах» языковой системы, «прислоняться» ко многим близким в звуковом и смысловом плане лексическим единицам – *жад-*, *гад-*, *яд-*, *аред*, *аспид*, *ахид* и др.[16];

• логика организации, смысловые доминанты тех семантических полей в каждом языке, куда попадают дериваты «ада». Так, в семантическом поле отрицательных характеристик человека в русских диалектах выделяются обозначения такого порока, как жадность. Именно эта смысловая доминанта существенно «подстраиваст» под себя негативно-социальную семантику дериватов *ада*, способствуя разнообразному воплощению в них семы ‘жадный’;

• особенности распространения религиозной традиции и ее текстового фонда. К примеру, дериваты «пекла» в западнославянских языках (а затем в украинском и белорусском) обнаруживают сильное немецкое влияние, определяемое общностью католической традиции. В то же время русская языковая стихия (особенно севернорусская) в минимальной степени подвержена католическому влиянию, что резко уменьшаст шансы *пекла* вытеснить *ад*;

• характер и степень взаимодействия народной языковой стихии с различными формами народной культуры. Так, на территории Русского Севера, где активны дериваты слова *ад*, отмечался высокий уровень владения книжной культурой и ее сохранности (в частности, в связи с деятельностью монастырей, традициями старообрядчества и др.), а также особая роль «адских» сюжетов («Страшного суда») в практикс иконописи, складывающаяся из византийского влияния и собственных новаций, внесенных в практику художественного воплощения этого сюжета (изображение в центре икон «змея мытарств»).

Мотивы, проявляющиеся в деривационной семантике слова *ад*, – это лишь часть богатейшего, многомерного и сложно устроенного концепта «Ад, преисподняя». Проведенный анализ позволяет сделать шаг в постижении этого устройства, еще раз демонстрируя, что каждая из сфер реализации концепта (системно-языковая, текстовая, внеязыковая – а эти сферы имеют и дальнейшее внутреннее членение) обладает своими акцентами, своими способами нюансировки и интерпретации смыслов. Образующие концепт мотивы не имеют симметричной реализации ни в указанных сферах, ни в разных культурно-языковых традициях. Область семантической деривации, если рассматривать ее как одну из сфер экспликации концепта, обнаруживаст, в числс прочего, заметное влияние факторов языковой техники на функционирование концепта, позволяющее говорить даже о его «пересоздании»: ярким тому подтверждением являются контексты вроде костр. «А кто всю жисть адал <много ел> и жадовал <жадничал>, первым в ад пойдет» [ЛКТЭ]. Сказанное лишний раз показывает, что нельзя уравнивать между собой различные области проявления концептов[17].

И последнее замечание. Рассмотренный материал помогает понять, почему русская языковая традиция (особенно севернорусская) отдает предпочтение *аду* как выразителю семантики ‘преисподняя’ перед *пеклом* (хотя вопрос о причинах подобных предпочтений – и в этом, и в других случаях – не может быть решен полностью, ибо языковой выбор – явление слишком многофакторное и прихотливое, нередко подчиненное слу-

---

[16] За пределами данной статьи (из-за ограниченности ее задач) осталось рассмотрение других проявлений контаминационной активности *ада* (возможны притяжения к словам *чад*, *зад*, диал. *адат* ‘обычай’ и др.).

[17] В 90-е годы прошлого века у нас был распространен подобный подход, когда «здание» концепта строилось из философских произведений, текстов «высокой поэзии», русских поговорок и диалектной лексики, причем каждая из этих областей подавалась так, будто она лишь «повторяет» то, что «сказано» другими.

чайным перипетиям языкового развития и иррациональным для нас «желаниям» самого языка). На этот выбор оказало влияние сложное переплетение как внутриязыковых, так и культурных обстоятельств, перечисленных выше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев 1998 – *А. Алексеев*. Сюжет «змея мытарств» в композиции русских икон «Страшного Суда» // Церковная археология. Вып. 4. СПб., 1998.

Алпатов 2007 – *В.В. Алпатов*. Концептуальные основы формирования английских религиозных топонимов: Дис. … канд. филол. наук. Тамбов, 2007.

Аникин РЭС – *А.Е. Аникин*. Русский этимологический словарь. Вып. 1–. М., 2007–.

АОС – Архангельский областной словарь. Вып. 1–. М., 1980–.

Аркушин – *Г.Л. Аркушин*. Словник західнополіських говірок. Луцьк, 2000. Т. 1–2.

Афанасьева-Медведева – *Г.В. Афанасьева-Медведева*. Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири: В 20 т. СПб., 2007–. Т. 1–.

Белова 2000 – *О.В. Белова*. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000.

Бережная 2003 – *Л.А. Бережная*. «Одесную» и «ошуюю». Русские и русинские православные иконы «Страшного Суда» на рубеже эпох // Человек между царством и империей: Сб. материалов междунар. конф. М., 2003.

Березович 2000 – *Е.Л. Березович*. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000.

Березович 2007 – *Е.Л. Березович*. Язык и традиционная культура. М., 2007.

Бессонов 1863 – Калѣки перехожіе. Сб. стиховъ и изслѣдованіе П. Безсонова. Вып. 5. М., 1863.

БЛДР, 3 – Библиотека литературы Древней Руси / ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) / Под ред. Д. С. Лихачева [и др.]. СПб., 1999. Т. 3.

БТДК – Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.

БЭ – Библейская энциклопедия. М., 1990 [Репринт].

ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1982–. Вып. 1–.

Даль$_2$ – *В.И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1880–1882 (1955). Т. I–IV.

Дилакторский 2006 – Словарь областного вологодского наречия. По рукописи П.А. Дилакторского 1902 г. СПб., 2006.

ДО – Дополнения к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.

ЕРСЈ – Етимолошки речник српског језика. Београд, 2003–. Св. 1–.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. Київ, 1982–. Т. 1–.

Журавлев 2005 – *А.Ф. Журавлев*. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005.

ИРФС – *Э.И. Левинтова, Е.М. Вольф, Н.А. Мовшович, И.А. Будницкая*. Испанско-русский фразсологический словарь. М., 1985.

Копач 2004 – *О.И. Копач*. Номинация водных объектов в белорусском и английском языках: ономасиологический аспект (на материале гелонимов Белоруссии и США): Дис. … канд. филол. наук. Минск, 2004.

КРК – *Л.М. Безносикова, Е.А. Айбабина, Р.И. Коснырева*. Коми-роч кывчукӧр. Сыктывкар, 2000.

КСГРС – Картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).

ЛКТЭ – Лексическая картотека ТЭ УрГУ (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).

МБТР – *Ст. Младенов*. Български тълковен речник с оглед към народните говори. София, 1951. Т. 1.

МНМ – Мифы народов мира. М., 1991. Т. I–II.

МРС – Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и автор комментариев О.А. Черепанова. СПб., 1996.

МФУЗ – Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера. Вып. 1–. Екатеринбург, 2004–.

ОСВГ – Областной словарь вятских говоров. Вып. 1–. Киров, 1996–.

Покровский 1887 – *Н.В. Покровский*. Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства // Труды VI Археологического съезда в Одессе. Одесса, 1887. Т. 3.

ПОС – Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–. Л., 1967–.

РМJ – Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Скопје, 1961–1966. Т. I–III.
Ровинский 1900 – *Д. Ровинскій*. Русскія народныя картинки. СПб., 1900. Т. 1.
РСГВ – Речник српских говора Војводине. Нови Сад, 2000–. Св. 1–.
РСХКЈ – Речник српскохрватскога књижевног језика. Нови Сад; Загреб, 1967–1976. Књ. 1–6.
СВГ – Словарь вологодских говоров. Вып. 1–12. Вологда, 1983–2007.
СГРС – Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург, 2001–. Т. 1–.
СД – Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах. М., 1995–. Т. 1–.
Селигер – Селигер: Материалы по русской диалектологии: Словарь. Вып. 1–. СПб., 2003–.
СлРЯ – Словарь русского языка. М., 1981–1984. Т. I–IV.
СлРЯ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.
СлРЯ XVIII – Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–. Л., 1984–.
Соболев 1913 – *А.Н. Соболевъ*. Загробный міръ по древнерусскимъ представленіямъ: Литературно-историческій опытъ изслѣдованія древнерусскаго народнаго міросозерцанія. Сергіев Посадъ, 1913.
СПГ – Словарь пермских говоров. Вып. 1–2. Пермь, 1999–2002.
СПЗБ – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларуси і яе пагранічча. Мінск, 1978–1986. Т. 1–5.
СРГБаш – Словарь русских говоров Башкирии: А–Я. Уфа, 2008.
СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1–6. СПб., 1994–2005.
СРГМ – Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. Вып. 1–. Саранск, 1978–.
СРГС – Словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 1999–2006. Т. 1–5.
Срезневский 1893–1903 – *И.И. Срезневский*. Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1903. Т. 1–3.
СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.
СРСГСП – Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья. Томск, 1992–1996. Т. 1–3.
ССГ – Словарь смоленских говоров. Вып. 1–11. Смоленск, 1974–2005.
ССКЗД – Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961.
ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1948–1965. Т. 1–17.
Стихи духовные – Стихи духовные / Сост., вступит. ст., подгот. текстов и коммент. Ф.М. Селиванова. М., 1991.
СУМ XVI–XVII – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. Вип. 1–. Львів, 1994–.
Трубачев 2002 – *О.Н. Трубачев*. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 2002.
ТЭ – Картотека Топонимической экспедиции Уральского государственного университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).
УС XII–XIII – Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот.: О.А. Князевская, В.Г. Демьянов, М.В. Ляпон / Под ред. С.И. Коткова. М., 1971.
Успенский 1982 – *Б.А. Успенский*. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
Фасмер 1964–1973 – *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. I–IV.
ФСПГ – *К.Н. Прокошева*. Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь, 2002.
Хобзей 2002 – *Н.В. Хобзей*. Гуцульска міфологія: Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002.
Ховрина 1998 – *Т.К. Ховрина*. О семантической структуре слова *ад* и его производных в ярославских говорах // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования). 1996. СПб., 1998.
Черепанова 2005 – *О.А. Черепанова*. Культурная память в древнем и новом слове: Исследования и очерки. СПб., 2005.
Черных 2002 – *П.Я. Черных*. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 2002.
ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1978–. Т. 1–.
ЯОС – Ярославский областной словарь. Вып. 1–10. Ярославль, 1981–1991.
ABBYY Lingvo x 3 – ABBYY Lingvo x 3: шесть языков. Электронный словарь.

Bartoš 1905–1906 – *F. Bartoš.* Dialektický slovník moravský. Praha, 1905–1906. D. 1–2.
Battaglia 1961–2002 – *S. Battaglia.* Grande dizionario della lingua italiana. Torino, 1961–2002. V. I–XXI.
Boryś 2005 – *W. Boryś.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.
Buck 1949 – *C.D. Buck.* A dictionary of selected synonims in the principal Indo-European languages. Chicago, 1949.
Czarnecki 2007 – *T. Czarnecki.* Rozważania nad etymologiją chreścijańskiego terminu *piekło* // Opuscula linguistica Georgio Treder dedicato. Gdańsk, 2007.
DCVB – *A. Alcover.* Diccionari català-valencià balear. Palma de Mallorca, 1954. T. VI.
DLE – Diccionario de la lengua española / Real academia española. Madrid, 1970.
DUDEN-8 – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 8 bänden. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1995.
EDD – The English dialect dictionary. Oxford, 1981. V. I–VI.
Freire 1954 – *L. Freire.* Grande e novíssimo dictionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 1954. V. VIII.
Goldfrank 1995 – *D.M. Goldfrank.* Who put the snake on the icon and the tollbooths on the snake? A problem of last judgment iconography // Harvard Ukrainian studies. 1995. V. 19: Камень краєжгьленъ. Rhetoric of the Medieval Slavic world.
Karłowicz 1900–1911 – *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1900–1911. T. 1–6.
Kazmíř 2007 – Slovník valašského nářečí: rozšířené vydání zpracované pouze na CD / Sestavil Silvestr Kazmíř. 2007.
KSGP – Картотека Словаря польских говоров (Институт польского языка ПАН, Краков).
Machek 1968 (1971) – *V. Machek.* Etymologický slovník jazyka českého / Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1968 (1971).
Majtán 2001 – *M. Majtán.* Sitno (Etzelberg) – sitno // Slovenská reč. Bratislava, 2001. Roč. 66. Č. 2.
Malec 2000 – *M. Malec. Raj* i *piekło* w toponimii Polski // Onomastické práce. Sv. 4: Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc. Praha, 2000.
Matešić 1982 – *J. Matešić.* Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1982.
NKPP – Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga. Warszawa, 1969–1978. T. 1–4.
OED – The Oxford English dictionary. Oxford, 1989. II ed. V. I–XX (электронная версия).
Pokorny 1949–1959 – *J. Pokorny.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949–1959. Bd. I–II.
PSJČ – Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957. D. 1–8.
Pukanec 2005 – *M. Pukanec.* Perún na sitne? // Kultúra slova. Bratislava, 2005. Roč. 39. Č. 5.
RHSJ – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. JAZU. Zagreb, 1880–1976. D. 1–23.
Robert 1990 – *P. Robert.* Le Grand Robert de la langue française: Dictionnaire aphabétique et analogique de la langue française de P. Robert. Paris, 1990. T. 1–9.
SJPD – Słownik języka polskiego / Red. W. Doroszewski. Warszawa, 1958–1969. T. 1–11.
SJS – Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1966–1997. T. 1–4.
Smoczyński 2007 – *W. Smoczyński.* Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wilno, 2007.
SSJ – Slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1959–1968. D. I–VI.
SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970–1991. D. 1–5.
SSN – Slovník slovenských nárečí. Bratislava, 1994–. T. I–.
SW – *J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900–1935. T. 1–8.
Sychta 1967–1976 – *B. Sychta.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967–1976. T. 1–7.
Zátureckỳ 2005 – *A.P. Zátureckỳ.* Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava, 2005.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2010

© 2010 г. Е.В. ПЕРЕХВАЛЬСКАЯ

АСПИРИРОВАННЫЕ И ГЛОТТАЛИЗОВАННЫЕ ГЛАСНЫЕ В ДИАЛЕКТАХ УДЭГЕЙСКОГО ЯЗЫКА*

В статье рассматриваются гласные сложного образования, выделяющие удэгейский среди других тунгусо-маньчжурских языков. Демонстрируется различная реализация данных гласных в рамках диалектного континуума, образованного диалектами удэгейского и орочского языков. Демонстрируются конкретные механизмы образования диалектного континуума с привлечением понятия произносительного стиля речи. Анализируются различные точки зрения на фонологическую природу указанных гласных звуков, показывается неоднозначность фонологической трактовки системы удэгейских гласных; демонстрируется несводимость фонологических систем разных диалектов.

Исключительной сложностью системы гласных отличается удэйский язык, в котором противополагается пять групп гласных: краткие, долгие, прерывные, придыхательные и дифтонги.

Л.Р. Зиндер [Зиндер 1948: 581]

Удэгейский язык занимает особое место в семье тунгусо-маньчжурских языков. Одной из его особенностей являются гласные сложной природы: аспирированные и глоттализованные. Их фонологическая трактовка вызвала немало споров среди лингвистов. Я предлагаю рассмотреть гласные этого типа в различных диалектах удэгейского языка, с учетом стилей произнесения в рамках каждого диалекта, в какой-то мере отказавшись от представления об удэгейском языке как о единой системе.

ДИАЛЕКТЫ В БЕСПИСЬМЕННОМ ЯЗЫКЕ

Традиционно в работах по диалектологии, в частности, русского языка, диалекты определяются как «территориальные разновидности», см., например [Пожарицкая 2005: 3]. Одновременно используются термины «наречие» и «говор». «На практике "говором" обычно называют речь определенного языкового коллектива (например, говор деревни Веркола или говоры Верхней Пинеги; заонежские говоры и т. п.). Слово 'диалект' чаще всего употребляется как альтернатива термину 'литературная речь'. Говорят 'диалектное произношение', 'диалектное слово', 'диалектная форма'» [Пожарицкая 2005: 12].

Возникает вопрос: что такое «диалект» для бесписьменного языка? В этом случае нет противопоставления «диалект – литературная речь», под термином «диалект» может пониматься только «язык определенной территориальной группы». В связи с этим возникает следующий вопрос: язык коллектива какой величины должен приниматься за точку отсчета? Определенные языковые особенности присущи любому коллективу,

* Исследование выполнено в рамках проектов РГНФ «Типологически редкие и уникальные явления в языках народов России», № 08-04-00167а, и ОИФН «Традиционный нарратив и способы его документации (на материале алтайских языков)».

будь то население области, группы деревень, отдельной деревни, члены одной семьи. Речь каждого конкретного говорящего имеет свои особенности. Не всегда понятно, до какой степени дробности имеет смысл делить территорию распространения идиома и где граница между диалектом и идиолектом[1]. При таком подходе единственной реальностью оказываются идиолекты, «языковая система», характерная для конкретного говорящего. С этой точки зрения идеальное описание языка превращается в перечисление идиолектных особенностей[2]. Не спасает и лингвогеография: изоглоссы часто имеют разную конфигурацию и не складываются в «пучки», которые можно было бы считать «диалектом».

Это свидетельствует о том, что лингвистика до сих пор с трудом оперирует переменными. При попытке описать языковую систему исследователь неизбежно вынужден искать инвариант, конструировать «над-систему», и сталкивается с трудностью выбора между сосуществующими формами. Это особенно ярко проявляется при описании бесписьменных языков, не имеющих кодифицированной нормы[3].

Разделение пространства языка на наречия, диалекты, поддиалекты, говоры – это попытка справиться с пространственной вариативностью языка.

За термином «диалект» скрываются, следовательно, такие сущности:

– диалект как форма, противопоставленная литературному языку;

– диалект, определяемый географически («сардинский диалект итальянского языка»);

– диалект, определяемый лингвистически («акающий диалект»).

Очевидно, что «диалект» в первом понимании имеет мало общего с двумя другими пониманиями, а вот между географической и лингвистической близостью / дальностью идиомов имеется корреляция. Можно выделить два основных типа такой корреляции: диалектный континуум и диалектный скремблинг.

ТИПЫ ДИАЛЕКТНОГО ПРОСТРАНСТВА

В ситуации отсутствия кодифицированной нормы, и особенно – длительной письменной традиции, т. е. в «естественной» ситуации существования языков, возникает такая картина: различия между вариантами языка любых двух соседствующих групп достаточно невелики; однако по мере увеличения расстояния между группами эти различия накапливаются, так что отличия в языке групп, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, оказываются уже весьма значительными; их идиомы могут практически перестать быть взаимопонятными. Такое положение дел носит название д и а л е к т н о г о к о н т и н у у м а. Одним из первых его описал Гуго Шухардт, наглядно показавший, что между французским и итальянским языком нет границы, если брать не литературные языки, а диалекты [Шухардт 1950].

Диалектный континуум характерен для относительно немобильного населения, преимущественно занимающегося земледелием, контакты которого ограничиваются обычно общением с ближайшими соседями.

---

[1] Так, М.З. Муслимов, изучающий язык ингерманландских финнов Ленинградской области, выделяет на этой территории 18 диалектов, при этом сам ингерманландский финский также определяется им как «диалект», в противоположность литературному финскому языку. Таким образом, здесь «диалект» (т. е. система, противопоставленная литературному языку) подразделяется на «диалекты», определяемые уже через набор лингвистических черт. При этом многие из выделенных восемнадцати диалектов, согласно мнению данного автора, могут быть поделены на более мелкие «поддиалекты» [Муслимов 2009].

[2] Ниже будет показано, что идиолект также далеко не однороден.

[3] Язык никогда не бывает абсолютно единым [Серебренников 1970: 451]. Полевые лингвисты знают, что проще всего работать с одним информантом, но непонятно, имеет ли лингвист право выдавать это исследование за описание грамматики «такого-то языка». Однако точно так же не ясно, насколько лингвист имеет право выдавать описание кодифицированного нормированного языка за «такой-то язык».

Для лингвиста «идеальный» диалектный континуум представляет сложность прежде всего вследствие необходимости проводить языковые или диалектные границы. Такие решения часто основываются на внелингвистических основаниях: учитываются административные и государственные границы или естественные границы – реки и т. п. В континууме, описанном Шухардтом, граница между «диалектами французского языка» и «диалектами итальянского языка» проходит по государственной границе между Италией и Францией, хотя пограничные диалекты очень близки. При этом литературные языки возникли на основе далеко отстоящих диалектов: литературный итальянский на основе тосканского диалекта, литературный французский на основе языка Иль-де-Франс. Примеры таких континуумных ситуаций можно умножить (русский-белорусский-польский; бамана-маninка и т. д.). В ситуации диалектного континуума диалект или говор часто определяется через пучок изоглосс, но диалектные границы остаются размытыми.

Диалектное пространство оказывается иным в ситуации, когда носители языка интенсивно перемещаются. Происходит постоянное перемешивание населения и взаимодействие близкородственных идиомов. Важные изоглоссы, на основе которых можно было бы разделить диалекты, в этом случае часто располагаются таким образом, что не образуют «пучков». Каждая изоглосса может иметь свою собственную конфигурацию. В типичном случае это происходит с диалектами скотоводческих групп. Территория сезонного перемещения народов, занятых коневодством, – например, некоторых тюркских народов – занимает тысячи квадратных километров. Взаимовлияния близкородственных идиомов приводят к тому, что оказывается достаточно трудным выделить и классифицировать языки и диалекты. Так, ни одна из предложенных классификаций тюркских языков не получила общего признания. Приведу в качестве примера урумский язык, которым несколько лет занимались студенты кафедры общего языкознания СПбГУ. В этом языке выделяется несколько диалектов, которые сочетают в себе огузские и кыпчакские черты[4] [Гаркавець 1999], при этом есть диалекты огузские, кыпчакские, а также смешанные кыпчакско-огузские (где превалируют кыпчакские черты) и огузско-кыпчакские (где превалируют огузские черты). Все эти варианты являются диалектами одного языка, место которого в классификации тюркских языков не может быть однозначно установлено. Такой тип диалектного пространства можно назвать диалектным скремблингом[5]. Членение такой области на отдельные диалекты также сопряжено со значительными сложностями.

ДИАЛЕКТЫ УДЭГЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Удэгейцы – один из самых малочисленных народов России. По данным переписи 2002 года их насчитывалось 1657 человек[6]. Около 20 лет назад А.Е. Кибрик отнес удэгейский язык к «смертельно больным» [Кибрик 2001], с тех пор ситуация значительно ухудшилась. Сегодня по-удэгейски говорят несколько десятков человек в трех поселках, местах компактного проживания этой этнической группы. Ранее удэгейцы, которые вели полукочевой образ жизни, были расселены на достаточно большой территории – с юга на север ее протяженность составляла около тысячи километров. Первые исследователи, географы и этнографы (см., например, [Арсеньев 1947–1949: 81] указывали, что диалектные различия в удэгейском языке очень значительны и что удэгейцы из разных территориальных групп едва понимают друг друга. Современные исследования,

---

[4] Кыпчакские языки – наследники языка Золотой Орды (в первую очередь татарский, башкирский, казахский); огузские – языки (турецкий, азербайджанский), на которых говорят потомки тюрок-огузов.

[5] Скремблинг (англ. *scrambling*) – шифрование путем перестановки и инвертирования участков спектра сигнала или групп символов.

[6] По этим же данным, из 1657 человек, назвавшихся во время переписи удэгейцами, лишь 4 человека (два в Приморском и два в Хабаровском краях) отрицали знание русского языка.

однако, показывают, что, при всех различиях, диалекты удэгейского языка совершенно взаимопонимаемы, см., например, [Симонов 1988][7]. Здесь можно впасть и в иную крайность, утверждая, что различия между диалектами незначительны и ими можно пренебречь. В этой связи необходимо отметить, что коммуникация между их носителями вовсе не означает, что системы диалектов тождественны, как показал Питер Традгил на материале английских диалектов [Trudgill 1983: 21–23].

Традиционно диалекты удэгейского языка выделялись на географических основаниях – каждой территориальной группе, кочевавшей в пределах бассейна одной реки, приписывалось наличие своего варианта языка. В данном случае это соответствовало лингвистической действительности, поскольку мобильность людей между разными территориями была значительно ниже, чем внутри одной территории. Вследствие этого в бассейне каждой из рек складывались свои особенности языка. Язык больших территориальных групп, однако, также не был однородным. Так, отдельные удэгейские семьи, жившие в бассейне реки Бикин, занимали конкретные территории, на которых также складывались свои языковые особенности. До сих пор существуют различия в языке тех, кто родился в стойбищах Митахеза, Сяин, Олон, Улунга, Тохоло и т. д.

В прошлом выделялись следующие диалекты удэгейского языка (см. карту): (1) курурмийский, (2) коппинский, (3) самаргинский, (4) анюйский, (5) хунгарийский (по названию реки Хунгари, ныне р. Гур[8]), (6) хорский, (7) бикинский, (8) иманский, (9) приморский. Знаком (10) помечено место проживания тазов (о них – см. ниже). На этой же карте приведены диалекты орочского языка: (a) хадинский (приморский) и (b) тумнинский (основной).

С лингвистической точки зрения диалекты удэгейского языка (а также орочского, о чем ниже) образуют континуум. Из этого можно сделать вывод о том, что удэгейцы, несмотря на то что они не были оседлым народом, а занимались охотой и собирательством, что требовало постоянного перемещения, все же традиционно перемещались лишь внутри определенной, достаточно небольшой территории и сравнительно мало контактировали с соседями.

Диалекты удэгейского языка в то же время не являются классическим диалектным континуумом, подобным описанному Г. Шухардтом. Данный тип диалектного пространства можно назвать «континуально-дискретным»: диалекты образуют континуум, но каждая традиционная территория четко очерчена географически, нет переходных зон между диалектами. Этому способствует традиционное дискретное расселение удэгейцев. В результате при выделении диалектов удэгейского языка не возникает проблем, подобных имеющимся при изучении «идеального» диалектного континуума.

Континуальный характер диалектного пространства удэгейского языка проявляется в том, что при движении от одного диалекта к другому можно наблюдать постепенную утрату одних языковых черт и появление других. Это «движение» происходит по линии «север – юг». Различия в диалектах касаются всех языковых уровней: фонетики и фонологии, морфологии и лексики, синтаксиса.

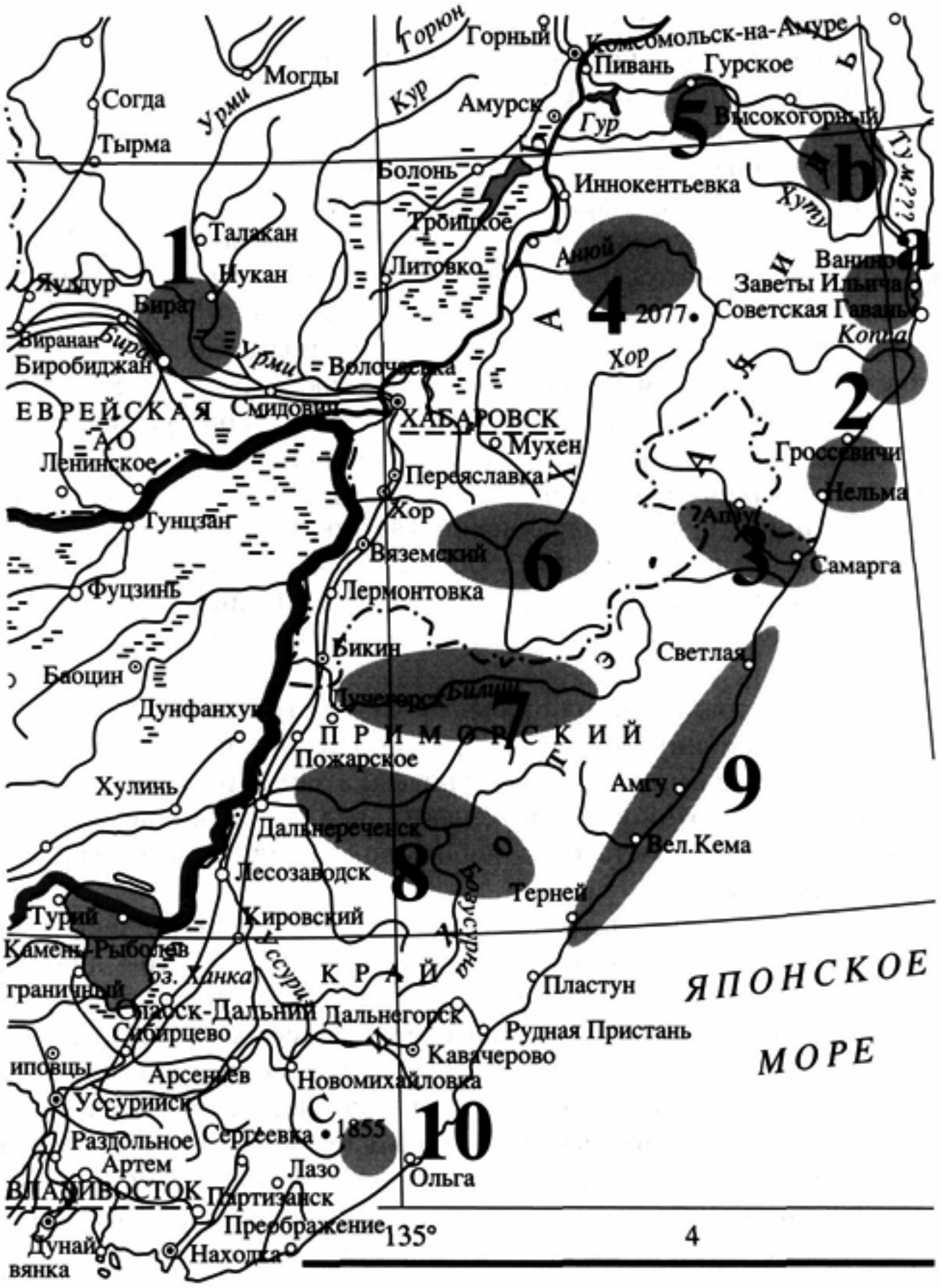
К настоящему моменту удэгейский язык считается сравнительно хорошо изученным на синхронном уровне. Однако описаны далеко не все диалекты. Существует краткое грамматическое описание хорского диалекта [Шнейдер 1936]; есть подробная грамматика бикинского диалекта [Nikolaeva, Tolskaya 2001]; составлены словари хорского диалекта [Шнейдер 1936; Симонов, Кялундзюга 1998]; анюйского диалекта [Шнейдер

---

[7] В ходе одной из экспедиций я предъявила аудиозапись, сделанную на Имане, анюйской удэгейке в пос. Арсеньево. Никаких трудностей с пониманием ею текста не возникло, хотя она отмечала необычность произношения.

[8] Многие топонимы Хабаровского и особенно Приморского краев были изменены в начале 1970-х гг. как реакция на пограничный конфликт между СССР и Китаем в 1969 г. В частности, были переименованы многие реки, при этом переименованию подверглись гидронимы не только китайского, но и тунгусо-маньчжурского происхождения. Так, река Иман в настоящее время официально именуется р. Большая Уссурка. В обиходе используются прежние названия.

Расселение удэгейцев, орочей и тазов



1937]; бикинского диалекта [Перехвальская, Николаева, Тольская, ркп.]; есть сводный словарь по нескольким диалектам [Кормушин 1998]. Следует учитывать и более ранние лексикографические работы, где была зафиксирована лексика некоторых удэгейских диалектов. Это работы В.П. Маргаритова [Маргаритов 1888], И.П. Надарова [Надаров 1887], П. Протодьяконова [Протодьяконов 1888], С. Леонтовича [Леонтович 1898], С.Н. Браиловского [Браиловский 1901] и П. Шмидта [Schmidt 1928]. И.П. Надаров собрал список слов у удэгейцев, живших на севере Уссурийского края по р. Чиури. С.Н. Браиловский записал около тысячи слов у удэгейцев, живших по реке Самарга, а также по соседним более мелким рекам, впадающим в океан. Браиловский также составил сводный словарь, где привел параллели записанным им словам из словарей Надарова, Маргаритова, Протодьяконова и Леонтовича. В словаре Протодьяконова представлены слова, записанные у удэгейцев и орочей, живших по морскому побережью от залива Де-Кастри на севере до залива Ольги на юге. В словарях Леонтовича и Маргаритова

представлены слова только орочского языка. Словарные списки Браиловского и Протодьяконова, несмотря на несовершенство записи удэгейских слов буквами русского алфавита, оказываются важным источником сведений по приморским диалектам удэгейского языка. Это все материалы по данным диалектам, которыми мы располагаем.

Как следует из данного перечисления, идиомы разных территориальных групп удэгейцев изучены неравномерно. Лексикографически хорошо документированными оказываются только хорский, бикинский и анюйский диалекты, а подробное грамматическое описание имеется только для бикинского. Нет материалов по кур-урмийским[9] и хунгарийским[10] удэгейцам. Данные по диалекту приморских удэгейцев, живших южнее р. Самарги, ограничиваются списками слов у Браиловского и Протодьяконова. Не проводилось систематического изучения языка иманских и коппинских удэгейцев (см. карту).

Помимо того, что диалекты удэгейского языка исследованы неравномерно, они относятся к разным периодам развития языка. Списки слов, собранные Надаровым, Браиловским и Протодьяконовым, относятся к концу XIX века. Исследование хорского диалекта Е.Р. Шнейдером относится к концу 1920 – началу 1930 г., в те же годы им были записаны тексты и у анюйских удэгейцев. О.П. Суник собирал материалы по удэгейскому языку в 1960-е гг., а И.В. Кормушин работал на Самарге и в других областях проживания удэгейцев в 1970-е гг. Изучение бикинского диалекта началось лишь с 1980-х годов.

Принимая точку зрения о том, что каждый диалект обладает особой языковой системой [Trudgill 1983: 21–23], в частности, фонологической системой, приходится констатировать, что документированы лишь некоторые варианты данного языка.

Я поставила задачей на основе существующих данных предположительно восстановить некоторые черты фонологических систем тех диалектов, которые нам менее известны.

УДЭГЕЙСКИЙ И ОРОЧСКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ КОНТИНУУМ

Область распространения диалектов удэгейского языка граничит с областями нанайского, эвенкийского и орочского языков. Между удэгейским и нанайским, удэгейским и эвенкийским языками имели место интенсивные контакты. «Островной» кур-урмийский диалект удэгейского языка (на карте – 1) был расположен на территории распространения эвенкийского языка и испытал на себе его значительное влияние. Бикинский диалект удэгейского и бикинский диалект нанайского языков в результате взаимных влияний приобрели большое количество сходных черт [Перехвальская 2001][11].

Несмотря на наличие языковых контактов между удэгейским, с одной стороны, и нанайским и эвенкийским языками, с другой, языковые границы между ними остаются совершенно четкими. И сами носители, и исследователи не испытывают никаких трудностей при отнесении того или иного идиома к диалектам нанайского, эвенкийского или удэгейского языков.

Совершенно иной характер носит соотношение удэгейского и орочского языков. Поскольку термины «язык» и «диалект» являются скорее терминами социолингвисти-

---

[9] Дважды – в 1990 и 1991 гг. – мы побывали в пос. Кукан, где проживали два последних носителя кур-урмийского диалекта, к сожалению, почти утратившие знание родного языка. У них было записано несколько десятков слов (собраны автором совместно с В.И. Беликовым в 1991 г.).

[10] О.П. Суник некоторое время работал у «северных удэгейцев». Поскольку именно ему принадлежит мнение о близости самаргинского и хунгарийского диалектов, составляющих диалектное единство, можно предположить, что он собирал данные у хунгарийских удэгейцев. К сожалению, собранные О.П. Суником материалы не были опубликованы. Возможно, они были использованы при написании очерка об удэгейском языке в пятитомнике «Языки народов СССР» [Суник 1968].

[11] Часть этих общих черт, возможно, объясняется влиянием китайского языка на диалекты обоих языков.

ки, решение вопроса о статусе удэгейского и орочского языков / диалектов во многом зависит от решения вопроса, считают ли орочи и удэгейцы себя единым этносом.

Традиционная территория расселения орочей расположена к северу от территории удэгейцев (см. карту) – по притокам Амура, главным образом, по реке Тумнин, а также по побережью Татарского пролива. В непосредственной близости от них жили анюйские и хунгарийские удэгейцы. В культурном отношении удэгейцы и орочи различались мало. В противоположность нанайцам, жившим по крупным рекам и занимавшимся преимущественно рыбной ловлей, удэгейцы и орочи жили по притокам малых таежных рек и занимались в первую очередь охотой; рыболовство и собирательство играли подчиненную роль. Другие их соседи – эвенки – были оленеводами; для удэгейцев и орочей оленеводство было совершенно не характерно. Орочи занимали в Приамурье ту же нишу, что и удэгейцы. Сходной была как их материальная (постройки, утварь, пища, одежда), так и духовная культура[12].

Не подлежит сомнению, что удэгейцы и орочи – очень близкие друг другу народы. Трудно сказать, насколько они ощущали свою общность в эпоху до начала активных контактов с русскими. Удэгейцам и орочам, как и многим другим народам, была свойственна в первую очередь родовая идентичность. Этническая идентичность присутствовала скорее имплицитно – когда «свои» противопоставлялись «чужим». Такими чужими выступали китайцы, маньчжуры и другие народы-пришельцы, а с другой стороны – нанайцы и эвенки, которые вели иной образ жизни. «… этноним удихэ (удээ, удэхэ), стал самоназванием народа в 30-х гг. XX века. До этого общего самоназвания не было. Каждая территориальная группа имела свое самоназвание: хунгарийская – хунгакэ, бикинская – бикинка, анюйская – унинка и др.» [Суляндзига и др. 2003: 142].

Орочи также не имели собственного самоназвания. Сейчас удэгейцы называют орочей *namuŋka* ‘житель морского побережья’[13], однако этим словом они называли и удэгейцев, живших по рекам, впадавшим в океан, в том числе и значительно южнее р. Самарга. Таким образом, название *namuŋka* не отделяло собственно орочей от приморских удэгейцев; при этом все остальные этносы имели свои названия: нанайцы – *maŋmu*, китайцы – *niŋka*, корейцы – *gauli* и т. д.[14] По-видимому, это отражает тот факт, что орочи и удэгейцы не были четко противопоставлены друг другу и в плане этнической идентичности – удэгейские и орочские родовые группы, скорее всего, воспринимались как однопорядковые.

Вследствие указанных причин первые исследователи этих этнических групп не разделяли удэгейцев и орочей. Это, видимо, отражало реальное положение дел. За неимением общего самоназвания первоначально этот народ / народы называли «ороченами» или «орочонами»[15]. Этноним «орочоны» был дан коренному населению, жившему по побережью Татарского пролива и Японского моря, Ж.Ф. Лаперузом (см. [Шренк 1883: 142]). Он, по существу, является ошибочным, так как восходит к тунгусскому названию северного оленя *oro*. Ни удэгейцы, ни орочи не занимались оленеводством.

---

[12] Подробное описание традиционной культуры орочей оставил работавший в пос. Уська Орочская директор школы Н.П. Сидоров. Его рукописные работы хранятся в краеведческом музее в пос. Советская Гавань. Ср. также данные книг [История и культура орочей 2001; История и культура удэгейцев 1989].

[13] Намунка – распространенное родовое название у орочей, ставшее в настоящее время «фамилией», записанной в паспорте.

[14] По-удэгейски невозможно сказать «так делают орочи», поскольку это будет означать в первую очередь «так делают жители морского побережья». Выражение *namuŋka kəjəni* означает одновременно «язык приморских жителей» и «орочский язык».

[15] Этот этноним использовался для обозначения удэгейцев и орочей во многих географических, статистических и др. сочинениях конца XIX – начала XX века (см., например [Шренк 1883; Надаров 1887; Маргаритов 1888; Протодьяконов 1888; Пржевальский 1947]). Этим же именем и по сию пору называют удэгейцев в селах, расположенных по Иману, но в настоящее время самими удэгейцами это название воспринимается как пейоративное.

Тем не менее, этот этноним закрепился и долгое время использовался. Орочоны считались отдельным народом наряду с гольдами, тунгусами, гиляками.

Термин «удэhe» появляется впервые у Сергея Николаевича Браиловского – именно в такой форме. Это было самоназвание одной из групп северных удэгейцев. Браиловский начал использовать также термин «тазы» как синоним термину «удэhe». При этом он не разделял удэгейцев и орочей, пользовался единым термином «орочи-удиhe» и синонимичным ему «тазы»[16].

В конце 1920-х гг. развернулась кампания по изменению этнонимов малых народов России. Предполагалось, что старые названия носили уничижительный характер, поэтому во многих случаях они были заменены самоназваниями данных народов. Так *гольды* стали *нанайцами*, *гиляки – нивхами*, *тунгусы – эвенками*, *ламуты – эвенами* и т. д. *Орочоны* были разделены на три группы и стали *орочами*, *удэгейцами* или *тазами*. Впервые такое разделение находим в книгах В.К. Арсеньева [Арсеньев 1949а; 1949б]. Возможно, оно принадлежит самому Владимиру Клавдиевичу, хорошо знавшему и сами этнические группы, и их языки.

Таким образом, термин *орочи* закрепился за «орочонами», жившими по р. Тумнин, а также по рекам, впадавшим в Татарский пролив (Нельма и Коппи). Тазами стали называться «орочоны» и «гольды», жившие на юге Приморья и воспринявшие китайский язык и культуру. Остальные «орочоны» получили название *удэге*[17] или *удэйцы*, а их язык стал называться *удэгейским* или *удэйским* (из удэг. [udihɔ], [udiɔ] ‘удэгеец’).

Нет смысла решать вопрос – верным было такое решение или нет. Сейчас это разделение является общепризнанным, и данные этнонимы входят в любой список малых народов России. Они же записывались в советском паспорте в графе «национальность» (в том числе – «тазы»). В настоящее время, когда оба языка находятся на грани исчезновения, а сами представители данных народов твердо знают, какой они национальности, это разделение стало реальностью.

Возникает вопрос о том, как же в действительности соотносятся данные идиомы.

В первых словарях удэгейского языка (Протодьяконова, Леонтовича, а также в материалах Инадарова и Маргаритова), в обобщающей работе Браиловского представлены как орочские, так и собственно удэгейские слова. С.Н. Браиловский сопоставил собранный им лично материал с лексикой диалектов других территориальных групп и пришел к выводу об обособленности южных удэгейцев, испытавших китайское влияние. Северных удэгейцев (в современной терминологии) он относил к орочам. Браиловский настаивал на культурной и языковой общности всех «орочей-удэhe». Этой же точки зрения придерживался П. Шмидт.

Работавший у орочей и удэгейцев в середине XX века этнограф В.Г. Ларькин считал орочский и удэгейский двумя диалектами одного языка, причем удэгейский подразделяется у него на несколько говоров [Ларькин 1959: 5]. Это мнение отражено в учебнике А.А. Реформатского [Реформатский 1996: 226].

Удэгейский и орочский языки стали рассматриваться лингвистами как отдельные языки начиная с 1930-х гг. [Шнейдер 1936; Суник 1968; Аврорин, Лебедева 1978]. Следует заметить, что при этом изучались диалекты, которые в лингвистическом отношении действительно были достаточно далеки друг от друга.

Независимо от того, считать ли удэгейский и орочский близкородственными языками или далеко разошедшимися диалектами одного языка, главным остается тот факт, что эти языки образуют сплошной диалектный континуум.

---

[16] Этноним «тазы» восходит к кит. *да-цзе* ‘местный житель Приморья’. Тазы являются этнической группой тунгусо-маньчжурского происхождения, утратившей родной язык и говорившей на одном из северных диалектов китайского. Они были селены в пос. Михайловка Ольгинского р-на; о языковой ситуации у тазов см. [Беликов, Перехвальская 1994].

[17] Этноним «удэге» несет в себе неточность, так как неудачно передает данное самоназвание. В удэгейском слове сочетание *-ihə-*, как будет показано ниже, передает один звук, и согласный в нем отсутствует.

Хадинский (приморский) диалект орочского языка весьма близок самаргинскому диалекту удэгейского языка. Пограничный говор – идиом группы, живущей на р. Коппи, – считается либо самым южным диалектом орочского языка (В.И. Аврорин), либо самым северным диалектом удэгейского языка (И.В. Кормушин). Фактически в этом районе граница между орочским и удэгейским языком проходит по административной границе между Хабаровским и Приморским краями. Это напоминает описанное выше проведение искусственных границ между диалектами в ситуации диалектного континуума. Поскольку устье реки Коппи, впадающей в Татарский пролив, территориально относится к Хабаровскому краю, при паспортизации в 1930-е гг. местные «орочоны» получили паспортные записи *ороч*, *орочка*, таким образом, официально их язык – это диалект орочского языка.

Лингвистическое положение коппинского диалекта до недавнего времени оставалось неясным. В 2007 г. мной совместно с Н.В. Кузнецовой проводилось исследование коппинского диалекта орочского языка, в ходе которого мы записали более трехсот слов и несколько десятков фраз на коппинском диалекте. Собранные данные обрабатывались; целью исследования было определение места данного диалекта на лингвистической карте Нижнего Приамурья. Были выбраны следующие диагностические черты: фонетика (наличие / отсутствие аспирированных и глоттализованных гласных), грамматика (построение глагольного отрицания, выражение числа существительного), лексика. На основе этих данных я пришла к выводу, что коппинский язык совмещает в себе черты орочского и удэгейского языка, являясь переходным от самаргинского диалекта удэгейского языка к приморскому диалекту орочского. При этом он, однако, выказывает несколько больше свойств, характерных для орочского языка.

Диалекты орочского и удэгейского языков образуют непрерывный континуум, их можно выстроить в следующем порядке (с севера на юг):

тумнинский (основной) диалект	┐
хадинский диалект	орочский язык
коппинский диалект	┘
самаргинский диалект	┐
анюйский диалект	
хорский диалект	удэгейский язык
бикинский диалект	
иманский диалект	┘

Каждые два соседних диалекта в целом довольно близки друг к другу и, без всякого сомнения, совершенно взаимопонятны. Однако крайние точки – основной диалект орочского языка и иманский диалект удэгейского языка – уже довольно далеки и обладают весьма значительными лингвистическими различиями.

Среди собственно удэгейских диалектов определенное сходство обнаруживают, с одной стороны, иманский и бикинский, с другой – хорский и анюйский диалекты. О.П. Суник высказывал также мысль о близости самаргинского и хунгарийского диалектов [Суник 1968: 231]. Таким образом, по данным Суника, в удэгейском языке выделялись три диалектные группы («говора» по Сунику): иманско-бикинская, хорско-анюйская и самаргинско-хунгарийская. Это утверждение невозможно проверить, поскольку хунгарийский диалект полностью утрачен[18]. Поэтому я буду противопоставлять северную группу диалектов (анюйский, хорский, самаргинский) и южную группу (бикинский и иманский).

---

[18] В 2004 г. в пос. Снежный, куда были сселены хунгарийские удэгейцы, мы не нашли ни одного человека, который бы помнил свой «этнический» язык, не удалось собрать даже список слов.

АСПИРИРОВАННЫЕ И ГЛОТТАЛИЗОВАННЫЕ ГЛАСНЫЕ В ДИАЛЕКТАХ УДЭГЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Одной из основных особенностей удэгейской фонетики, требующей описания и осмысления, является наличие нескольких серий гласных звуков (в том числе и дифтонгов), различающихся способом образования и/или супрасегментными характеристиками. Их фонологический статус как отдельных фонем, а также их место в фонологической системе языка в научной литературе было предметом споров. Можно констатировать, что до сих пор нет единого мнения по вопросам как об артикуляции этих гласных, так и об их фонологической интерпретации.

Ниже будут рассмотрены: 1) инвентарь данных гласных в различных диалектах удэгейского и орочского языков; 2) их конкретная реализация в каждом из диалектов; 3) их фонологическая интерпретация; 4) некоторые теории происхождения гласных этого типа.

Число серий долгих гласных является одной из важнейших черт, противопоставляющих северную диалектную группу южной. В северных диалектах имеются чистые, аспирированные (придыхательные) и глоттализованные (прерывные) долгие гласные; в южных – только чистые и глоттализованные.

В родственных удэгейскому языках (например, в эвенкийском) придыхательным и прерывным гласным соответствуют трехфонемные сочетания гласных с согласными. В общем случае придыхательные долгие гласные образовались из сочетания **V-s-V**, а прерывные долгие гласные – из сочетания **V-q-V**. Таким образом, в удэгейском произошло стяжение двух слогов в один с появлением долгих гласных сложного образования. Ср.: бик. *aanta*, хор. *aʰanta* ‘женщина’ – ороч. *asa*, нан. *asa*, эвенк. *asi*; бик. *gääma*, хор. *geæmaha* ‘кость’ – ороч. *giamsa*; бик. *in'əi*, хор. *in'ai* (Корм. *ina'i*) ‘собака’ – ороч. *inaki*, эвенк. *ŋinakin*; бик., хор. *n'au* (Корм. *na'u*) ‘курица’ – ороч. *naku*, ульч. *nakụ(n)* и т. п.

В разных диалектах удэгейского языка данные гласные фонемы имеют различную фонетическую реализацию, что также является одним из оснований для выдсления группы северных и южных диалектов.

Экспериментальное исследование данных фонем показало, что их реализация варьируется не только в разных диалектах, и не только у разных информантов, но и у одного и того же говорящего, и зависит от стиля произнесения.

Аллегро-стиль и языковой дрейф

В удэгейском, как и любом другом языке, различаются полный стиль произношения и так называемый «аллегро-стиль», или стиль небрежной, быстрой речи[19], ср. русское [pъlʌt'éntsə] и [plʌt'énts] ‘полотенце’, [kʌkíje-tə l'udi] и [kítə l'üi] ‘какие-то люди’; [kák ón xódit] и [kákən xó.iˈ] ‘как он ходит’[20].

Очевидно, с течением времени аллегро-стиль постепенно вытесняет полный стиль произношения; когда же он становится полным, возникает новый аллегро-стиль [Хелимский 2007]. Этот процесс может сдерживаться, если язык является письменным, если существует кодифицированная норма, орфоэпия и т. п. При этом правила, по которым образуется аллегро-стиль конкретного языка, не являются универсальными. Но во всех случаях это следствие неполной артикуляции тех или иных звуков в быстрой речи. Слово или группа слов сокращается настолько, насколько слушающий оказывается способен восстановить полную форму. Важно, что упрощение касается не всех типов артикуляции, существующих в данном языке. Выше были показаны примеры из русского языка, из которых видно, что неполностью артикулированными или вовсе утраченными

---

[19] Е.А. Хелимский видел в вытеснении полного стиля произношения аллегро-стилем один из процессов, характерных для ситуации языкового сдвига [Хелимский 2007].

[20] Можно выделить и больше произносительных стилей: например, «lento», «allegretto», «allegro», «presto» [Lass 1984: 301–303].

оказываются в первую очередь безударные гласные звуки, а также глайды. Согласный /d/ утрачивается только в инлауте после огубленных гласных заднего ряда [o], [u]: в быстром произношении слова *водит* и *воет* оказываются омонимами. Другие согласные, а также /d/ в иных позициях, сохраняются. Как мы видим, редукция гласных, являющаяся характерной чертой фонетики русского литературного языка, в русском аллегро-стиле идет еще дальше – к полной утрате гласных третьей степени редукции.

Отличительные черты аллегро-стиля являются постоянной чертой конкретного языка. В русском языке это, прежде всего, тенденция к еще большей редукции гласных. В испанском языке, напротив, гласные остаются напряженными, зато ослабляются согласные в позиции между гласными: в полном произношении звонкие смычные становятся щелевыми, а в аллегро-стиле часто и вовсе выпадают. Таким образом, особенности артикуляции в аллегро-стиле становятся как бы постоянно действующим фактором, определяющим звуковые изменения в конкретном языке, происходящие на протяжении длительных периодов.

Здесь уместно вспомнить теорию «дрейфа» (drift), выдвинутую Э. Сепиром [Сепир 1993: 137–139]. В соответствии с этой теорией, в каждом языке действуют одни и те же причины, которые приводят к постоянному изменению языка в одном и том же направлении. Так, например, в славянских языках последовательно происходили процессы палатализации, которые, в частности, привели к возникновению шипящих согласных. В английском языке действовала тенденция к дифтонгизации долгих гласных и т. п. До сих пор механизмы действия такого «дрейфа» не вполне ясны, хотя очевидно, что они связаны с особенностями артикуляции звуков в конкретном языке. Скажем, незначительная палатализация согласного перед гласными переднего ряда имеется в любом языке, поскольку артикуляционный аппарат заранее настраивается на произнесение следующего звука – язык продвигается вперед. Но у говорящих на восточнославянских идиомах язык продвигается дальше, чем в среднестатистическом случае. При произнесении звонких смычных в инлауте время смычки обычно короче, чем при произнесении глухих смычных, но в испанском языке изменение зашло дальше, и звонкие смычные в этой позиции превратились в аппроксиманты.

Как правило, действие «дрейфа» – этого постоянно действующего фактора в языке – иллюстрируют последовательными изменениями, происходившими в истории того или иного языка. Однако при рассмотрении диалектного континуума можно наблюдать сходные явления не только во времени, но и в пространстве. Некий фактор, определяющий изменения в языке, может в одной точке континуума зайти дальше, чем в другой. Например, во всех западнороманских языках, диалекты которых приводились как пример такого континуума, существует указанная тенденция к ослаблению согласных в инлауте. В литературном испанском языке в полном стиле звонкие смычные реализуются как щелевые [-b-] → [B], [-d-] → [-D-], [g] → [γ]. Французский язык пошел дальше, ср. исп. *pagar* [paγar] и фр. *payer* ‘платить’. Во французской форме мы видим следующий шаг в развитии этой тенденции: [g] → [γ] → [j]. То же самое касается многих слов с интервокальным /-d-/: исп. *maduro* и фр. *mûr* ‘спелый’; во французском соответствии от смычного согласного остался лишь надстрочный орфографический знак.

Очевидным образом, в удэгейском языке также действовал некий «постоянный фактор», который привел к образованию аспирированных и глоттализованных долгих гласных, но в разных диалектах он проявлялся с разной силой. В некотором отношении картина, наблюдаемая в диалектах удэгейского языка, напоминает ситуацию с западнороманскими языками. Несколько упрощая реальную картину, можно сказать, что сила воздействия этого фактора возрастает с севера на юг. Прежде чем определить, в чем именно этот фактор заключается, рассмотрим соответствующие диалектные формы.

Как уже говорилось, своеобразие удэгейского языка заключается в первую очередь в наличии гласных сложного образования – наиболее полно данная система описана для хорского диалекта [Шнейдер 1936; Симонов 1988]. Сравним соответствия в других диалектах, а также в диалектах орочского языка.

Таблица 1

Аспирированные гласные в диалектах удэгейского и орочского языка[21]

	Диалект	Источник	‘лист (дерева)’	‘глаз’	‘утка полетела’
Орочский	тумнинский	Авр-Леб	abdasa		gasa
	хадинский	Авр-Леб	abdaha		
	коппинский	АИ	[abdäha], [abdə^{h}a]	[isa]	[gasa] ([gaxa]) [diələhəni]
		Корм		jehæ	
Удэгейский	самаргинский	Корм	abdehæ (abdeææ^{h})	jææh; jæ	gahæ
	анюйский	Шн		j{ehæ}	gaha
	хорский	Шн	abd{ehæ}	j{ehæ}	g{ahæ} diel{ihɔ}ni
		Сим-Кял	abdia^{h}	ja^{h}	gaja^{h}
		ВТ	[abdeæh]	[jææ], [jɛæ]	[gaja]
	бикинский	Пер-Ник-Тол	abdää	jaa	gaja diəliəni
		ЛС	[abdää]		
		АП	[abdɛ]		

Сопоставлялись два типа данных: 1) данные словарей: Словарь орочского языка В.А. Аврорина и Е.П. Лебедевой [Аврорин, Лебедева 1978] – орочский язык: тумнинский (основной) и хадинский (приморский) диалекты; Словарь удэгейского языка из книги И.В. Кормушина [Кормушин 1998] – коппинский и самаргинский диалекты; Словари удэгейского языка Е.Р. Шнейдера [Шнейдер 1936; 1937] – хорский и анюйский диалекты; Словарь удэгейского языка М.Д. Симонова и В.Т. Кялундзюги [Симонов, Кялундзюга 1998] – хорский диалект; Словарь бикинского диалекта удэгейского языка И.А. Николаевой, Е.В. Перехвальской и М.В. Тольской [Перехвальская, Николаева, Тольская, ркп.] – бикинский диалект; 2) фонетические записи отдельных слов и предложений у следующих информантов: А.С. Иващенко – коппинский диалект; В.Т. Кялундзюга – хорский диалект; Л.Б. Симанчук, А.Е. Пионка, А.А. Канчуга, Н.П. Кукченко – бикинский диалект.

Как видим, данная таблица в целом соответствует представлениям о лингвистической близости орочского и удэгейского языков. Придыхательным гласным хорского диалекта соответствуют согласные звуки в диалектах орочского языка. В бикинском

---

[21] Для большей наглядности система записи удэгейских слов унифицирована: удэгейские слова записываются латинскими буквами; принятый в орфографии М.Д. Симонова надстрочный знак для обозначения придыхательных гласных заменен на знак ^{h} после соотвстствующей буквы; в фигурные скобки заключены буквосочетания, обозначающие в словарях Шнейдера одну фонему [Шнейдер 1936; 1937]. Данные, полученные от информантов, заключены в квадратные скобки. Используются следующие сокращения: (**Авр-Леб**) – [Аврорин, Лебедева 1978]; (**Корм**) – [Кормушин 1998]; (**Шн**) – [Шнейдер 1936; 1937]; (**Сим-Кял**) – [Симонов, Кялундзюга 1998]; (**Пер-Ник-Тол**) – [Перехвальская, Николаева, Тольская, ркп.]; (**АИ**) – Анатолий Сафронович Иващенко; (**ВТ**) – Валентина Тунсяновна Кялундзюга; (**ЛС**) – Лидия Боучановна Симанчук; (**АП**) – Александр Егорович Пионка; (**ААК**) – Александр Александрович Канчуга; (**НПК**) – Надежда Павловна Кукченко.

придыхательных звуков нет, им соответствуют чистые долгие гласные, которые имеют тенденцию к утрате долготы. Однако представленная картина не является полной, поскольку в ней отражен только полный стиль произнесения.

Была поставлена задача выявить особенности произношения в каждом из диалектов как в полном регистре, так и в аллегро-стиле. На эти различия специально обращалось внимание при сборе фонетической анкеты в 2007 г. Разумеется, словари ориентированы на полный вариант произношения. Однако записи текстов дают определенный материал, который можно использовать при попытках установления «небрежного» стиля произношения, присущего тому или иному диалекту, сделать современные записи которого уже затруднительно.

В общем виде развитие придыхательных гласных проходит следующие стадии:

V-s-V > V-h-V > V^hV > VV^h > VV > V[22]

В данной схеме: **V-s-V**, **V-h-V** – последовательности гласных и согласных, образующих два слога; **V^hV** – долгий гласный, прерываемый придыханием; **VV^h** – придыхание следует за долгим гласным; **VV** – чистый долгий гласный; **V** – краткий гласный.

Если учитывать различные стили произнесения внутри одного и того же диалекта, то окажется, что каждый диалект характеризуется не одним вариантом реализации данного типа гласных, а несколькими вариантами[23]. Эти варианты отчасти перекрываются:

V-s-V > [V-h-V > V^hV] > VV^h > VV > V (коппинский диалект)

V-s-V > V-h-V > [V^hV > VV^h > VV] > V (хорский диалект)

V-s-V > V-h-V > V^hV > VV^h > [VV > V] (бикинский диалект)

Один и тот же формальный вариант произнесения в разных диалектных системах будет принадлежать к иному произносительному стилю. Взятые попарно, два смежных диалекта представляют такое соотношение: «аллегро-стиль» более «консервативного» диалекта (как правило, более северного) будет в общих чертах совпадать с полным стилем более южного диалекта.

Следовательно, появление, а затем постепенная утрата придыхательных гласных подчинены единой для всех диалектов тенденции, но разные диалекты находятся на разных стадиях ее проявления.

Глоттализованные гласные

Аналогичная, хотя и более сложная, картина наблюдается и для глоттализованных гласных. В собственно удэгейских диалектах они, как и аспирированные, «имеют в середине произношения некоторый посторонний элемент. В прерывных – это элемент молчания, вызываемый смычкой (происходящей глубоко в гортани)» [Шнейдер 1937: 85]. Как указывает И.В. Кормушин со ссылкой на неизданное исследование удэгейской фонетики, проведеннос Л.Р. Зиндером и М.И. Матусевич, в изученном ими варианте удэгейского языка эта смычка производится не в середине звучания, как предполагал Е.Р. Шнейдер, а значительно ближе к началу произнесения гласного [Кормушин 1998: 53–54].

Как мы видели в отношении аспирированных гласных, в разных диалектах сложные гласные не только реализуются по-разному, но и представляют собой разные этапы трансформации звукового комплекса (последовательности фонем) в единую сложную фонему.

В таблице, представленной ниже, приведены для сравнения имеющиеся данные по произношению прерывных долгих в разных диалектах.

---

[22] В нескольких словах (‘утка’, ‘язык’, ‘окорок’) наблюдается иное развитие:
V-s-V > V-ˢ-V > $V^{ʰ}V$ > V-j-V (ş и ḫ обозначают палатализованные согласные).

[23] Приводятся диалекты, по которым имеются фонетические записи. Варианты, встречающиеся в данном диалекте, заключены в квадратные скобки.

Таблица 2

Глоттализованные гласные в диалектах удэгейского и орочского языка

	Диалект	Источник	'собака'	'речка'[24]	'водка'
Орочский	тумнинский	Авр-Леб	inaki(n)	bäaka(n)	araki
	коппинский	АИ	[naqi], [na^{h}qi]	[beä^{h}qa]	[araqi], [ara^{h}qi]
		Корм			a'ihi
Удэгейский	самаргинский	Корм		bææ'sa	a'i
	анюйский	Шн	in'ai (узкое a)	b'{eæ}sa	'ai
	хорский	Шн	in'ai	b'eæsa	'ai
		Сим-Кял	in'ai	bi'asa	'ai
		ВТ	[ina?ai], [inə'i]	[bea'asa]	[a?i], [a'i]
	бикинский	Пер-Ник-Тол	in'əi, ina'i	b'äsa	'ai
		ЛС	[inəi], [inɛi]		[ai]
		ААК		[bea?sa]	['ai]
		НПК		[bea'axa], [bea'asa]	['ai]
		АП	[inə(')i], [inɛi]		['ai], ['aɛ]

В общем виде развитие глоттализованных долгих проходит следующие стадии:

V-q-V > V-ʔ-V > V^{ʔ}V > > VV$_{+фонация}$ > VV$_{+просодия}$ > VV

В данной схеме: **V-q-V, V- ʔ -V** – последовательности гласных и согласных, образующих два слога; **V^{ʔ}V** – долгий гласный, прерываемый смычкой; **VV$_{-фонация}$** – долгий гласный со скрипучей фонацией; **VV$_{+просодия}$** – долгий гласный, характеризующийся понижением тона; **VV** – чистый долгий гласный.

Если учитывать различные стили произнесения в одном и том же диалекте, даже в произношении одного и того же диктора, выявляется следующее распределение вариантов произнесения:

[V-q-V > VʔV > V^{ʔ}V] > > VV$_{+фонация}$ > VV$_{+просодия}$ > VV (коппинский)

V-q-V > VʔV > [V^{ʔ}V > > VV$_{-фонация}$] > VV$_{+просодия}$ > VV (хорский)

V-q-V > VʔV > [V^{ʔ}V > > VV$_{+фонация}$ > VV$_{+просодия}$ > VV] (бикинский)

Рассмотрим конкретные реализации данного типа гласных подробнее.

Фонетическая реализация аспирированных и глоттализованных гласных

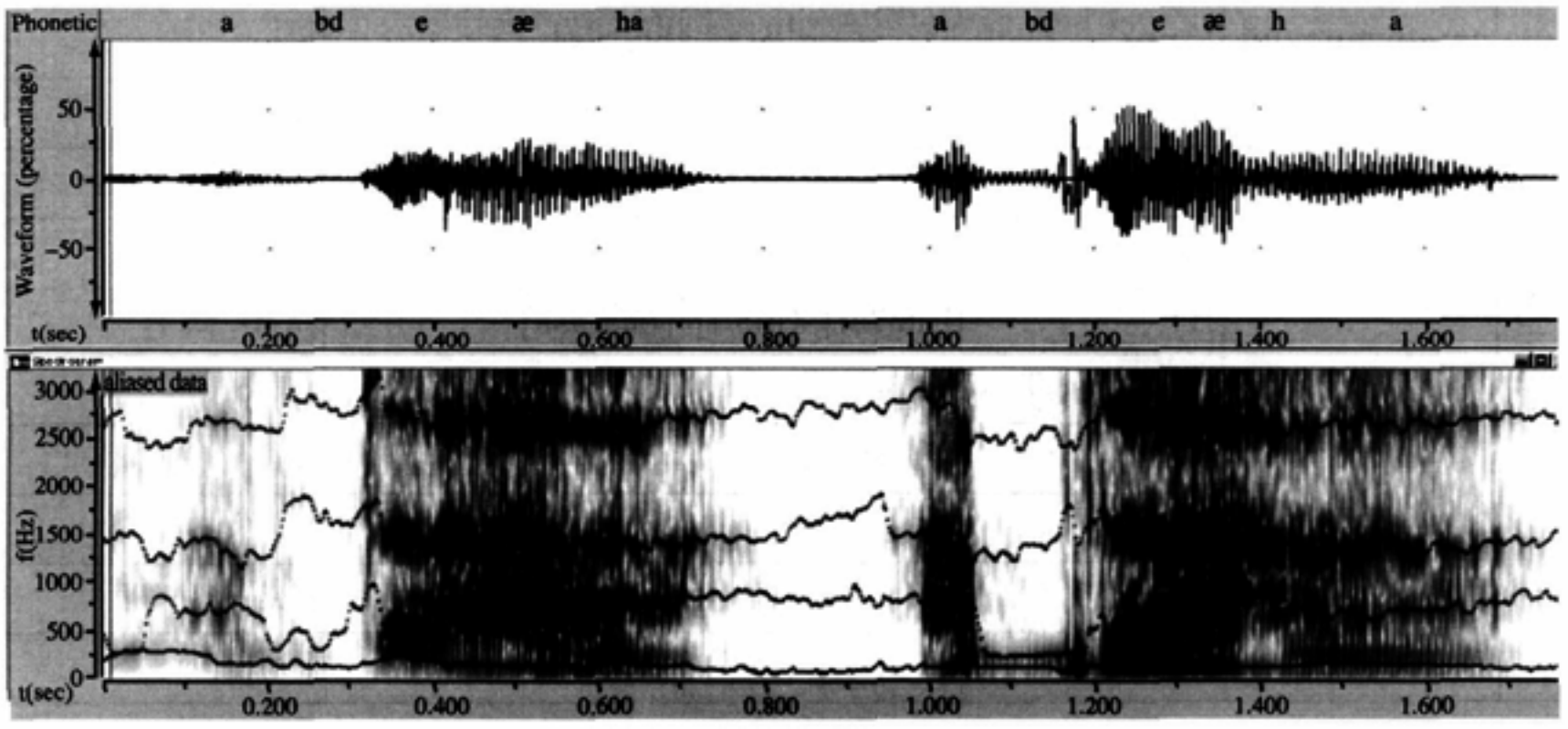
Аспирированные (придыхательные) гласные

С фонологической точки зрения особый интерес представляет последовательность **V^{h}V** с ослабленным согласным в интервокальной позиции – акустически это долгий гласный, прерываемый придыханием. Его фонематическая трактовка, однако, может быть двоякой.

---

[24] Удэгейские формы < ***bäka-sa,*** где ***-sa*** – суффиксальный элемент.

В коппинском диалекте это факультативный вариант произношения, характерный для «аллегро-стиля»; полный стиль характеризуется произнесением **V-h-V**. В речи А.С. Иващенко, носителя коппинского диалекта, последовательности такого типа произносились в два слога только в полном стиле. При необходимости прояснить слово А.С. Иващенко мог скандировать слово по слогам, разделяя данные последовательности четко на два слога [ab.dæ.ha]. Однако в быстрой речи последовательность **V-C-V** стягивалась в долгий гласный, прерываемый кратким придыханием. Ср. приводимое ниже произнесение им слова /abdæha/ ‘лист (дерева)’ в аллегро (слева) и полном (справа) стилях (см. пример I).



I. Коппинский диалект, диктор А.С. Иващенко: [abdɛæ^{h}a], [abdɛæha] ‘лист’

Сходные наблюдения делает И.В. Кормушин относительно реализации аспирированных гласных северных диалектов: «В полно-выделительном типе произнесения, если гласные, окружающие фарингальный, одинаковы, оба они произносятся одинаково по длительности и образуют фактически два слога, при этом *h* озвончается: *ahанта* [а-ɦан-та] ‘женщина’, *гэhэ* [гэ-ɦэ] ‘плохо’, *олоho* [о-ло-ɦо] ‘уха’, *uhu* [и-ɦи] ‘лиственница’. В полно-нормальном типе произнесения *h* артикулируется одновременно со вторым гласным, становясь фарингальным призвуком в начальной его стадии; при этом наблюдается спаянность фарингального с предшествующим гласным, так что в общем образуется единый сложный звук; в результате сказанного слогоделение проходит уже иначе, объединяя два слога в один: $a^{h}{}_{a}нта$, $гэ^{h}{}_{э}$, $оло^{h}{}_{о}$, $и^{h}{}_{и}$. <…> в нормально-сокращенном типе окружающие *h* однокачественные гласные сливаются в долгий, а фарингальный следует за долгим гласным, причем почти всегда, но в особенности в абсолютном конце и в середине – перед глухими согласными, он является глухим: $a^{h}нта$, $гэ^{h}$, $оло^{h}$, $и^{h}$. Подобное произношение создает условия для падения звука *h*…» [Кормушин 1998: 64–65]. Как мы видим, Кормушин выделяет три стиля произношения: полно-выделительное, полно-нормальное и нормально-сокращенное. Они соответствуют выделяемым мной скандированию, полному стилю и аллегро-стилю.

По нашим данным, ни в одном из диалектов не наблюдалось одновременного сосуществования того типа произношения, которое Кормушин назвал полно-выделительным (*h* – отдельный согласный звук), с типом, названным им «нормально-сокращенным», при котором *h* превращается в глухое придыхание, которое следует за гласным, и, тем более, с возможностью «падения звука *h*». Скорее всего, исследователь объединил явления, наблюдаемые в разных диалектах.

Вариант $\mathbf{V^{h}V}$ характерен для полного стиля произнесения в анюйском диалекте. Но здесь его следует трактовать уже не как последовательность из двух слогов, а как дол-

гий гласный, прерываемый придыханием. «Конечно, этот *h* в данном звуковом комплексе не играет роли самостоятельного согласного <...> При сравнении удэгейских слов, имеющих в своем составе аспирированные гласные, со словами одинакового значения в других тунгусо-маньчжурских языках, выясняется, что <...> двусложное сочетание превратилось в односложное, т. е. процесс трансформации s (ş) → h (ḫ) сопровождался стяжением пары одинаковых гласных. В результате – появление качественно новой категории гласных, например *aha-* 'догонять' (эвенк. *asa-*); *imaha* 'снег' (орочск. *imasa*); *iḫi* 'лиственница' (орочск., маньчж. *işi*)...» [Шнейдер 1937: 10–11].

Представляется, что два типа произношения, **V-h-V** и $\mathbf{V^hV}$, были характерны для самых северных диалектов удэгейского языка – коппинского, самаргинского и, по-видимому, хунгарийского[25]. Скорее всего, в конце XIX в. варианты реализации «аспирированных» гласных **V-h-V** и $\mathbf{V^hV}$ были характерны и для хорского произношения. У Надарова мы находим *яга* 'глаз' (Шн *jehæ*, Сим-Кял *jâ*), *нюге* 'нос' (Шн *ŋyhø*, Сим-Кял *ŋiê*), *того* 'пуговица' (Шн *toho*, Сим-Кял *tô*). Не вполне ясно, какой именно звук изображается буквой «Г», однако вряд ли это был звонкий смычный, скорее всего это был придыхательный согласный, возможно, звонкий. В некоторых случаях он Надаровым не отмечается, ср. записанный им же вариант слова 'глаз' – *я*[26], *ніама* 'куртка кожаная' (Шн *nehæma*, Сим-Кял *ñâma* 'кожаный').

Для хорского диалекта конца XX века постулировать произношение типа **VhV** «в два слога» было бы неверно. И.В. Кормушин собирал материалы в 1960–1970-е годы, через тридцать с лишним лет после Е.Р. Шнейдера, уже не наблюдавшего такого варианта произношения. Напротив, он указывал на то, что образуется «качественно новая категория гласного». В 1930-е годы удэгейцы на реке Хор произносили, по-видимому, $\mathbf{V^hV}$ в полном стиле произношения, и $\mathbf{V^h_V}$ – в «аллегро-стиле». Полный стиль произношения в хорском диалекте лег в основу «литературного» удэгейского языка, который начал вырабатываться в 1930-е годы; на этом отчасти искусственном языкс было выпущено несколько книг. М.Д. Симонов, работавший с хорским диалектом с конца 1970-х гг., отмечал вариант $\mathbf{V^h_V}$ в качестве полного стиля, в «аллегро-стиле» аспирированные гласные уже произносились как $\mathbf{VV^h}$: «Аспирированные гласные произносятся с резким усилением интенсивности к концу фонации. В первом слоге, открытом или начинающемся с гласного, это усиление сопровождается сильным придыханием: [bâ^h:ta] 'мальчик', [wâ^h:ni] 'он убил'... Там, где придыхание присутствует, оно находится не в середине фонации гласного, а накладывается на всю его вторую половину. Только при сильной эмфазе "аспирированный" гласный может получить дополнительную мору, свободную от придыхания [bâ^h:^{a}ta]» [Симонов 1988: 52]. Таким образом, мы видим, что только при скандировании в речи хорских удэгейцев в 1980-е годы придыхательные гласные прояснялись до варианта $\mathbf{V^h_V}$. Когда М.Д. Симонов предъявил информанту слова с аспирированным гласным, произнесенные в два слога, оказалось, что «слова *jehæ (вместо jâ 'глаз'); *ahanta (вместо ânta 'женщина'); imoho (вместо imô 'сало') просто не поняты информантом» [Симонов 1988: 52]. Изменение в способе основной (полной)

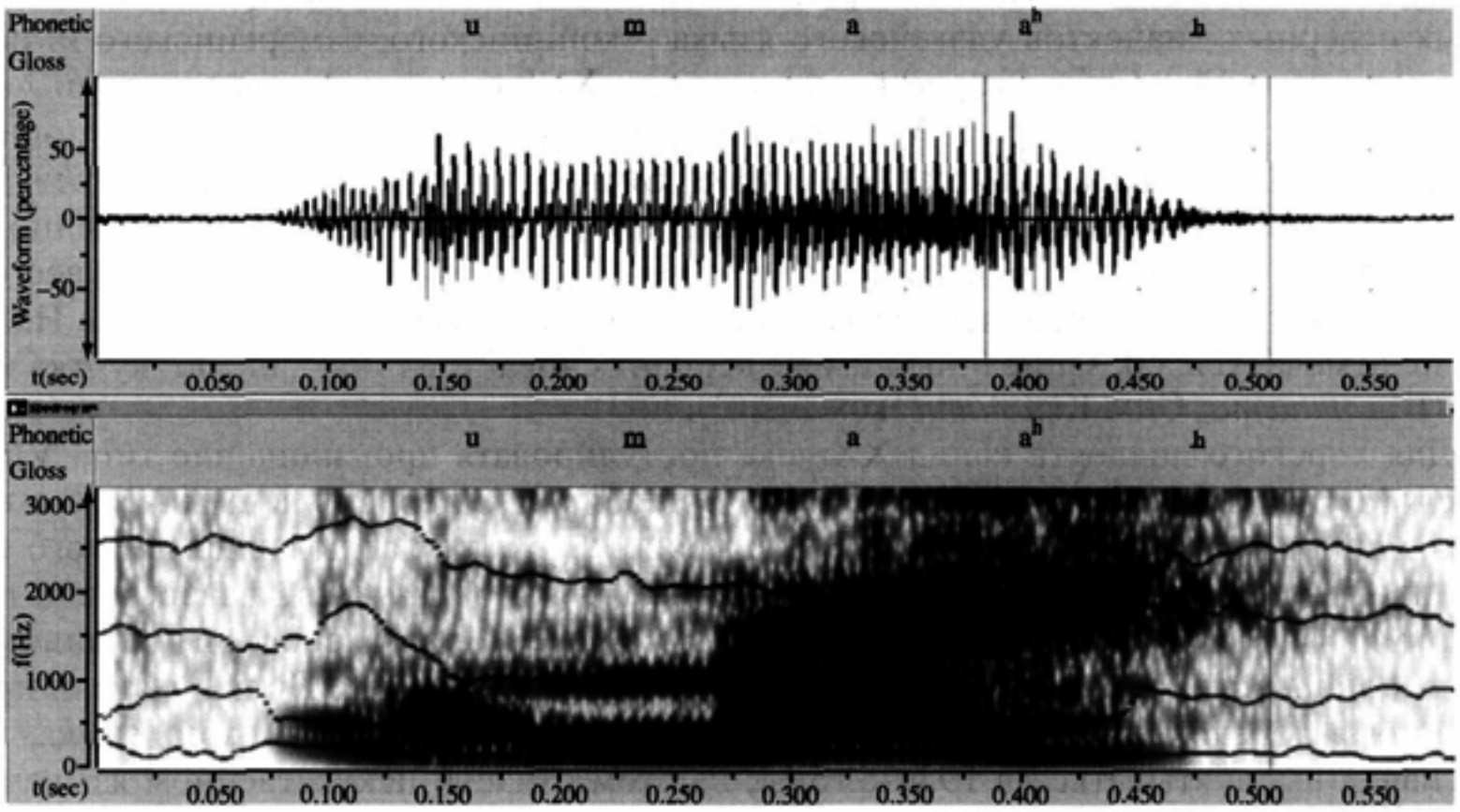
---

[25] В ряде случаев [**h**] реализовывался как палатальный [**ḫ**], что приводило к продвижению следующего за ним гласного вперед, откуда ороч. *gasa*, копп. *gaxa* 'утка' и смрг., хор. *gehæ* и т. п. «... *s, будучи шепелявым, переходил в палатализованный ḫ. ...После мягкого согласного мог находиться только передний гласный, следовательно, переход *s > ḫ влек за собой опереднение последующего гласного. Последнее в свою очередь приводило к умлаутным сдвигам предшествующего гласного» [Кормушин 1998: 64]. И.В. Кормушин полагал, что такой переход имел место во всех случаях, т. е. перед любыми гласными. Однако тогда невозможно объяснить формы *ahanta* < *asa* 'женщина'; исход на *-AhA* во многих двусложных словах (*imoho* 'жир', *umaha* 'рыболовный крючок', *geæmaha* 'кость' и другие). Не исключаю, что это объясняется иным поведением аспирированных согласных в различных позициях слова (см. подробнее о просодии удэгейского слова в [Nikolaeva 2000: 131–138]).

[26] М.Д. Симонов предполагает, что Надаров фиксировал фарингальный [h] только на ритмических границах слова, однако это не объясняет наличия у Надарова дублетных форм 'глаз' *я* и *яга*, 'нос' *нюгу* и *ніонё*.

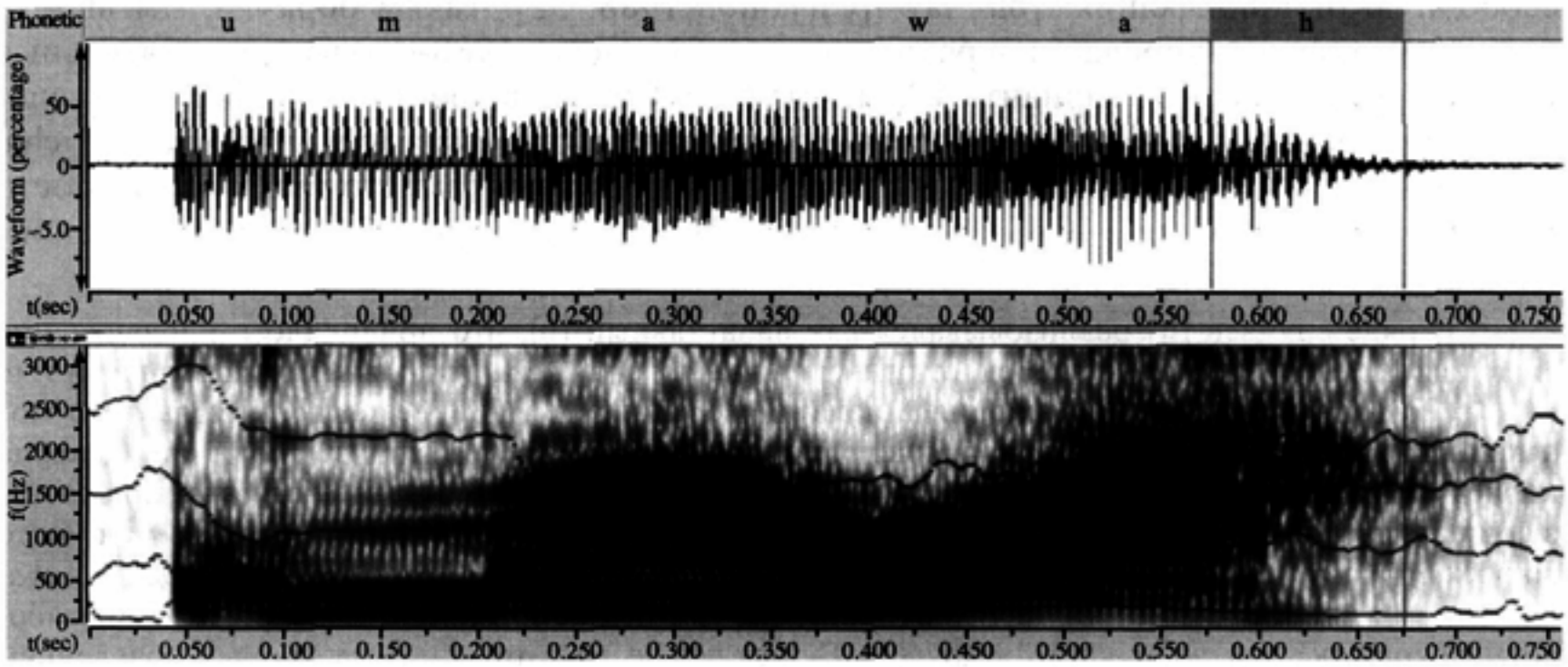
артикуляции придыхательных гласных было одной из причин смены типа письменности.

В ходе полевого исследования 2007 года мы обнаружили в хорском диалекте только один тип произношения придыхательных гласных. При наиболее полном стиле произношения, если произносится отдельное слово, можно получить тип $\mathbf{V^h_V}$ однако и в этом случае лишенное звонкости придыхание произносится и после гласного, получается нечто вроде [V^h_Vh], ср. следующее произношение слова *umaha*[27] 'костный мозг' В.Т. Кялундзюгой (см. пример II).



II. Хорский диалект, диктор В.Т. Кялундзюга: [umaah] 'костный мозг'

На спектрограмме видно, что участок, ограниченный курсорами, утрачивает вокалические характеристики, превращаясь в глухое придыхание. Конечный комплекс состоит из долгого гласного (250 миллисекунд), длительность которого почти в два раза превышает длительность начального краткого гласного [u]. Ср. произношение тем же диктором формы аккузатива от того же слова (*umahawa*) (см. пример III).

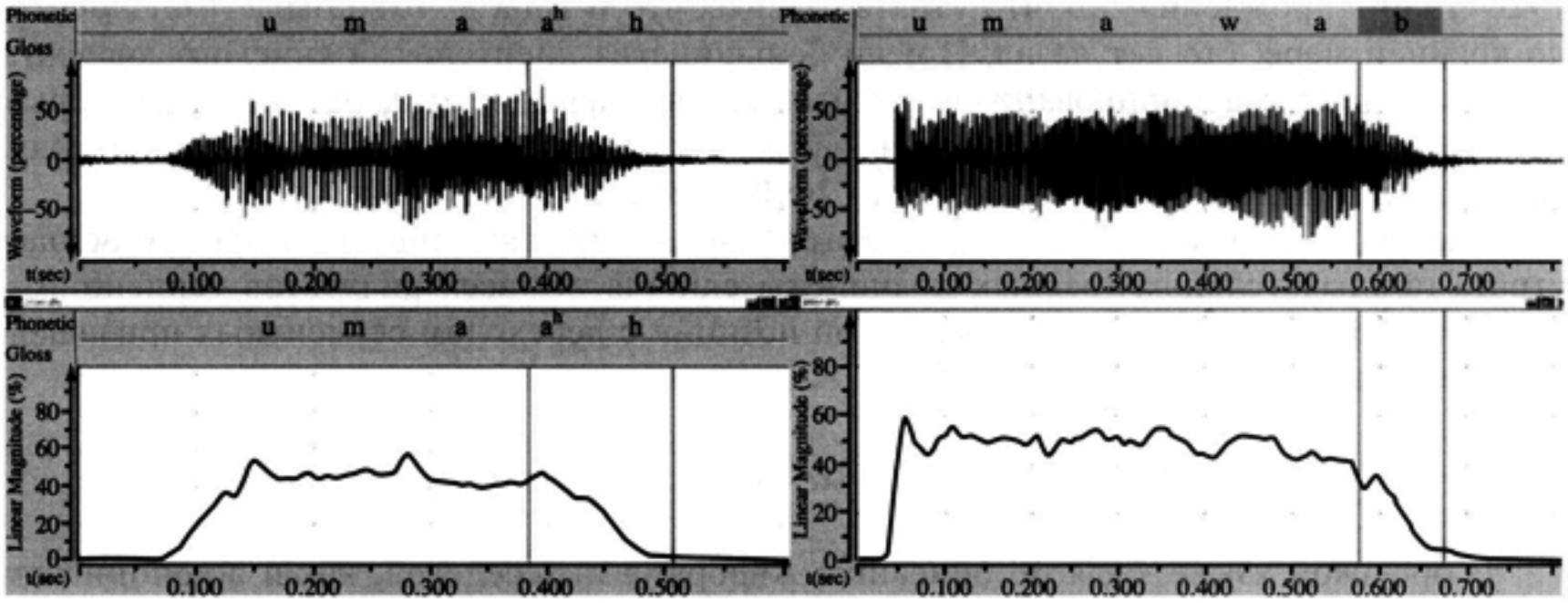


III. Хорский диалект, диктор В.Т. Кялундзюга: [umaawah] 'костный мозг-Асс'

[27] Здесь и далее, если нет специальных оговорок, удэгейские слова приводятся в орфографии Е.Р. Шнейдера.

Легко убедиться, что долгий гласный /a:/ утратил аспирированный характер, однако аспирация появилась в абсолютном конце слова (сегмент между курсорами). Такой перенос аспирации в конец фонетического слова, возможно, является особенностью индивидуального произношения данного диктора, но, скорее всего, это отражение особенностей произношения придыхательных гласных в хорском диалекте. И.В. Кормушин также фиксировал такого рода реализацию придыхательных гласных.

И. Николаева, возражая против описанной Кормушиным возможности произнесения аспирированных гласных с ларингальным согласным после гласного, приводит следующий аргумент: исход на согласный противоречит основным фонотактическим правилам удэгейского языка. Здесь, однако, мы имеем дело не с согласным, а с придыхательным гласным. Это дополнительное соображение в пользу того, что мы имеем дело не с сочетанием фонем, а с единой фонемой. Не подтверждается представление Симонова о том, что «аспирированные гласные произносятся с резким усилением интенсивности к концу фонации». Напротив, интенсивность понижается. Ср. кривые интенсивности для тех же слов (см. пример IV).



IV. Хорский диалект, диктор В.Т. Кялундзюга: [umaah] ‘костный мозг’, [umaawah] ‘костный мозг-Acc’

И.В. Кормушин справедливо указывал на то, что такое произношение создает условия для падения аспирации. Судя по нашим данным, это произошло в первую очередь с аспирированными гласными в конечной позиции, как в примерах выше. Аспирированный характер, следовательно, должны были утратить показатели 2 лица единственного и множественного числа (*-hi* > *-i*; *-hu* > *-u*), а также суффиксы прошедшего I (общефактическое прошедшее) *-ha-/-ho-/-hə-* > *-a-/-o-/-ə-*. В хорском диалекте утрата аспирированных гласных была характерна только для «аллегро-стиля».

Косвенным подтверждением этого служат записи фольклора хорских удэгейцев, опубликованные в Новосибирске [Фольклор 1998]. В подавляющем большинстве форм прошедшего I суффиксы не маркированы как аспирированные, ср. в тексте № 1: *олоктони* (< olokto-ho-ni) ‘сварила’; *андалати* (< andala-ha-ti) ‘подружились’; *аласиэни* (< alasi-hə-ni) ‘ждала’ [Фольклор 1998: 74]. Точно так же в текстах, как правило, не маркированы аспирированные гласные в личных показателях 2 лица. Однако в корневых морфемах аспирированные гласные последовательно обозначаются, ср. в том же тексте: *ту тэ̄ини* (tu təə-hi-ini) (презенс) ‘все сидит’; *тэ̄ми* (təə-mi) (конверб) ‘сидя’. Следовательно, пропуск знака аспирации в формах прошедшего I и личных показателях 2 лица нельзя считать случайным.

По-видимому, утрата аспирированных произошла в первую очередь в некорневых морфемах. В записи некоторых корневых морфем, правда, наблюдается разнобой – одно

и то же слово может иногда маркироваться как имеющее то аспирированный, то чистый долгий гласный: *бӣни* и *бӣни* (bi-hi-ni) (презенс) ‘связка’. Связочный и отрицательный глаголы, будучи частотными, в первую очередь подвергаются «стиранию» – под этим импрессионистическим термином следует понимать замену полного стиля сокращенным.

В речи более молодых носителей хорского диалекта аспирированные гласные отсутствуют вовсе, они во всех позициях заменены чистыми долгими гласными.

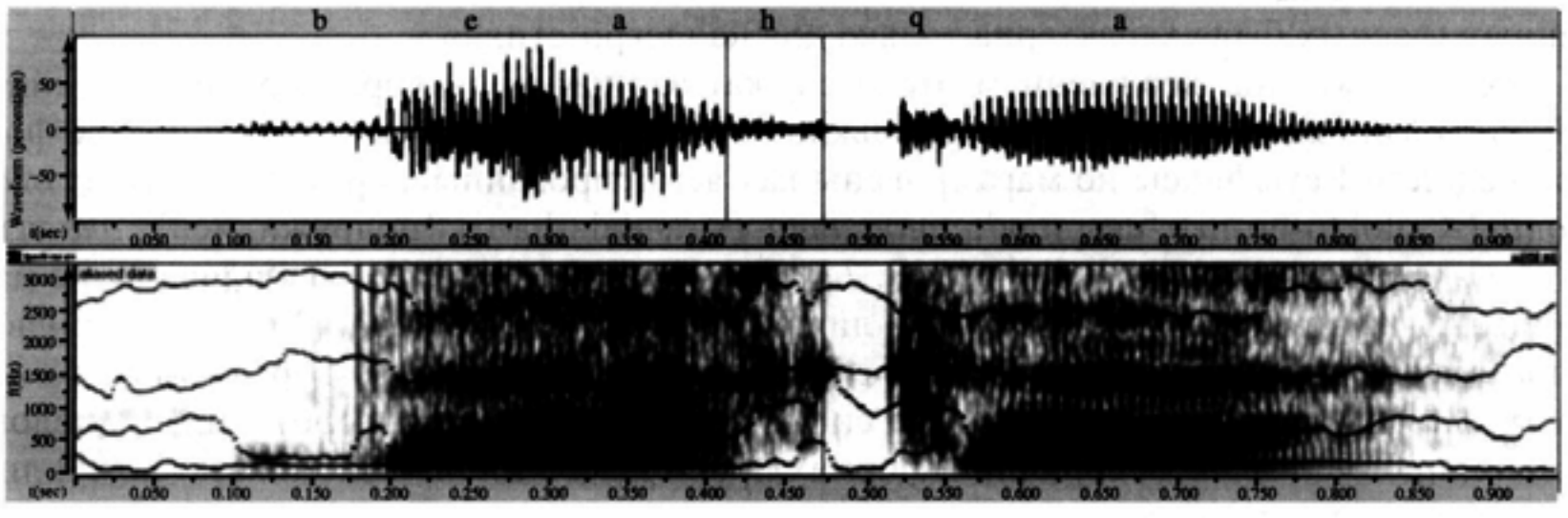
Таким образом, в хорском диалекте аспирированные гласные достигли реализации **VV^{h}**, следующей стадией оказывается утрата аспирированных – **VV**. Финальная стадия – утрата долготы и ее замена динамическим ударением. Но этот процесс происходит уже под влиянием русского языка и к самостоятельному развитию удэгейских диалектов прямого отношения не имеет.

В бикинском и иманском диалектах аспирированные гласные отсутствуют. В хорском диалекте падение аспирированных – явление недавнее; у тех носителей этого диалекта, которые хорошо помнят родной язык, аспирированные гласные сохранились. Однако в бикинском и иманском диалектах аспирированные отсутствуют уже в речи людей 1920–1930 гг. рождения, так что утрата гласных этого типа должна была иметь место, по крайней мере, сто лет назад. В речи большинства носителей бикинского диалекта этимологические аспирированные гласные заменились долгими, однако в некоторых поддиалектах имеет место тенденция к утрате этими гласными долготы, ср. сходное наблюдение у И. Николаевой [Nikolaeva 2000: 115–116].

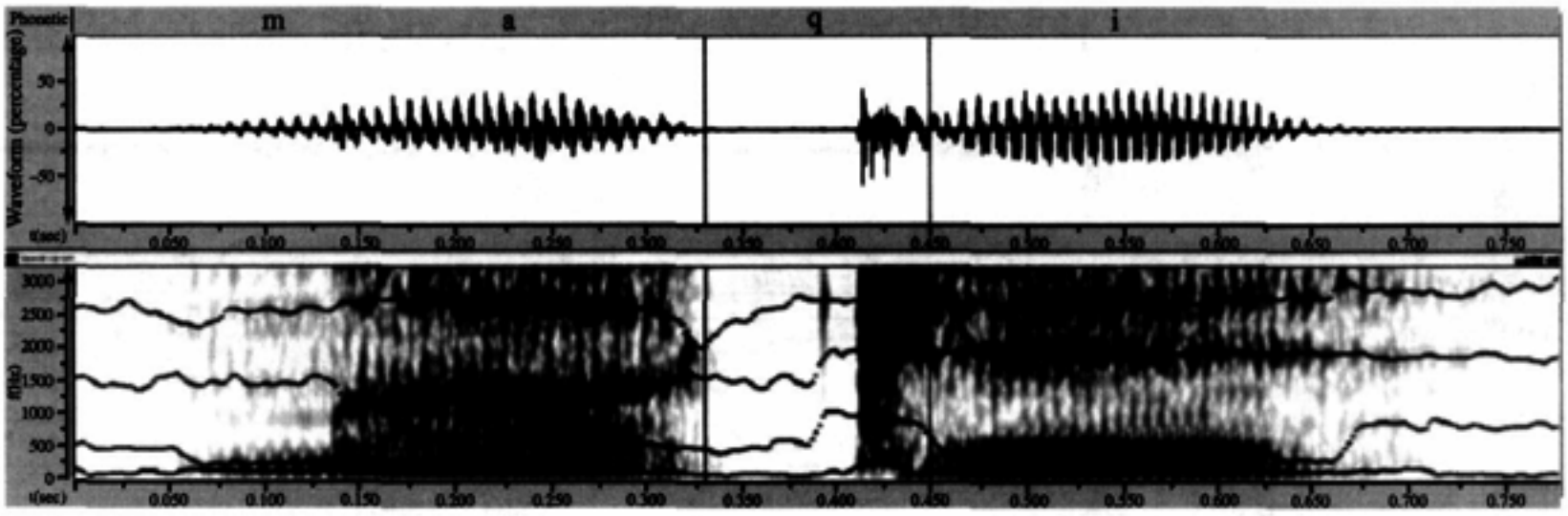
Мы видим, что во всех диалектах удэгейского языка появление, а затем постепенная утрата придыхательных гласных подчинены единой для всех диалектов тенденции – ослаблению согласного в интервокальной позиции с переходом сегментных признаков в супрасегментные.

Глоттализованные (прерывные) гласные

В орочском языке, судя по описанию Аврорина и Лебедевой, как и в коппинском диалекте, в позиции после /a/, /ä/, /o/ между одинаковыми гласными или перед /i/ заднеязычный /k/ реализовывался как увулярный [q]. Такую реализацию имеет данная фонема у диктора А.С. Иващенко (коппинский диалект). Следует отметить, что в более медленном варианте произнесения последовательности **V-q-V** между гласным и увулярным *q* четко слышится придыхание [h]: [na^{h}qi] ‘собака’, [beä^{h}qa] ‘речка’, [ara^{h}qi] ‘водка’, [ga^{h}qi] ‘ворона’. Вариантом этого произнесения служит отрезок полного молчания перед [q], представляющий собой продленную смычку, – как, например, в слове [maa?qi]. Здесь [?q] напоминает абруптивный звук. Ср. ниже осциллограммы слов [beä^{h}qa] (V) и [maa_qi] (VI) в произнесении А.С. Иващенко (см. примеры V, VI).



V. Коппинский диалект, диктор А.С. Иващенко: [beä^{h}qa] ‘река’



VI. Коппинский диалект, диктор А.С. Иващенко: [maa_qi] ‘нет, не имеется’

На осциллограмме слова [beä^{h}qa] после дифтонгоидного долгого гласного [eæ] сначала следует придыхание (выделено курсорами), затем начинается смычка с сильным размыканием [q]. На осциллограмме слова [maa_qi] придыхания не видно, но зона молчания перед смычкой длится более 70 миллисекунд.

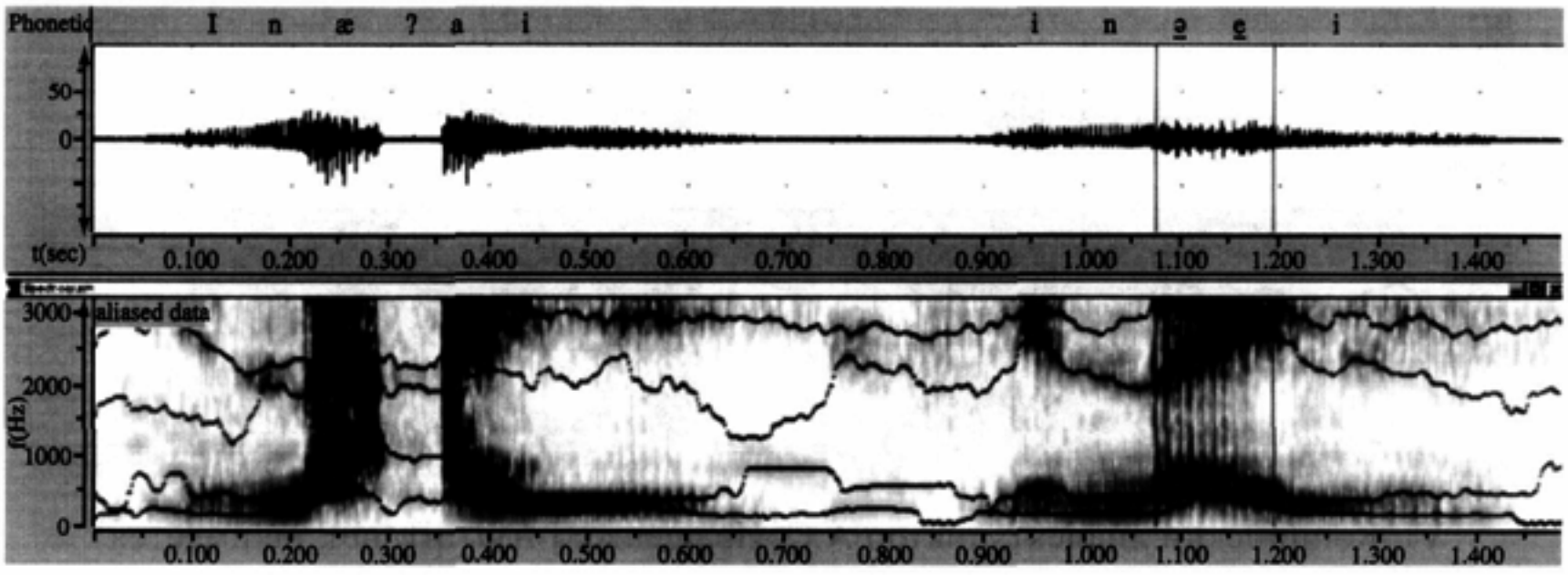
В других позициях произносится заднеязычный [k], ср.: [ukə^{h}ə] ‘дверь’ (бик. *ukə* ‘дверь, дверной проем’). В речи данного диктора не засвидетельствовано случаев произношения [q] как [ʔ]. По-видимому, такой вариант произношения не характерен для орочского языка, в том числе и для коппинского диалекта. Как видим, здесь перед нами последовательность самостоятельных фонем, а не единый сложный звук.

При исследовании реализации глоттализованных гласных в удэгейских диалектах трудно использовать письменные источники. Если в случае с аспирированными гласными они давали достаточно надежную информацию, то глоттализованные гласные всеми исследователями обозначаются единообразно (знаком апострофа), хотя за этим написанием скрываются различные реализации данного типа гласных.

Хорский диалект. Е.Р. Шнейдер, описывая глоттализованные звуки хорского диалекта, говорил о «смычке», прерывающей звучание гласного, причем, как показали Зиндер и Матусевич, эта смычка произносится ближе к началу гласного. В других диалектах представлен иной тип произношения данных гласных, при котором гортанная смычка заменяется так называемой «скрипучей» фонацией[28]. Здесь опять проявляется характерный для удэгейского языка «дрейф» в сторону неполной артикуляции согласных между гласными.

В хорском диалекте у диктора В.Т. Кялундзюги зарегистрированы оба варианта произношения. При этом произношение с гортанной смычкой является полным, а произношение со скрипучей фонацией характерно для «аллегро-стиля». Ср. два произнесения слова *in'ai* ‘собака’, которые были зафиксированы в ходе одного сеанса записи. В первом случае диктор прояснял слово, во втором случае произнес его в более «смазанном» виде. При этом темп речи остался практически прежним, но изменилась напряженность произнесения и тональный рисунок (см. пример VII).

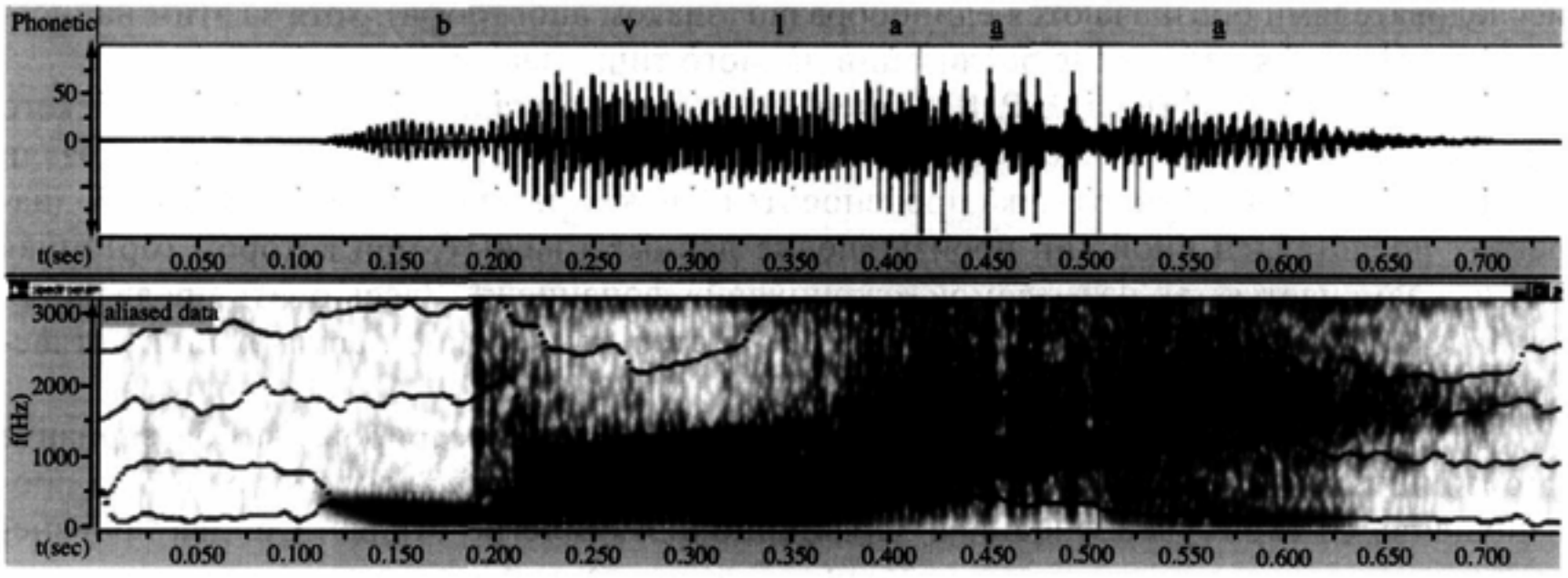
[28] Фонация такого типа описывается в лингвистической литературе следующим образом: «Этот тип можно рассматривать как функциональный эквивалент глоттальной разрывающей смычки или ее неполную реализацию, так как скрипучая фонация отличается от глоттальной смычки главным образом меньшей степенью смыкания голосовых связок» [Кривнова 2001: 2].



VII. Хорский диалект, диктор В.Т. Кялундзюга: [ɪnæʔai], [inə̲e̲i] ‘собака’

На осциллограмме курсорами выделена зона скрипучей фонации при произнесении слова в «аллегро-стиле». Следует заметить, что при произнесении слова со смычкой [ʔ] часть гласного до смычки также произносится со скрипучей фонацией.

Наши наблюдения подтверждаются выводами, сделанными Л.Р. Зиндером и М.И. Матусевич. Действительно, зарегистрирован вариант произношения, когда смычка разрывает гласный. Однако наиболее частым вариантом произнесения «глоттализованного гласного» в хорском диалекте (полный стиль) является следующий: гласный разрывается не смычкой, а глоттальным аппроксимантом, ср. произнесение В.Т. Кялундзюгой слова *bul'a* ‘ясень’ (зона между курсорами – глоттальный аппроксимант). На осциллограмме четко видно различие между двумя типами произнесения скрипучей фонации – более консонантным (между курсорами) и более вокалическим (сегмент, следующий за курсорами) (см. пример VIII).



VIII. Хорский диалект, диктор В.Т. Кялундзюга: [bʊlaʔa̲] ‘ясень’

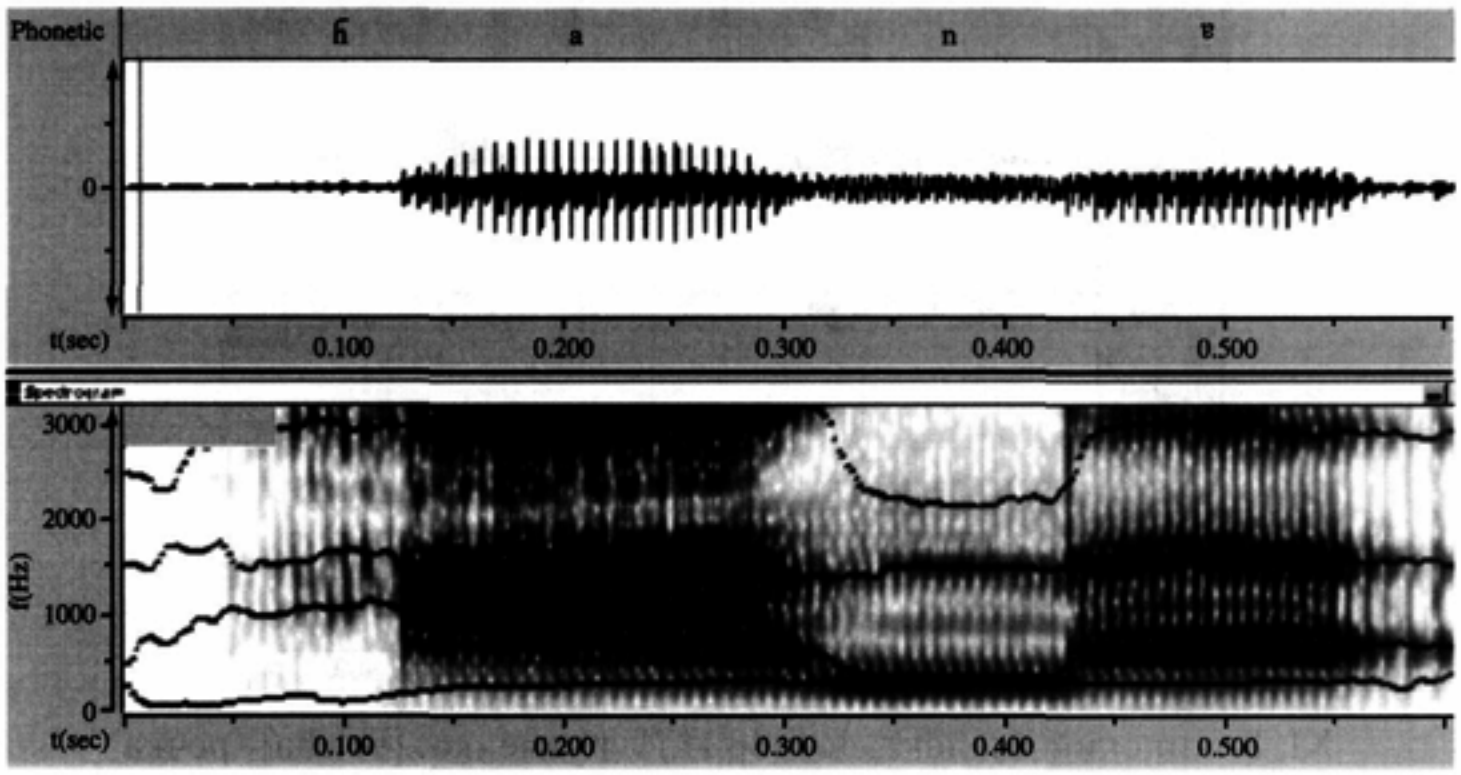
В хорском диалекте сосуществуют три типа произношения глоттализованных – со смычкой, с аппроксимантом и в виде фонации гласного. При этом у В.Т. Кялундзюги скрипучая фонация присуща не всему гласному, а лишь его части, которая, в общем, совпадает по месту со смычкой, если таковая произносится.

В диалектах южнее р. Хор реализация глоттализованных гласных с гортанной смычкой не встречается. Конкретные реализации зависят от типа произнесения, от положения гласного в слове и от особенностей говора конкретного диктора. Способ произнесения глоттализованных гласных является одной из черт, позволяющих разделить бикинский диалект на несколько говоров. По свидетельству А.А. Канчуга, речь удэгейцев из разных поселков, существовавших до сселения всех бикинских удэгей-

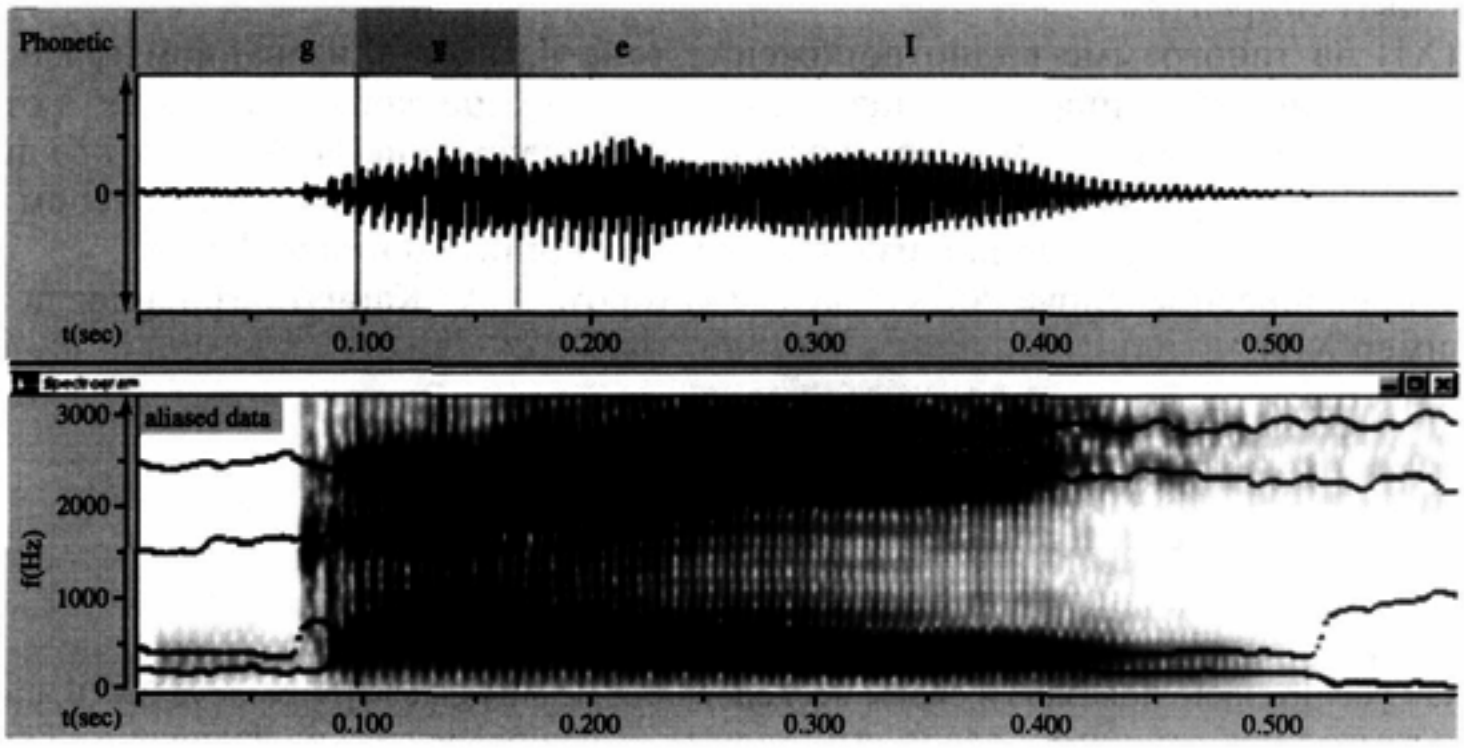
цев в пос. Красный Яр, до сих пор сохраняет определенные различия. К сожалению, в настоящее время провести подробное исследование этих говоров трудно ввиду плохой сохранности языка и малого количества говорящих. Однако А.А. Канчуга выделяет говоры Сяина, Олона, Улунги, Митахезы и других поселков или стойбищ. На основании тех данных, которыми я располагаю, можно сделать вывод о том, что в говорах, расположенных выше по течению р. Бикин, удэгейский вокализм был более консервативным, соответственно, самым инновационным он был в пос. Олон, расположенном ниже остальных.

Реализация глоттализованных гласных у бикинских удэгейцев может быть различной. Это а) гортанный спирант; б) скрипучая фонация; в) резкое повышение интенсивности долгого гласного в сочетании с понижением тона. Последнее характерно в первую очередь для выходцев из пос. Олон.

Ср. следующие варианты реализации глоттализованных гласных: гортанный спирант и скрипучая фонация (диктор Л.Б. Симанчук, родившаяся в Сигоу) (см. примеры IX, X).



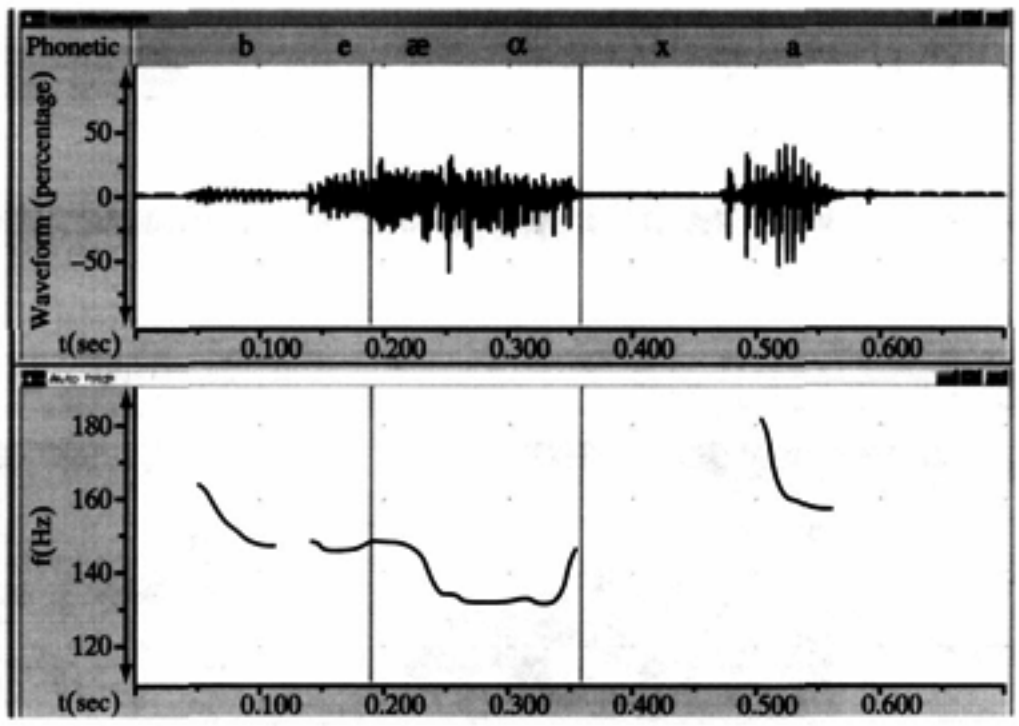
IX. Бикинский диалект, диктор Л.Б. Симанчук: /‘ana/ ‘лодка’



X. Бикинский диалект, диктор Л.Б. Симанчук: /g‘ai/ ‘ворона’

В (IX) глоттализованный гласный находится в анлауте и реализуется как гортанный спирант, который хорошо виден на спектрограмме. Сам гласный [a] характеризуется скрипучим призвуком и долготой. Второй гласный имеет более закрытую артикуляцию. В (X) глоттализованный гласный находится в начальной море в слоге типа CV[29]. Фонема /a/ имеет более закрытую артикуляцию по сравнению с предыдущим словом и характеризуется скрипучим призвуком.

Характерной чертой некоторых говоров бикинского диалекта является изменение положения глоттализованного элемента (или участка гласного с фонацией). Он может располагаться и в начале гласного (как в X), но может быть и сдвинут ближе к концу гласного (см. XI). Возможно, эти характеристики являются индивидуальной особенностью говорящего, а возможно, характеризуют его говор. В качестве примера фонации, распространенной на второй части гласного, приведу слово /b'easa/ 'речка, ручей' в произнесении Н.П. Кукченко (см. пример XI). Курсором отмечена зона гласного, носителя фонации.



XI. Бикинский диалект, диктор Н.П. Кукченко: [beæ̃ha] 'речка'

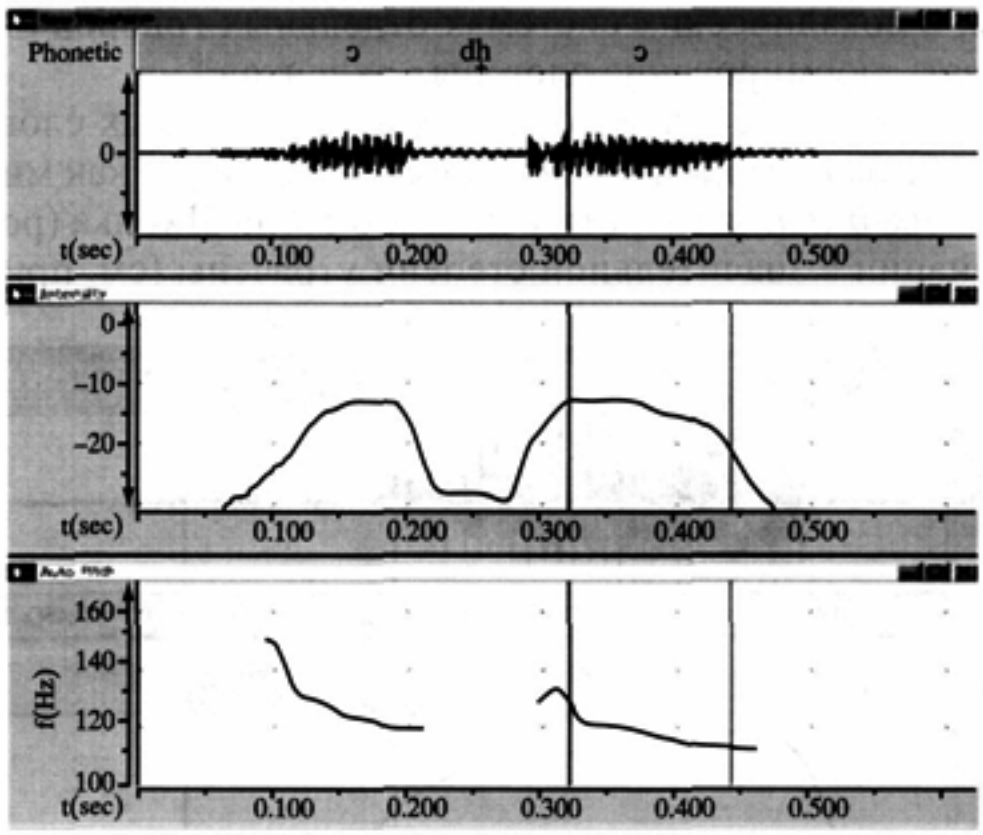
Сказанное касалось полного стиля произношения данного типа гласных в говорах бикинского диалекта. В аллегро-стиле эти гласные никогда не произносятся в варианте с гортанным спирантом.

В (XI) на тонограмме видно понижение тона на глоттализованном гласном. Эту особенность произнесения глоттализованных гласных для хорского диалекта отмечала Г.Л. Радченко, проводившая экспериментальное исследование фонетики этого диалекта [Радченко 1988: 37]. Радченко связывала это явление с бемольным характером глоттализованных гласных (т. е. глоттализация дает тонопонижающий эффект).

Ср. произнесение слова /od'o/ 'дед' диктором А.А. Канчуга (родился в Сяине) (см. пример XII).

---

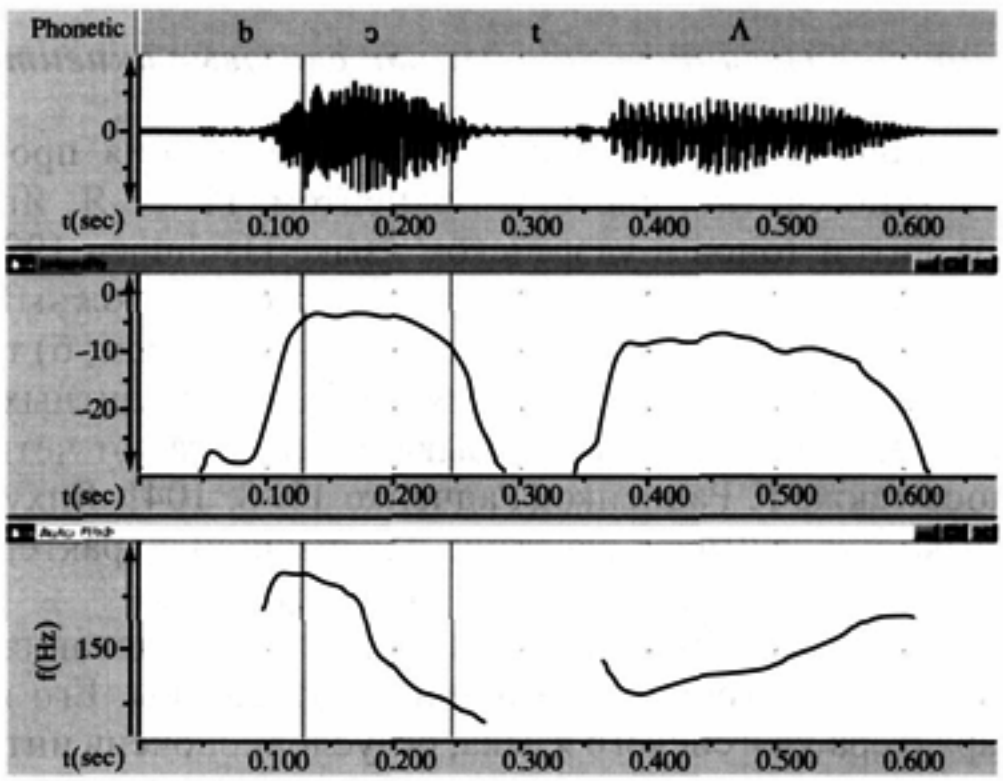
[29] Как убедительно показала в своем исследовании И. Николаева [Nikolaeva 2000], слова удэгейского языка имеют минимум две моры; сходные мысли относительно наличия в каждом слове удэгейского языка начального и конечного ритмического рисунка высказывал М.Д. Симонов [Симонов 1988]. Поэтому при анализе фонетических позиций в удэгейском слове имеет смысл оперировать не только понятием «слог», но и «мора».



XII. Бикинский диалект, диктор А.А. Канчуга: [ɔ̀dh̀ɔ̀] ‘дед’

В (XII), который является примером полного стиля произношения, на осцилограмме курсорами выделен участок, где произносится гласный со скрипучей фонацией, ниже приведены кривые интенсивности и движения тона, показывающие, что глоттализованный гласный характеризуется пиком интенсивности и понижением тона.

В хорском диалекте понижение тона было нецентральной характеристикой глоттализованного гласного. В бикинском диалекте, в связи с утратой скрипучей фонации в аллегро-стиле, понижение тона, сопровождаемое значительным усилением интенсивности произнесения гласного, в некоторых идиолектах становится основной чертой реализации данного типа гласных. Их различительными признаками оказываются супрасегментные признаки: понижение тона и резкое усиление интенсивности. Ср. произнесение слова /b’oto/ ‘древесный гриб’ тем же диктором (см. пример XIII).



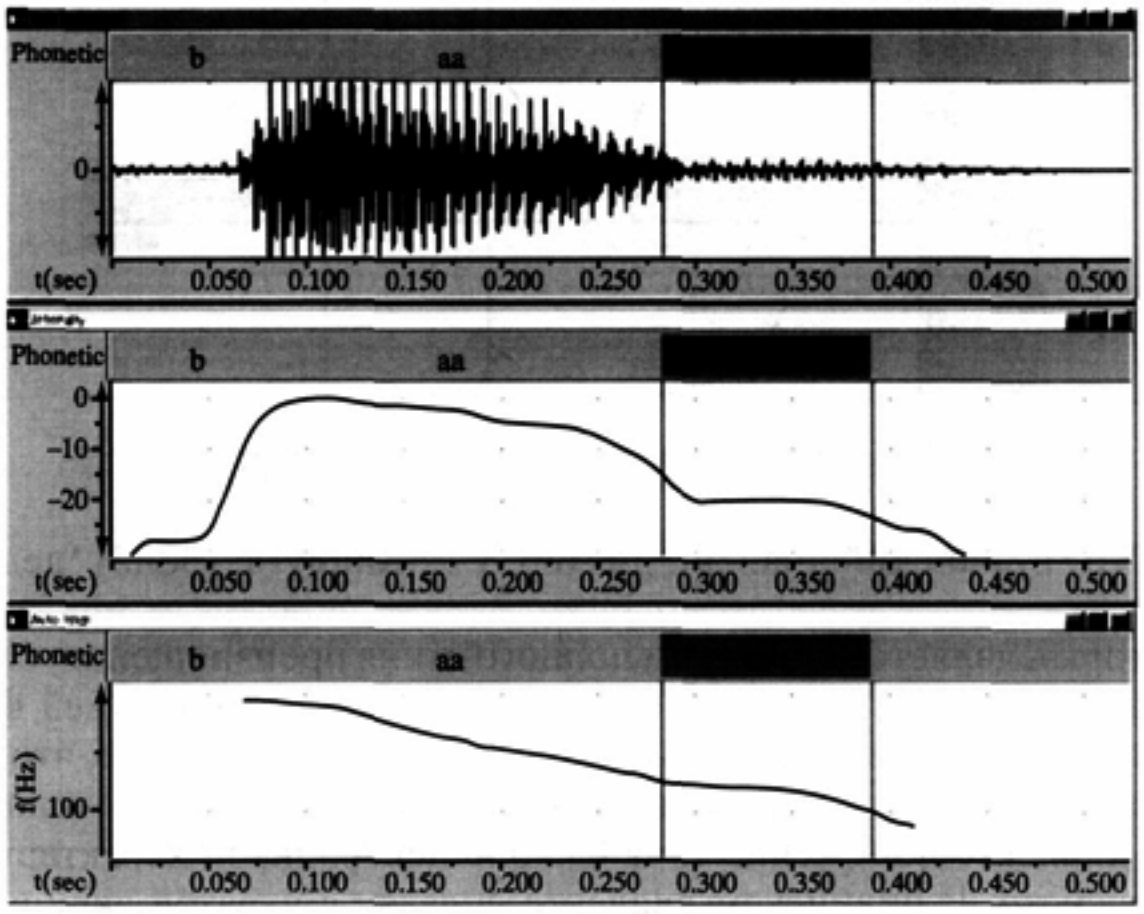
XIII. Бикинский диалект, диктор А.А. Канчуга: [bɔ̀tɔ́] ‘древесный гриб’

Примеры (XII) и (XIII) различаются движением тона (ɔ̀-ɔ̀) (ɔ̀-ɔ́).

При этом повышение тона на второй море в (XIII) является экспонентом (музыкального) ударения в удэгейском языке, которое зафиксировано еще Е.Р. Шнейдером [Шнейдер 1936: 92]. Об этом подробно см. в [Nikolaeva 2000: 134–137].

Таким образом, в вокалических системах отдельных говоров бикинского диалекта можно констатировать формирование слоговых акцентов[30].

Это легче всего наблюдать в двусложных и многосложных словах, в односложных словах они распределены по морам (слова удэгейского языка, как минимум, двуморны). Ср. произнесение слова *b'ami* 'я встретил' диктором А.Е. Пионка (родился в пос. Олон), в речи которого фонации в значительной степени утрачены (см. пример XIV).



XIV. Бикинский диалект, диктор А.Е. Пионка: [bààm^{i}]

В (XIV) «глоттализованный» гласный реализуется путем резкого усиления интенсивности с одновременным понижением тона (см. тонограмму).

Глоттализованные гласные как слоговые акценты

Реализацию глоттализованных гласных путем изменения просодических характеристик гласного можно считать слоговым акцентом. Ранее Я. Янхунен высказывал предположение о развитии тонов в удэгейском языке [Janhunen 1998]. Его аргументацию можно свести к следующему: а) удэгейский язык, самый южный из языков тунгусской подгруппы, контактировал с тональным китайским языком; б) тоны в языках Азии возникают как «супрасегментная компенсация» утраты сегментных последовательностей; в) четыре типа гласных удэгейского языка соответствуют четырем тонам китайского, что отмечалось также Г. Радченко [Радченко 1988: 104]. Янхунен указывает, что тоны китайского языка также имеют сложную реализацию, характеризуются не только повышением тона, но также длительностью и типом фонации.

Следует заметить, что сам Янхунен не проводил исследования удэгейской фонетики, а опирался в своем построении на данные литературы. Его идеи относительно инновационного характера удэгейского языка, безусловно, очень интересны, однако его предположения о развитии тонов в удэгейском представляются не соответствующими реальности.

Первое. Даже в тех диалектах / идиолектах, где сегменты звучания полностью заменены супрасегментными характеристиками гласного, нельзя говорить о тонах в тер-

---

[30] «Слоговыми акцентами мы будем называть супрасегментные просодические различия, характерные только для одного слога в слове» [Кузьменко 1991: 8].

минологическом смысле этого слова. О системе тонов говорят, когда каждый слог слова характеризуется определенным тоном, контурным или уровневым. В данном случае этого не происходит. Удэгейский – типичный агглютинативный язык, слова которого представляют собой цепочки морфем, иногда довольно длинные. Особый супрасегментный характер присущ вовсе не каждому слогу слова. Скорее можно говорить об особых супрасегментных характеристиках слова в целом, если в нем имеется «глоттализованный» по происхождению гласный.

Второе. Янхунен объясняет развитие «тонов» влиянием китайского языка. Поскольку мы имеем дело не с тонами, а с особой просодией всего слова, это объяснение не кажется достаточно бесспорным. Стяжение цепочек V-s-V и V-q-V в единые гласные сложного образования характерно уже для коппинского диалекта орочского языка (в аллегро-стиле). В этом регионе китайское влияние вряд ли имело место.

Третье. Четыре типа гласных, соответствующие, по Янхунену, четырем тонам китайского языка, характерны только для анюйского и хорского диалектов. Однако эти диалекты в значительно меньшей степени подвергались китайскому влиянию, чем бикинский и иманский. Многие черты южной диалектной группы действительно можно объяснить интенсивными языковыми контактами прежде всего с китайским языком, подробнее об этом см. [Перехвальская 2007]. Однако в южной диалектной группе мы находим только три типа гласных, так как аспирированные гласные полностью утратили аспирированный характер и слились с чистыми долгими. Влияние китайского языка проявилось, как это характерно для ситуаций интенсивных языковых контактов, скорее в «упрощении» системы – выравнивании парадигм по аналогии и т. п. явлениях.

Тем не менее, особый характер удэгейского вокализма действительно трудно объяснить. Возвращаясь к теории «дрейфа», можно сказать, что в удэгейском языке, а также в пограничных с ним диалектах орочского языка действовал некий «постоянный фактор», который представлял собой какие-то особенности артикуляции и был не характерен для других тунгусо-маньчжурских языков[31]. Это можно утверждать с определенностью. Дальнейшие построения из области теории субстрата будут умозрительными и ненаучными.

Для хорско-анюйской диалектной группы можно постулировать наличие четырех типов гласных, для которых супрасегментные характеристики (долгота, интенсивность и тон) являются дополнительными. В бикинско-иманской диалектной группе супрасегментные характеристики глоттализованных выходят на первый план, и в некоторых говорах / идиолектах становятся единственными репрезентациями данного типа гласных.

В то же время для всех указанных диалектов характерна особая просодическая структура слова. Слово является двуморным, в нем выделяются начальный и конечный ритмические рисунки. Эта ситуация отмечалась исследователями удэгейского языка и раньше. О ритмических частях слова писал М.Д. Симонов, часто их описывали через понятие «ударения» (Е.Р. Шнейдер, О.П. Суник), отмечая, что в удэгейском слове имеется два ударения, одно из которых падает на начальный слог слова, а другое – на конечный слог. Наличие «глоттализованного гласного» меняет просодический рисунок слова в зависимости от того, в какой море находится этот гласный – в инициальной или финальной. Таким образом, мы имеем дело с классическим случаем «слоговых акцентов» – в языке имеются разные типы ударения, как в современном литовском или во многих древних индоевропейских языках.

Дальнейшее исследование затруднено тем, что слоговые акценты в современных вариантах удэгейских диалектов утрачиваются из-за влияния русского языка[32].

---

[31] Для многих тунгусо-маньчжурских и, шире, алтайских языков также характерна реализация *k* как увулярного *q* в словах с открытыми («широкими») гласными; однако стяжение комплекса V-q-V в гласный сложного образования характерно лишь для удэгейского языка и приморского диалекта орочского.

[32] Подробнее о влиянии русского языка на удэгейский см. в [Nikolaeva, Perekhvalskaya 2001].

Фонематическая трактовка аспирированных и прерывных гласных

Рассмотренные типы гласных представляют определенную сложность для интерпретации в первую очередь ввиду того, что невозможно установить инвариант их реализации. Фонологическая трактовка этих гласных возможна только в рамках системы конкретного диалекта / говора. Представляется, что споры относительно фонологической природы аспирированных и глоттализованных гласных вызваны не в последнюю очередь тем, на какой именно вариант удэгейского языка опирался тот или иной исследователь.

Существуют две основные точки зрения на фонологическую природу данных гласных: 1) это особые фонемы; 2) они не имеют самостоятельного фонологического статуса, а являются сочетанием гласных и согласных фонем.

Первая точка зрения была высказана Е.Р. Шнейдером (с опорой на исследование Л.Р. Зиндера и М.И. Матусевич), а затем поддержана М.Д. Симоновым, Г.Л. Радченко, И.А. Николаевой. Вторая точка зрения была сформулирована О.П. Суником, а затем в общих чертах поддержана И.В. Кормушиным.

Недостатки концепции Е.Р. Шнейдера известны, на них неоднократно указывали (см., например, [Симонов 1988: 50–53]). Так, все варианты гласных, в том числе позиционно обусловленные, объявлялись отдельными фонемами, каковыми считались также любые сочетания двух или трех гласных (дифтонги и трифтонги по Шнейдеру), которые также могли быть аспирированными и глоттализованными; выделялись также два типа «прерывно-аспирированных» гласных, сочетавших оба признака в разных комбинациях [Шнейдер 1936: 85–86]. По подсчетам О.П. Суника, таким образом в удэгейском языке выделялось более 70 различных гласных фонем [Суник 1968: 212].

Основным недостатком фонологического описания удэгейского вокализма у Е.Р. Шнейдера была излишняя генерализация выводов. Наблюдения, касающиеся определенной группы гласных, распространялись на все гласные, не учитывалось их позиционное распределение в слове. Так, каждому типу сложных гласных приписывалось наличие полной серии фонем, аналогичных долгим чистым: a̤, o̤, ṳ, ə̤, ɪ̤, e̤, eæ̤, yɵ̤, yi̤, iə̤. Представлялось, что каждая гласная имела соответствия в системе аспирированных и прерывных (а также, по-видимому, и прерывно-аспирированных). Я не буду останавливаться на критике самого инвентаря гласных фонем (об этом см. [Симонов 1988]), важно, что все они, по Шнейдеру, имели соответствие в системе глоттализованных гласных. Исключение было сделано лишь для гласного *yi* – соответствующий глоттализованный отсутствовал. Как показал М.Д. Симонов, инвентарь «прерывных» в действительности значительно у́же. Система глоттализованных насчитывает только четыре фонемы: /ʻa/, /ʻä/, /ʻo/, /ʻə/[33] [Nikolaeva 2000: 118]. Наблюдения М.Д. Симонова и И.А. Николаевой подтверждаются нашими данными, полученными при изучении коппинского диалекта. Гортанная смычка могла заменить заднеязычный /k/ только через стадию увулярного /q/. Однако это происходит в коппинском диалекте только в совершенно определенных позициях: после /a/, /o/, /ä/.

О.П. Суник, считая преувеличенным число выделяемых Е.Р. Шнейдером гласных фонем, пошел по пути отрицания монофонемного характера аспирированных и глоттализованных гласных. Он предлагал рассматривать их как сочетания типа V-C-V, где согласный элемент, разрывающий два гласных звука (одинаковых или разных), являлся бы самостоятельной фонемой. В каком-то отношении этому способствовал сам Е.Р. Шнейдер, включивший гортанную смычку (ʻ), а также два ларингальных элемента аспирированных гласных (h и ḫ) в список согласных звуков, указав, правда, что эти звуки не являются фонемами [Шнейдер 1936: 91].

---

[33] М.Д. Симонов относил /ʻə/ к выделяемому им типу «квазифонем» (маргинальных фонем) на основании того, что она не встречается в первом слоге (сильная позиция, по Симонову). Однако противопоставление /ə/ ~ /ʻə/ является смыслоразличительным, так, например, различаются глагольные формы: основа презенса, выступающая с отрицательным глаголом, и форма прошедшего II (перфект): *ŋənə* ~ *ŋənʻə* ‘идти’.

Точку зрения О.П. Суника в целом разделяет И.В. Кормушин, который тщательно взвешивает аргументы «за» и «против» фонематической трактовки прерывных гласных и выдвигает аргументы против признания их самостоятельными фонемами. В противовес Кормушину, И. Николаева приводит соображения системного порядка, показывающие, что признание смычки отдельной согласной фонемой, как это делает Кормушин, нарушает базовые правила фонотактики, а также просодии удэгейского языка [Nikolaeva 2000: 120–121].

Как мне представляется, спор между сторонниками признания аспирированных и глоттализованных гласных самостоятельными фонемами либо сочетанием фонем вызван отчасти тем, что исследователи ориентировались на разные диалекты. Л.Р. Зиндер и М.И. Матусевич работали с носителями хорского диалекта, хорский диалект изучали Е.Р. Шнейдер и М.Д. Симонов. И.А. Николаева описывала бикинский диалект. И.В. Кормушин работал, по-видимому, с более северными диалектами, прежде всего самаргинским и коппинским. О.П. Суник также исследовал самые северные диалекты, к тому же он был специалистом в первую очередь по нанайскому и ульчскому языкам, хотя и родственными удэгейскому, но обладающими иными вокалическими системами[34].

Можно сделать следующий вывод. Для всех диалектов, относящихся к хорско-анюйской и бикинско-иманской диалектным группам, безусловно, следует говорить о существовании самостоятельных глоттализованных гласных фонем, а для хорско-анюйского следует постулировать существование также аспирированных гласных фонем. Для орочского языка (тумнинский и хадинский диалекты), а также для переходного коппинского диалекта нельзя постулировать наличие гласных фонем такого типа, соответствующие звуковые комплексы в этих идиомах следует считать сочетанием гласных и согласных фонем. К сожалению, хунгарийский диалект полностью утрачен, а самаргинский находится на грани исчезновения. Тем не менее, судя по имеющимся описаниям, представляется, что в самаргинском диалекте также имеет смысл выделять аспирированные и глоттализованные гласные в качестве самостоятельных фонем. В этом случае придется считать, что коппинский, несмотря на свой во многом переходный характер, по праву считается диалектом орочского языка, так как разделяет с ним эту важную черту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование удэгейских диалектов показывает, насколько условна грань между синхронным и диахронным описаниями языка. Синхронное описание и сравнение современных диалектов смыкается с изучением истории этих диалектов.

Изучение удэгейского диалектного континуума вскрывает внутренние механизмы языковых изменений. Становится очевидным, что во всех территориальных разновидностях удэгейского языка действовали сходные тенденции, однако в разных областях они проявились с разной силой. Интересно также внутреннее «устройство» диалектного континуума, когда аллегро-стиль (быстрое, небрежное произношение) одного диалекта соответствует полному стилю соседнего с ним диалекта, который вырабатывает новый аллегро-стиль, и так далее.

Легко видеть, что каждый диалект представляет собой самостоятельную систему, которая не сводима к системе другого диалекта. При этом взаимопонимание между носителями разных диалектов сохраняется и может быть достаточно легким.

Вследствие этих соображений становится ясно, что представление о единстве «языка» (понятие «такой-то язык») в условиях отсутствия кодификации часто вводит в заблуждение и оказывается причиной споров между лингвистами. «Единый язык» – это абстракция. В реальности существуют конкретные системы – идиолекты, которые мож-

---

[34] По-видимому, этим объясняется выделение им в удэгейском языке фонем /u/ и /ʊ/, /i/ и /ɪ/, характерных для нанайского, но не отмеченных другими исследователями удэгейского языка.

но объединять в говоры, диалекты, наречия, языки, однако чем выше таксон, тем больше вероятность того, что будут объединены различные системы. Сказанное не касается только тех случаев, когда под «языком» понимается кодифицированная норма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аврорин, Лебедева 1978 – *В.И. Аврорин, Е.П. Лебедева.* Орочские тексты и словарь. Л., 1978.

Арсеньев 1947–1949 – *В.К. Арсеньев.* Сочинения. Т. V. Владивосток, 1947–1949.

Арсеньев 1949а – *В.К. Арсеньев.* В горах Сихотэ-Алиня. Сквозь тайгу. М., 1949.

Арсеньев 1949б – *В.К. Арсеньев.* По уссурийскому краю. Дерсу Узала. М., 1949.

Беликов, Перехвальская 1994 – *В.И. Беликов, Е.В. Перехвальская.* Тазов язык // Красная книга народов России. Энциклопедический словарь-справочник. М., 1994.

Браиловский 1901 – *С.Н. Браиловский.* Тазы или удихэ. Опыт историко-этнографического исследования // Живая старина. Вып. II–IV. 1901.

Гаркавець 1999 – *О. Г'аркавець.* Уруми Надазов'я: Історія, мова, казки, пісні, загадки, прислів'я, писемні пам'ятки. Алма-Ата, 1999.

Зиндер 1948 – *Л.Р. Зиндер.* Экспериментальное изучение фонстики северных языков // ИАН ОЛЯ. 1948. Т. VII. Вып. 6.

История и культура орочей 2001 – История и культура орочей. Историко-этнографические очерки. СПб., 2001.

История и культура удэгейцев 1989 – История и культура удэгейцев. М., 1989.

Кибрик 2001 – *А.Е. Кибрик.* Проблема исчезающих языков в бывшем СССР // Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 2001.

Кормушин 1998 – *И.В. Кормушин.* Удыхейский язык. М., 1998.

Кривнова 2001 – *О.Ф. Кривнова.* Глоттализация на границах фонетических составляющих в женской речи (на русском материале) http://www.philol.msu.ru/~otipl/SpeechGroup/publications/2001/krivnova_glot.doc

Кузьменко 1991 – *Ю.К. Кузьменко.* Фонологическая эволюция германских языков. Л., 1991.

Ларькин 1959 – *В.Г. Ларькин.* Удэгейцы. Историко-этнографический очерк с середины XIX в. до наших дней: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Владивосток, 1959.

Леонтович 1898 – *С. Леонтович.* Краткий русско-ороченский словарь с грамматической заметкой. Народа, бассейна реки Тумнин, впадающей в Татарский пролив, севернее Императорской гавани. Владивосток, 1898.

Маргаритов 1888 *В.П. Маргаритов.* Об орочах Императорской гавани. СПб., 1888.

Муслимов 2009 – *М.З. Муслимов.* Диалекты ингерманландского финского // Доклад, сделанный на семинаре по изучению языка ингерманландских финнов 16 ноября 2009 г. СПб.

Надаров 1887 – *И.П. Надаров.* Северно-уссурийский край (с картою) // Зап. Имп. РГО. 1887. Т. XVII. № 1.

Перехвальская 2001 – *Е. Perekhvalskaya.* The Bikin-river Sprachbund // Sprache 23. Jahrestagung und Kognition der Deurschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft 28.02 -02.03.2001. Leipzig, 2001.

Перехвальская 2007 – *Е.В. Перехвальская.* Диалектные различия как результат языкового сдвига (бикинский диалект удэгейского языка) // Н.Б. Вахтин (отв. ред.). Языковые изменения в условиях языкового сдвига. СПб., 2007.

Перехвальская, Николаева, Тольская (ркп.) – *Е.В. Перехвальская, И.А. Николаева, М.В. Тольская.* Словарь удэгейского языка (бикинский диалект).

Пожарицкая 2005 – *С.К. Пожарицкая.* Русская диалектология. М., 2005.

Пржевальский 1947 – *Н.М. Пржевальский.* Путешествие в Уссурийском крае 1868–1869 гг. М., 1947.

Протодьяконов 1888 – *П. Протодьяконов.* Краткий русско-ороченский словарь. Казань, 1888.

Радченко 1988 – *Г.Л. Радченко.* Спорные вопросы фонетики удэгейского языка // Историко-типологические исследования по тунгусо-маньчжурским языкам. Новосибирск, 1988.

Реформатский 1996 – *А.А. Реформатский.* Введение в языкознание. М., 1996.

Сепир 1993 – *Э. Сепир.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

Серебренников 1970 – *Б.А. Серебренников.* Общее языкознание. М., 1970.

Симонов, Кялундзюга 1998 – *М.Д. Симонов, В.Т. Кялундзюга.* Словарь удэгейского языка в 3-х томах. Стеншев, 1998.

Симонов 1988 – *М.Д. Симонов.* Фонологическая система удэгейского языка // Историко-типологические исследования по тунгусо-маньчжурским языкам. Новосибирск, 1988.

Суляндзига и др. 2003 – *Р.В. Суляндзига, Д.А. Кудряшова, П.В. Суляндзига.* Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Обзор современного положения. М., 2003.
Суник 1968 – *О.П. Суник.* Удэгейский язык // Языки народов СССР. Т. 5. Л., 1968.
Фольклор 1998 – Фольклор удэгейцев: ниманку, тэнунгу, эхэ / Сост. М.Д. Симонов, В.Т. Кялундзюга, М.М. Хасанова. Новосибирск, 1998.
Хелимский 2007 – *Е.А. Хелимский.* Фонетика и морфонология энецкого языка в условиях языкового сдвига // Языковые изменения в условиях языкового сдвига. СПб., 2007.
Шнейдер 1936 – *Е.Р. Шнейдер.* Краткий удэйско-русский словарь. М.; Л., 1936.
Шнейдер 1937 – *Е.Р. Шнейдер.* Материалы по языку анюйских удэ // Научно-исследовательская ассоциация Ин-та Народов Севера им. И.Г. Смидовича. Вып. 11. М.; Л., 1937.
Шренк 1883 – *Л.И. Шренк.* Об инородцах Амурского края. СПб., 1883.
Шухардт 1950 – *Г. Шухардт.* О классификации диалектов // Избранные статьи по языкознанию. М., 1950.
Janhunen 1998 – *J. Janhunen.* Tonogenesis in Northeast Asia (Udeghe as a tone language) // Paper presented at the workshop on the production and perception of tones, October 1st, University of Lund, 1998.
Lass 1984 – *R. Lass.* Phonology. An introduction to basic concepts. Cambridge, 1984.
Nikolaeva 2000 – *I. Nikolaeva.* The vocalic system of Udihe // Eurasian studies yearbook 72. 2000.
Nikolaeva, Perekhvalskaya 2001 – *I. Nikolaeva, E. Perekhvalskaya.* Udihe under Russian influence: Effects of endangerment on language grammar // Presentation at the conference «Perspectives on Endangered languages». Helsinki, 2001.
Nikolaeva, Tolskaya 2001 – *I. Nikolaeva, M. Tolskaya.* A grammar of Udihe. Berlin; New York, 2001.
Schmidt 1928 – *P. Schmidt.* The language of the Orochcs // Acta Universitatis Latviensis. XVII. Riga, 1928.
Trudgill 1983 – *P. Trudgill.* On dialect. Social and geographical perspective. Oxford, 1983.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ААК – форма, записанная у Александра Александровича Канчуга
Авр-Леб – форма из книги В.А. Аврорина и Е.П. Лебедевой
АИ – форма, записанная у Анатолия Сафроновича Иващенко
АП – форма, записанная у Александра Егоровича Пионка
бик. – бикинский диалект
ВТ – форма, записанная у Валентины Тунсяновны Кялундзюги
копп. – коппинский диалект
Корм – форма из словаря И.В. Кормушина
ЛС – форма, записанная у Лидии Боучановны Симанчук
нан. – нанайский язык
НПК – форма, записанная у Надежды Павловны Кукченко
ороч. – орочский язык
Пер-Ник-Тол – форма из словаря Е.В. Перехвальской, И.А. Николаевой и М.В. Тольской
Сим-Кял – форма из словаря М.Д. Симонова и В.Т. Кялундзюги
смрг. – самаргинский диалект
ульч. – ульчский язык
хор. – хорский диалект
Шн – форма из словаря Е.Р. Шнейдера
эвенк. – эвенкийский язык

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2010

© 2010 г. Т.А. МАЙСАК

К ПУБЛИКАЦИИ КАВКАЗСКО-АЛБАНСКИХ ПАЛИМПСЕСТОВ ИЗ СИНАЙСКОГО МОНАСТЫРЯ*

В статье рассмотрена недавняя публикация двух кавказско-албанских рукописей, обнаруженных в коллекции средневековых палимпсестов монастыря Св. Екатерины на Синае и расшифрованных и изданных международной группой специалистов [Gippert et al. 2009]; издание сопровождается обширным справочным аппаратом. Рукописи содержат текст Евангелия от Иоанна и лекционария (сборника литургических чтений) и являются первым памятником кавказско-албанского, или агванского, языка, дающим достаточно полное представление о его грамматической структуре. Новые данные полностью подтверждают гипотезу о том, что кавказско-албанский язык является историческим предком удинского языка. После краткого очерка истории изучения кавказско-албанского алфавита проводится критический обзор издания, особое внимание уделено грамматическому очерку языка палимпсестов, а также положению кавказско-албанского языка среди языков лезгинской группы нахско-дагестанской семьи.

В середине 2009 г. в мире кавказоведения произошло значимое и давно ожидавшееся событие – вышло в свет издание двух кавказско-албанских рукописей, найденных в монастыре Святой Екатерины на Синае более десяти лет назад. В книге впервые опубликован достаточно представительный объем текстов на кавказско-албанском, или агванском, языке – Евангелие от Иоанна и лекционарий, сборник литургических чтений (в общей сложности около 120 страниц текста). Помимо английского перевода, оригинал сопровождается параллельными переводами соответствующих библейских фрагментов на несколько древних и современных языков; в книге также описывается алфавит и грамматическая структура кавказско-албанского языка, приводится обширный справочный аппарат.

Редакторами издания [Gippert et al. 2009] стали четыре крупных специалиста по кавказским языкам и истории Закавказья – это немецкие лингвисты Йост Гиппert (Франкфуртский университет) и Вольфганг Шульце (Мюнхенский университет), грузинский историк, член-корреспондент Грузинской академии наук Заза Алексидзе и французский филолог и историк христианства, член Академии надписей и изящной словесности Жан-Пьер Маэ. Книга вышла в бельгийском издательстве «Брепольс» (г. Тюрнхаут), которое специализируется на издании христианских письменных памятников, и стала вторым выпуском серии «Monumenta palaeographica Medii Aevi, Series Ibero-Caucasica»[1].

Значение данного издания трудно переоценить – в нем в научный оборот впервые вводится полноценный текстовый, грамматический, лексический и палеографический материал по языку, который, по всей видимости, был доминирующим в Кавказской Албании во времена ее расцвета (примерно с IV по VII в.) и выступал также в роли литургического языка. До сих пор интерпретация значительной части букв кавказско-

* Мы благодарим Й. Гипперта и В. Шульце за содействие в получении издания, а также А.С. Касьяна, Ю.Б. Корякова, В.С. Мальцеву и С.Р. Мерданову за обсуждение текста данной статьи.

[1] Первый выпуск серии был посвящен изданию древнегрузинского Венского кодекса - Codex Vindobonensis Georgicus 2, см. [Gippert et al. 2007].

албанского алфавита была проблематичной, а данные о грамматической структуре этого языка практически отсутствовали. И хотя гипотеза о том, что кавказско-албанский представлял собой древнее состояние удинского языка, в целом была общепринятой среди специалистов, в печати регулярно появлялись любительские исследования, предлагавшие альтернативные версии атрибуции языка кавказских албанцев (как правило, он сопоставлялся с другими языками нахско-дагестанской семьи).

Не претендуя на полный охват всей проблематики, связанной с недавним открытием, ниже мы уделим основное внимание общему обзору новонайденных рукописей, а также характеристике языка палимпсестов. Однако вначале кратко напомним основные этапы изучения кавказско-албанского (агванского) алфавита и историю находки в Синайском монастыре.

1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАВКАЗСКО-АЛБАНСКОГО АЛФАВИТА И ОТКРЫТИЕ ПАЛИМПСЕСТОВ

История научного изучения кавказско-албанского алфавита, созданного более полутора тысяч лет назад, насчитывает менее века. Этот алфавит появился около 422 г., когда христианство уже стало официальной религией Кавказской Албании (албанский царь Урнайр принял крещение в конце III или начале IV в.). Армянский историк и писатель Корюн так описывает создание алфавита Месропом Маштоцем: после встречи с албанским священником по имени Бениамин Маштоц «расследовал варварские слова алуанского языка, затем своей обычной проницательностью, ниспосланной свыше, создал письмена (для алуанцев) и милостью Христа успешно взвесил, расставил и уточнил» [Корюн 1962: 105–106]. Прибыв в Алуанк, т. е. Кавказскую Албанию, Маштоц встречается с царем и епископом этой страны, «и они – оба равные – епископ и царь согласились принять эту письменность и издали приказ привезти из разных гаваров и местностей владычества своего детей для обучения письменности... И когда это приказание на деле было претворено в жизнь и завершено, блаженный епископ Иеремия неспешно принялся за перевод божественных книг, с помощью которых дикомыслящие, праздношатающиеся и суровые люди страны Алуанк вскоре узнали пророков, апостолов, унаследовали Евангелия, были осведомлены о всех божественных преданиях» [Корюн 1962: 107]. Таким образом, можно предполагать, что вскоре после создания алфавита Священное Писание было полностью переведено на кавказско-албанский язык.

Со временем в Церкви Кавказской Албании, изначально автономной, однако всегда близкой Армянской Апостольской Церкви, армянский компонент стал преобладающим. Когда в начале VIII в. Закавказье оказалось под властью арабского халифата, чьим покровительством пользовалась Армянская Церковь, Церковь Кавказской Албании окончательно утратила независимость, а ее католикосы стали рукополагаться армянским престолом. Богослужение в албанских церквях полностью перешло на армянский язык, использование неармянских богослужебных книг пресекалось. Книги на кавказско-албанском языке перестали переписываться, а сама письменность была забыта; созданные в V—VII вв. рукописи были уничтожены либо расшиты, текст с их страниц был смыт, чтобы писать на них заново уже на других языках.

Хотя на протяжении XIX в. и в начале XX в. появлялись разной степени достоверности сообщения о кавказско-албанских надписях, настоящее открытие древнего алфавита произошло лишь в 1937 г., когда грузинский ученый Илья Абуладзе обнаружил в матенадаранской рукописи № 7117 (XV в.) список кавказско-албанского алфавита, состоящего из 52 букв, с подписями их названий по-армянски. В следующем году вместе с публикацией сообщения о находке [Абуладзе 1938] появился и лингвистический анализ Акакия Шанидзе, который сопоставил фонетическую систему, предположительно представленную в алфавите, с удинской. В своей статье А.Г. Шанидзе писал о том, что «раскопки должны дать нам убедительный эпиграфический материал, подтверждающий сведения армянских источников о существовании албанской письменности» [Шанидзе 1938: 5]. И действительно, уже в 1948 г. во время земляных работ в ходе строительства

Мингечаурской ГЭС в Азербайджане были раскопаны остатки средневекового христианского храма с фрагментами надписей на том же алфавите, что и в матенадаранской рукописи. Всего при раскопках, продолжавшихся до 1952 г., было найдено семь эпиграфических памятников (надпись на постаменте алтарного креста, граффити на подсвечниках и др., в общей сложности около 200 знаков) – впрочем, плохая сохранность надписей и их краткость не давали возможность достоверной расшифровки.

В 1956 г. американский исследователь А. Курдян открыл второй список кавказско-албанского алфавита в армянской рукописи XVI в., который был весьма близок ранее описанному варианту [Kurdian 1956]. Позднее, в 1970 г., близ с. Верхнее Лабкомахи в Левашинском районе Дагестана была найдена каменная табличка, на которой воспроизводился алфавит из матенадаранской рукописи; эта находка, впрочем, большинством специалистов была квалифицирована как очевидная подделка. В 1960–1980-х гг. публикуется целый ряд работ с анализом существующих данных о кавказско-албанской письменности (см. [Абрамян 1964; Гукасян 1968; 1969; 1971; Климов 1967; 1970; 1972; 1976; Муравьев 1981] и др.)[2]. В целом же, по словам И.В. Кузнецова, «начиная с 1970-х гг. в изучении агванской письменности наметился кризис. С этого времени практически перестали поступать и известия о новых находках» [Кузнецов 1999: 120]. Однако вскоре сбылось и другое провидение А.Г. Шанидзе, который в 1938 г. писал: «Я убежден, что не все письменные памятники албанского языка погибли. Очень возможно, что в палимпсестах где-нибудь всплывут фрагменты албанских рукописей» [Шанидзе 1938: 62]. Две такие рукописи действительно «всплыли» в 1990-е гг., причем обнаружен был не армянско-албанский (как можно было бы ожидать), а грузинско-албанский палимпсест.

Эта важнейшая находка была сделана грузинским ученым Зазой Алексидзе в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове. В библиотеке этого монастыря, созданной в 1734 г., находится одно их крупнейших в мире собраний письменных памятников раннего восточного христианства. Старое собрание насчитывает более 3300 рукописей на греческом, арабском, сирийском, грузинском, эфиопском, славянских и др. языках, в числе которых – древнейшая датированная грузинская рукопись «Мравалтави» (Синайский многоглав) 864 года. В 1975 г., во время ремонта пострадавших от пожара 1971 года строений северной стены, под алтарем церкви Св. Георгия была найдена замурованная келья, в которой обнаружилось еще более 1100 манускриптов. Они составили новое собрание библиотеки, в котором было выявлено 142 древних грузинских кодекса, главным образом написанных на пергаменте; девять из них представляют собой палимпсесты.

В 1990 г. ученые Института рукописей Грузинской академии наук под руководством Зазы Алексидзе приступили к каталогизации и микрофильмированию новых рукописей. Всего состоялось четыре поездки (в 1990, 1994, 1996 и 2000 гг.). Во время одной из них Алексидзе обратил внимание на стертый текст, который проступал на двух палимпсестах, получивших в каталоге обозначения Sin.Geo N 13 и Sin.Geo N 55[3]. Первоначально алфавит нижнего слоя рукописи был принят за эфиопский, однако в 1996 г. он был сопоставлен с кавказско-албанским алфавитом, сходство с которым оказалось более явным (см. предварительные публикации [Алексидзе 1997; 1999; Alek'sidze 1998] и др.).

В 2000 г. Заза Алексидзе начал расшифровку кавказско-албанского текста. Поскольку около 80% грузинских рукописей нового синайского собрания имели литургический характер, возникло предположение о том, что и албанский манускрипт мог представлять собой лекционарий – сборник годичных литургических чтений. Ключом к расшифровке стали строки, написанные более мелкими буквами по сравнению с остальным текстом, – как и в аналогичных грузинских и армянских лекционариях, они оказались заголовками библейских фрагментов. Вскоре удалось затранскрибировать несколько десятков таких

---

[2] Подробнее об истории и современном состоянии изучения кавказско-албанского алфавита из работ последних лет на русском языке см. [Лолуа 2008].

[3] Грузинские рукописи Синайского монастыря (Sin.Geo), новое собрание (N).

заголовков, идентифицировать имена апостолов и евангелистов, выявить числовые обозначения апостольских посланий и наиболее употребительные сокращения священных имен. Затем, ориентируясь на библейские топонимы и антропонимы и сопоставляя их предполагаемое прочтение с соответствующими армянскими, грузинскими и удинскими словами, Алексидзе смог уточнить значения букв кавказско-албанского алфавита и расшифровал значительную часть рукописи.

В дальнейшем к работе над интерпретацией палимпсестов подключились Йост Гипперт, Вольфганг Шульце и Жан-Пьер Маэ. В декабре 2000 г. в рамках проекта по электронной документации кавказских языков ARMAZI, поддержданного Фондом Фольксвагена, в монастыре сделали ультрафиолетовые фотографии рукописей[4]. Со временем Йост Гипперт и Вольфганг Шульце завершили расшифровку текста, начатую Алексидзе. Кроме того, В. Шульце составил словарь морфем кавказско-албанского языка и опубликовал лингвистический анализ отрывка из 2-го послания Коринфянам [Schulze 2001/2003]. В 2004 г. при помощи специального оборудования были сделаны мультиспектральные фотоснимки всех листов манускрипта и началась работа над изданием, ср. предварительный обзор [Gippert, Schulze 2007].

Двухтомное издание формата A3, вышедшее в середине 2009 г., состоит из введения и семи разделов. В первый том входит введение – очерк истории Кавказской Албании, и разделы I – общая характеристика двух найденных палимпсестов, II – очерк кавказско-албанского языка, III – *editio minor* и IV, включающий разнообразные указатели. Во второй том вошло *editio maior* в трех частях: V – рукопись Евангелия от Иоанна, VI – первая часть лекционария (чтения из других Евангелий) и VII – вторая часть лекционария (чтения из Деяний, апостольских посланий и Ветхого Завета)[5]. Введение написано З. Алексидзе и Ж.-П. Маэ, все прочие разделы книги написаны совместно Й. Гиппертом и В. Шульце.

Корпус публикуемых кавказско-албанских текстов состоит из Евангелия от Иоанна и следующих чтений лекционария: фрагменты Евангелий от Матфея, Марка и Луки, фрагменты Деяний Апостолов, фрагменты соборных посланий (Иакова, 2-е Петра и 1-е Иоанна), фрагменты посланий апостола Павла (к Римлянам, 1-е и 2-е к Коринфянам, к Галатам, к Ефесянам, 1-е и 2-е к Фессалоникийцам, к Евреям, 1-е и 2-е к Тимофею и к Титу) и ветхозаветные фрагменты из 35-й главы Книги пророка Исайи и из нескольких псалмов. *Editio minor* представляет собой латинскую транслитерацию кавказско-албанского текста, сопровождаемую английским переводом; специальными знаками помечены нечитаемые или отсутствующие фрагменты. В публикации текста имеются и целиком восстановленные (т.е., по сути, переведенные авторами на кавказско-албанский) фрагменты, они напечатаны серым цветом.

Представленное во втором томе *editio maior* включает черно-белые фотографии страниц рукописей, запись текста в оригинальном алфавите при помощи специально разработанного шрифта (см. рис. 1–2) и латинскую транслитерацию. Помимо системы специальных обозначений (несколько видов скобок) для различения степени читаемости текста используются цветовые оттенки шрифта (черный, темно-серый, светло-серый). Рядом с кавказско-албанским текстом приведен синопсис нескольких переводов соответствующих фрагментов. Для Евангелий это английский перевод по Библии короля Якова, армянский перевод по Эчмиадзинскому Евангелию (с вариантами по Библии Зохраба), грузинский перевод по Адишскому Евангелию и Протовульгате, греческий текст по изданию Нестле–Аланда (Novum Testamentum Graece), огласованный сирийский текст по Пешитте, удинский текст по переводу на варташенский диалект, создан-

---

[4] Ряд материалов по проекту, в том числе черно-белые фотографии рукописей Sin.Geo N 13 и Sin.Geo N 55, доступны на сайте проекта http://armazi.uni-frankfurt.de/.

[5] В книге отсутствует сплошная нумерация страниц, в каждом из разделов собственная нумерация. Ниже ссылки на страницы сопровождаются указанием на раздел (например, III-35 – страница 35 раздела III); введение обозначено префиксом «B».

ному в конце XIX в.[6], а также русский синодальный перевод, с которого и был сделан удинский. Для других новозаветных текстов грузинский перевод также дается в двух вариантах (более старом и более новом), армянский перевод приводится только по Библии Зохраба, удинский и русский текст отсутствуют.

Кавказско-албанские индексы к изданию включают указатели библейских имен, топонимов, этнонимов, указатель числовых обозначений и обширный указатель лексики, перечисляющий все встречающиеся формы соответствующих лексем с удинскими (и, по возможности, другими нахско-дагестанскими) параллелями и переводными эквивалентами из армянских, грузинских и греческих переводов. (Несмотря на использование латинской транслитерации, указатели основаны на албанском алфавитном порядке.) Кроме того, имеются обратные указатели для упоминаемых в словаре английских, армянских, греческих, грузинских, удинских и пр. слов, которые отсылают к соответствующим кавказско-албанским входам.

Говоря о принципах издания, Й. Гипперт и В. Шульце отмечают, что в целом они были такими же, как и при издании грузинского Венского кодекса [Gippert et al. 2007], что связано с общей целью документировать древний манускрипт, предоставив его фотографии и расшифровку текста. В случае кавказско-албанского палимпсеста, однако, сам язык рукописи был ранее практически неизвестен, поэтому ему было решено посвятить специальный раздел. Кроме того, по техническим причинам оказалось невозможным подготовить к печати полный набор мультиспектральных фотографий, как это было сделано для Венского кодекса. Поэтому в основном в качестве иллюстраций в издании приводятся черно-белые ультрафиолетовые фотоснимки, сделанные в 2000 г.; они были специальным образом обработаны, чтобы подчеркнуть нижний слой палимпсеста и затенить верхний. Цветные и мультиспектральные фотографии приведены лишь в нескольких случаях. Поскольку в процессе расшифровки текста были использованы фотографии всех типов, а опубликованы далеко не все из них, авторы признают, что «верификация прочтения как таковая будет не всегда возможна по публикуемым снимкам» (I-37).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОПИСЕЙ

Два палимпсеста, каталогизированные как Sin.Geo N 13 и Sin.Geo N 55, вместе включают 332 страницы. В большинстве случаев это страницы сложенных вдвое разворотов размером ок. 30 × 23 см (I-2)[7], сшитых в небольшие блоки – по четыре или пять сдвоенных страниц. Верхний слой всех страниц, кроме одной (оставшейся незаполненной), содержит грузинский текст, выполненный минускульным письмом нусхури, – от 22 до 24 строк на странице.

Как выяснилось в ходе анализа, две рукописи представляют собой части единого кодекса, в котором страницы Sin.Geo N 55 располагались между страниц Sin.Geo N 13. Начало манускрипта и некоторые из промежуточных страниц утрачены. В целом же кодекс является типичным для собрания Синайского монастыря сборником аскетической и житийной литературы – в него входят переводы на древнегрузинский язык таких произведений, как «Житие Св. Антония» Афанасия Александрийского, семь писем Св. Антония и его апофтегмы, 1-е послание Макария Египетского, семь писем и «Наставления» Аммона Нитрийского, 3-е Слово Исайи Отшельника, четыре (или пять) проповедей Ефрема Сирина, собрание апофтегм, послание «О покаянии, воздержании и девстве» Иоанна Постника, а также начало «Истории монахов в Египте».

---

[6] Перевод Четвероевангелия на удинский язык, выполненный Семеном Бежановым из Варташена, был создан в последние годы XIX в. и опубликован в 1902 г. в серии «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» [Евангелие 1902]; в 2001 г. текст этого перевода был переиздан В. Шульце в транскрипции и с приложением указателей и конкорданса [Schulze 2001].

[7] В другом месте размер разворота указан как 19,5 × 22,4 см (B-xxi).

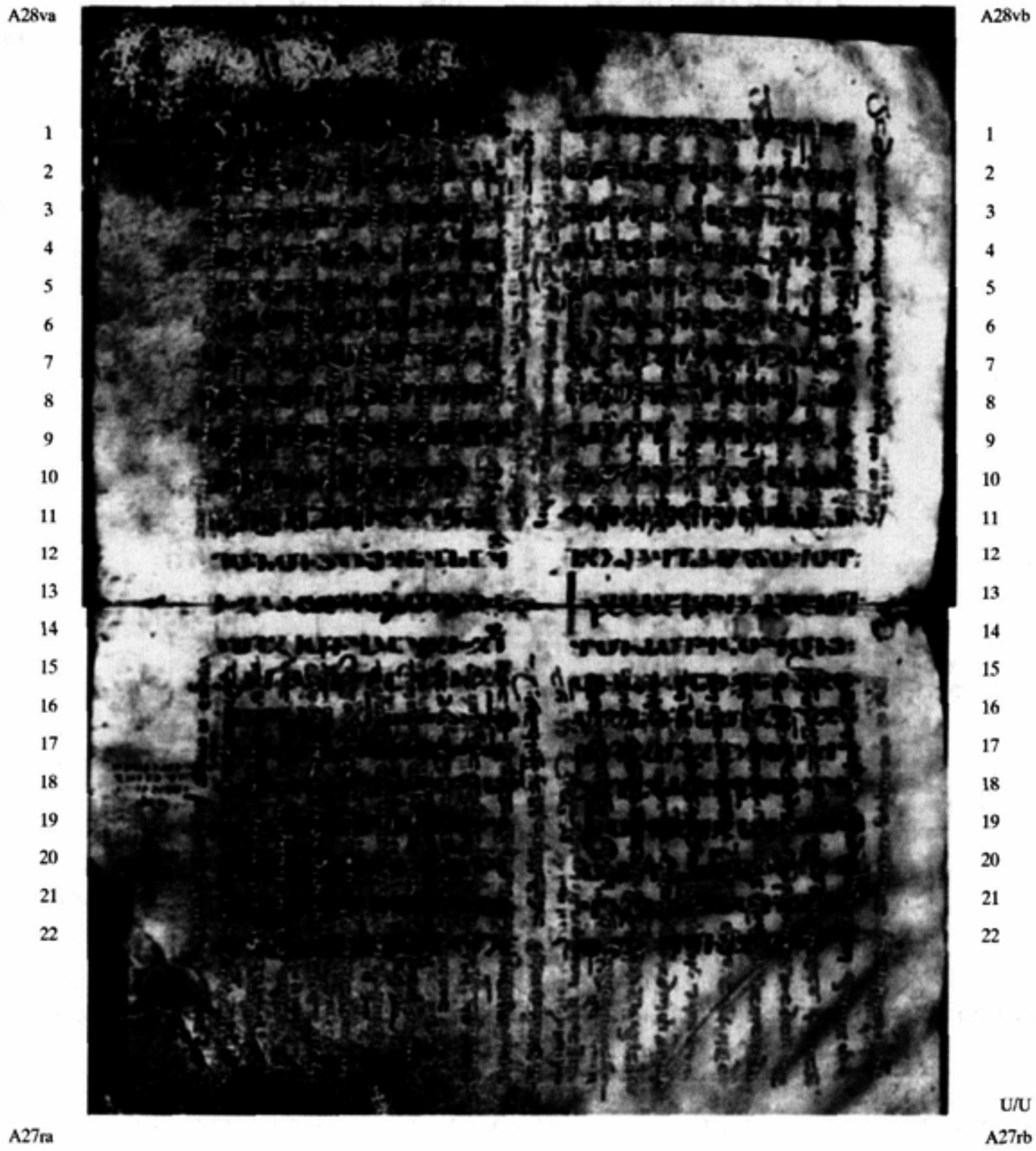


Рис. 1. Фотография страницы лекционария, разворот A28v-27r [Gippert et al. 2009: VII-40]
Нижний слой (кавказско-албанский, горизонтальные строки) высвечен,
верхний слой (древнегрузинский, вертикальные строки) затенен

Нижний слой палимпсестов гораздо более разнороден – материалом для грузинского кодекса послужили целых шесть исходных рукописей на четырех языках. Основная часть – 242 страницы, или 121 разворот, – написана на кавказско-албанском языке и состоит из двух рукописей, ставших первыми обнаруженными на сегодня крупными памятниками кавказско-албанской письменности. 126 страниц, написанных более крупными буквами, содержат лекционарий, 112 страниц – текст Евангелия от Иоанна; содержание еще двух разворотов не удалось распознать ввиду плохой сохранности текста. Помимо этого, нижний слой включает 84 страницы на армянском языке (в которых можно выделить две разные рукописи, различающиеся почерком), два разворота на сирийском и один разворот на грузинском, написанный письмом асомтаврули.

По сравнению со страницами грузинского кодекса кавказско-албанские страницы повернуты на 90 градусов: это связано с тем, что при повторном использовании (когда исходный кавказско-албанский текст был затерт, чтобы написать новый) листы рукописи

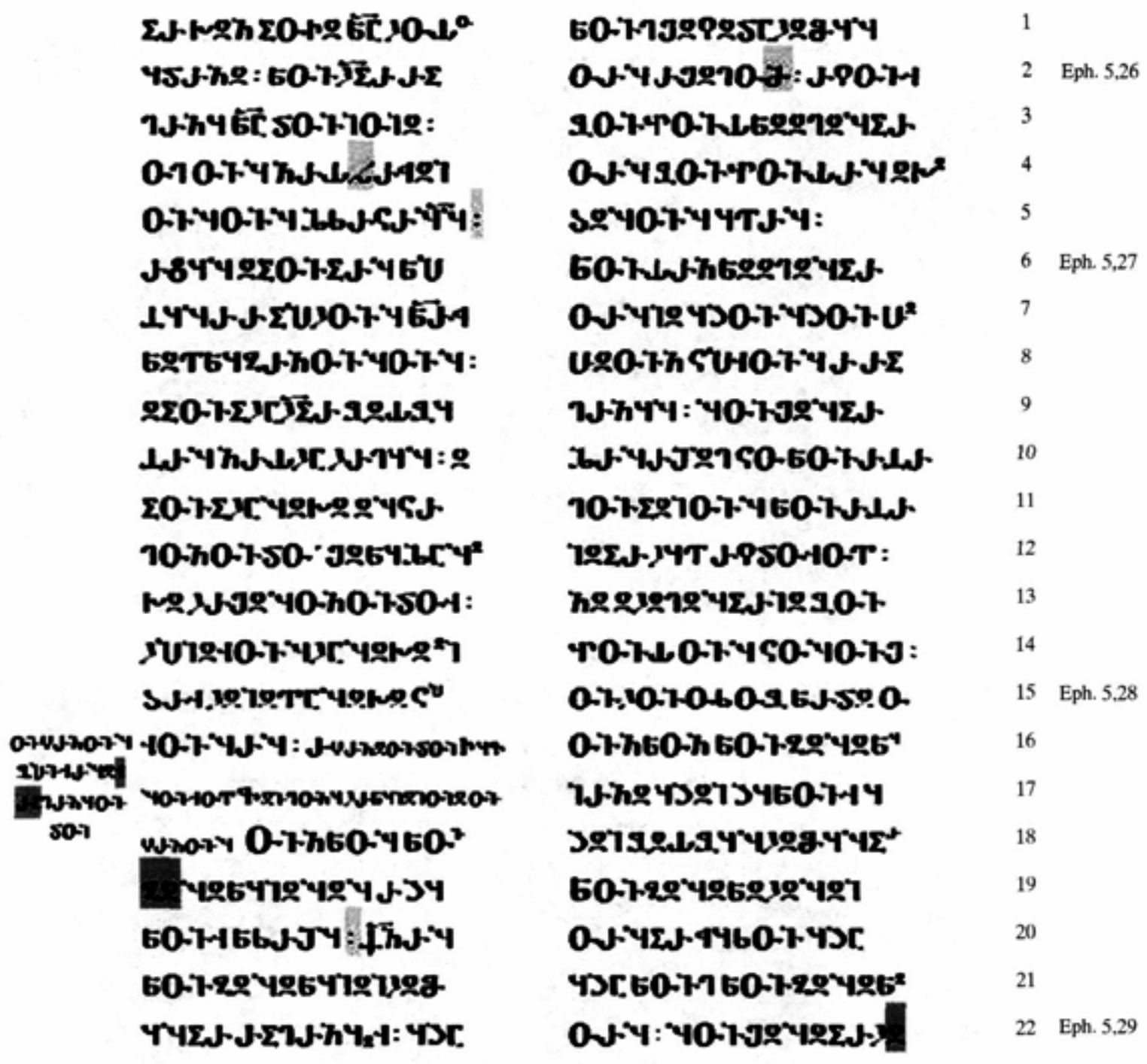


Рис. 2. Наборное воспроизведение текста с разворота A28v-27r
[Gippert et al. 2009: VII-41]
Текст содержит окончание отрывка из 1-го послания к Тимофею (1 Тим. 3: 15–16)
и начало отрывка из послания к Ефесянам (Еф. 5: 25–29)

были развернуты горизонтально и сшиты посередине, так что один лист стал разворотом двух страниц. Кавказско-албанский текст написан коричневыми чернилами в две колонки, с достаточно большим расстоянием между строками и большими полями. Для разделения крупных фрагментов текста используются увеличенные буквы, меньшие фрагменты разделяются двумя короткими параллельными пунктирными линиями. Страницы лекционария написаны более крупными буквами, по 22 строки в колонке и в среднем по 14 букв в одной строке; страницы Евангелия написаны более мелкими буквами, по 21 строке в колонке и по 18–19 букв в строке (I-25, V-1, VI-1, VII-1).

Кавказско-албанская рукопись не содержит колофона или какой-либо иной информации, которая позволила бы однозначно ее датировать. Верхний предел датировки может быть определен по грузинскому слою палимпсеста, который был создан не ранее X—XI вв. Косвенное указание на нижний хронологический предел дает упоминание динара в Ин. 6:7 – название монеты, которое является гапаксом и, к сожалению, читается там не полностью, выглядит как <…>*zaizowzn'a*. По предположению В. Шульце, *n'a* в данном случае является словообразовательным суффиксом, а название монеты происходит от латинизированного имени византийского императора Мезезия (Мжежа Гнуни), правившего около 669 г.[8]

---

[8] Альтернативное предположение авторов состоит в том, что в названии монеты могло быть отражено имя другого Мжежа Гнуни – западноармянского царя, правившего ок. 627–635 гг. (I-30).

Кроме того, при решении вопроса о датировке авторы рассматривают сходства и различия кавказско-албанских текстов с аналогичными грузинскими и армянскими рукописями – в частности, применительно к системе сокращений, которые активно используются в кавказско-албанском для нескольких групп слов. В основную группу входят священные имена «Бог», «Господь», «Иисус», «Христос», «Иерусалим», «Израиль» и некоторые другие – за единичными исключениями эти слова приводятся только в титлованном виде, и сокращению в них обычно подвергается вся часть между первой и последней буквой корня, окончание же приводится полностью. Кроме того, в рукописи частотны сокращения гласных (прежде всего гласной в показателе множественного числа у местоимения *о* и у совпадающего с этим местоимением суффикса субстантивации *-о*) и различных частотных слов типа 'поэтому', 'какой', 'ваш', 'второй', 'хороший' и др.; во всех этих случаях сокращения не столь систематичны, как в случае священных имен. В целом, в использовании сокращений кавказско-албанская рукопись ближе всего к древнегрузинским образцам, в которых уже на достаточно ранних этапах сокращению подвергались не только священные имена, но и частотные местоимения и союзы (тогда как, например, в армянском Эчмиадзинском Евангелии сокращения зафиксированы только у шести основных сакральных слов).

По ряду черт рукопись кавказско-албанского Евангелия проявляет наибольшее сходство с древнеармянским Эчмиадзинским Евангелием (989 г.) и древнегрузинским Адишским Евангелием (897 г.): в них текст также написан в две колонки, начало раздела отмечается увеличенной заглавной буквой, на полях слева приводится нумерация Аммониевых секций, а внизу страницы – таблицы Евсевиевых канонов. Впрочем, само по себе данное сходство не означает, что кавказско-албанская рукопись была также написана именно в IX–X вв., поскольку подобный тип оформления страницы был известен на Кавказе и раньше (по меньше мере с VII в.). Что же касается рукописи лекционария, то она по нескольким параметрам отличается от своих грузинских и армянских аналогов. Так, дополнительная информация к фрагментам разделена на две части и включает как указание на источник перикопы в самой колонке текста, так и специальную помету на полях о том, когда следует читать соответствующий отрывок. Кроме того, общая композиция отличается от модели иерусалимского лекционария, представленной в грузинских и армянских образцах: чтения упорядочены не по хронологии событий церковного года, а в соответствии с источником (сначала идут Евангелия, затем Деяния Апостолов, Апостольские послания и фрагменты из Ветхого Завета), внутри этих разделов они расположены по тематическому принципу. Не исключено, что кавказско-албанский текст был составлен на основе не дошедшего до нас (или пока не обнаруженного) типа лекционариев, или же он мог быть создан независимо из частей уже имевшегося полного перевода Библии на кавказско-албанский язык[9].

Все рассмотренные аргументы позволяют авторам утверждать, что оба кавказско-албанских текста «по-видимому, были написаны в промежутке между концом VII в. и X в., причем более вероятна более поздняя датировка» (I-32). Кратко затронут и вопрос о возможном языке-источнике кавказско-албанских переводов. Наиболее естественных кандидатов здесь четыре: это армянский, грузинский, греческий и сирийский оригиналы. Одним из важнейших индикаторов языка-источника обычно являются имена собственные и специфичекие библейские понятия, однако здесь наблюдается достаточно неоднозначная картина. В кавказско-албанском тексте идентифицируются заимствования как из армянского, так и из грузинского; все греческие заимствования также соответствуют либо одному, либо другому из этих двух языков. В Евангелии от Иоанна отмечается несколько имен, форма которых наиболее близка к сирийскому оригиналу (например, *zadoḳaowx* 'саддукеи' или *ešaya* 'Исайя'), однако эта близость может отражать не факт перевода непосредственно с сирийского, а опять же армянское либо

---

[9] Языковых различий между двумя рукописями не выявлено; единственное заметное различие состоит в написании слова 'учитель' (армянскос заимствование) – *vardaṗeṭ* или *varṭaṗeṭ* (I-30).

Item no.	CA	Phonet. value	Trans-literation	Num. value
1	𐰀	[a]	*a*	1
2	𐰁	[b]	*b*	2
3	𐰂	[g]	*g*	3
4	𐰃	[d]	*d*	4
5	𐰄	[e]	*e*	5
6	𐰅	[z]	*z*	6
7	𐰆	[eː / ej]	*ē*	7
8	𐰇	[ʒ]	*ž*	8
9	𐰈	[t]	*t*	9
10	𐰉	[tɐ̇]	*ṭ*	10
11	𐰊	[j]	*y*	20
12	𐰋	[ʒ]	*ž*	30
13	𐰌	[i]	*i*	40
14	𐰍	[ʕ]	*ʿ*	50
15	𐰎	[l]	*l*	60
16	𐰏	[nʲ]	*ń*	70
17	𐰐	[x]	*x*	80
18	𐰑	[dʲ]	*d'*	90
19	𐰒	[tsˇ]	*ç*	100
20	𐰓	[dʒ]	*ǯ*	200
21	𐰔	[kˇ]	*ķ*	300
22	𐰕	[ɬ]	*l'*	*400
23	𐰖	[ɭ]	*ḥ*	*500
24	𐰗	[qˑχ]	*ẋ*	*600
25	𐰘	[v]	*v̇*	*700
26	𐰙	[tɐ]	*ċ*	*800
27	𐰚	[tʃ]	*ç'*	*900
28	𐰛	[tsʲ] ?	*(c')*	*1000
29	𐰜	[m]	*m*	*2000
30	𐰝	[qˇ]	*q̇*	*3000
31	𐰞	[ɪ]	*n*	*4000
32	𐰟	[dzʲ] ?	*(ʒ')*	*5000
33	𐰠	[ʃ]	*š*	*6000
34	𐰡	[dʒ]	*ǯ*	*7000
35	𐰢	[e]	*o*	*8000
36	𐰣	[tʲˇ]	*t'*	*9000
37	𐰤	[f]	*f*	*10000
38	𐰥	[dz]	*ʒ*	*20000
39	𐰦	[tʃ]	*č*	*30000
40	𐰧	[pˇ]	*ṗ*	*40000
41	𐰨	[ɣ]	*ġ*	*50000
42	𐰩	[ɾ]	*r*	*60000
43	𐰪	[s]	*s*	*70000
44	𐰫	[v]	*v*	*80000
45	𐰬	[tˇ]	*ṭ*	*90000
46	𐰭	[ɕ]	*ś*	*100000
47	𐰮(𐰯)	[y]	*i*	*200000
48	𐰰	[tsʲˇ]	*ç'*	*300000
49	𐰱	[tsˇ]	*c*	*400000
50	𐰲	[w]	*w*	*500000
51	𐰳	[pˇ]	*p*	*600000
52	𐰴	[kˇ]	*k*	*700000

Рис. 3. Кавказско-албанский алфавит (по [Gippert et al. 2009: II-4–II-6])
Столбцы таблицы: 1) номер буквы, 2) изображение буквы, 3) фонетическая транскрипция
4) используемая транслитерация, 5) числовое значение

грузинское посредничество, а именно более древнюю форму передачи имен, позднее скорректированную в обоих языках под греческим влиянием. Текстовые совпадения также отмечаются как с армянской и грузинской, так и с греческой и сирийской версиями библейских переводов. И хотя в нескольких местах структура албанского текста может объясняться только переводом с армянского, в целом все приводимые сходства не дают оснований для однозначных утверждений о языке-источнике – «они лишь доказывают, что албанская версия принадлежит к определенной традиции, в рамках которой разделяет наибольшее число сходств с армянской Библией и в меньшей степени со старыми вариантами грузинской, и которая на ранних этапах опиралась также (или испытала влияние) на сирийские модели» (I-36).

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКА ПАЛИМПСЕСТОВ

Открытие двух кавказско-албанских манускриптов позволило уточнить названия и фонетические значения большинства букв алфавита, известного по матенадаранской рукописи № 7117, – как за счет сравнения с современным удинским языком, так и за счет анализа передачи заимствованных слов. Кроме того, ссылки на фрагменты Священного Писания помогли определить числовые значения для 21 буквы в начале алфавита. В книге приводится сопоставительная таблица с вариантами предшествующих интерпретаций букв матенадаранской рукописи (принадлежащих А.Г. Шанидзе, А.Г. Абрамяну, В.Л. Гукасяну и С.Н. Муравьеву) и отдельно – таблица с теми вариантами букв и их предполагаемыми названиями, фонетическими и числовыми значениями, которые представлены в синайских палимпсестах (частично она воспроизведена на рис. 3). По принципу расположения букв кавказско-албанский алфавит следует за армянским аналогично тому, как сам армянский опирается на греческий. В армянском алфавите 22 буквы, имеющие греческие эквиваленты, расположены в той же последовательности, что и в греческом, а дополнительные 14 букв вставлены между ними (B-xxiv). Аналогично, 30 (или 29) кавказско-албанских букв, имеющих армянские эквиваленты, стоят на тех же местах, что и в армянском, тогда как прочие 22 (или 23) буквы вставлены между ними достаточно случайным образом. Это отличает кавказско-албанский и армянский от грузинского алфавита, в котором греческие буквы идут подряд в своем исходном порядке, а почти все дополнительные буквы размещены в конце (сопоставительная таблица греческого и трех закавказских алфавитов приводится на с. II-16, II-17).

Из 52 кавказско-албанских букв бесспорно могут быть идентифицированы фонетические значения 29 букв (ср. № 1–7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 29–31, 33, 35, 37, 40–46, 50–52 в таблице на рисунке 3). Для остальных 23 символов определение значений менее очевидно, поскольку они отсутствуют в заимствованиях и словах с удинскими эквивалентами, не имеют соответствий в армянском и грузинском алфавитах, редко встречаются (три буквы не отмечены в палимпсестах ни разу), а, кроме того, некоторые из «проблематичных» букв слишком похожи и не всегда различимы в рукописи. Среди этих 23 букв – предполагаемые обозначения для большинства аффрикат, велярного и увулярного фрикативного, «вторичных» (фарингализованных?) гласных и фарингального согласного, палатальных (палатализованных?) смычных и сонантов и некоторых других.

С поправкой на спорные прочтения некоторых букв, фонетическая система языка кавказско-албанских палимпсестов может быть восстановлена следующим образом. Из семи гласных (*i*, *ü*, *e*, *a*, *å*, *o*, *u*)[10] две, а именно – *ü* и *å*, вероятно, имели «фарингальную (ко)артикуляцию» (II-7). При этом фарингализованным гласным современного удинского языка соответствуют в основном сочетания фарингального согласного ʕ и «простой» гласной, ср. *vʕan* ‘вы’ ~ уд. *valn*, *ṗʕa* ‘два’ ~ уд. *ṗal*. В системе согласных отмечается троичное противопоставление звонкого, глухого и абруптивного у смычных и аффрикат; см. таблицу 1. В отличие от современного удинского, выделяется ряд палатализованных

[10] Две гласные всегда записывались в виде диграфов, ср. *ow* /u/ и *üw* /ü/. Седьмая буква алфавита, транслитерируемая как *ē*, использовалась для передачи дифтонга /ej/.

Таблица 1

Система согласных кавказско-албанского языка
(по [Gippert et al. 2009: II-17])

	смычные			аффрикаты			фрикативные		сонанты			
губные	*b*	*p*	*ṗ*				*v*	*f*	*m*			*(w)*
денто-альвеолярные	*d*	*t*	*ṭ*	*ʒ*	*c*	*ç*	*z*	*s*	*n*	*r*	*l*	
(палатализ.)	*d'*		*ṭ'*	*ʒ'*	*c'*	*ç'*			*n'*		*l'*	*y*
альвео-палатальные				*ǯ*	*č*	*č̣*	*ž*	*š*				
постальвеолярные				*ʒ́*	*ć*	*ć̣*	*ź*	*ś*				
велярные	*g*	*k*	*ḳ*				*ġ*	*x*				
увулярные		*χ/q*	*ġ*									
фарингальные							ʕ					
ларингальные								*h*				

денто-альвеолярных (*d'*, *ṭ'*, *ʒ'*, *c'*, *ç'*, *n'*, *l'*), а также упомянутый выше фарингальный согласный ʕ, впоследствии перешедший в признак дополнительной артикуляции гласных. Не вполне понятна фонологичность противопоставления *w* и *v*, а также точное соотношение между *x* и *χ*, которые не всегда различимы в рукописи и чисто графически (первый из них, по всей видимости, обозначал велярный фрикативный /x/, а второй – увулярный смычный /q/ либо фрикативный /χ/).

Кавказско-албанский язык – эргативный, с богатой падежной системой и субъектным личным согласованием. В именной группе существительное, как правило, располагается в конце, ему предшествуют артикль, прилагательное, числительное, указательное местоимение, зависимое в генитиве (последнее, впрочем, может и следовать за вершиной); имеются послелоги. Наряду с эргативной конструкцией у переходных глаголов и абсолютивной у непереходных, выделяется дативная конструкция, в которой дательным падежом оформляется субъект экспериенциальных глаголов типа *aḳesown* 'видеть', *čalxesown* 'знать, понимать', *bowġesown* 'любить, хотеть', *ihesown* 'слышать', *baχesown* 'находить' и др.

Имена существительные, как и в современном удинском языке, обладают категориями падежа и числа; общелезгинское противопоставление по роду (именному классу) в языке палимпсестов уже было утрачено. Структура именной словоформы имела вид «основа – показатель числа – показатель падежа», при этом единственное число было немаркированным, аффиксами множественного числа были *-owx*/*-owχ*. Падежная система в целом близка к удинской, однако с более развитой системой локативов, а также с морфологическим вокативом (звательным падежом). Образование косвенных падежей от особой косвенной основы с показателем *-n-* было свойственно лишь незначительному числу лексем. При этом основная масса падежных форм, а именно: три дательных и все локативные падежи – была образована на основе первичного датива с вокалическим окончанием *-a*, *-e*, *-i* или *-ow* (ср. *-V* в таблице 2).

Основной функцией абсолютива было обозначение субъекта непереходного глагола и пациенса переходного; эргатив обозначал агенс переходного глагола либо инструмент. Пациенс переходного глагола мог также обозначаться третьим дативом, хотя распределение этих двух средств не вполне ясно. Помимо этого, все три дательных падежа имели локативные функции (и обозначали нахождение либо направление), первый датив маркировал также адресата и экспериенцера, а второй датив – адресата речи. Локативные падежи (аблативы, эссивы, директив) главным образом выражали разного рода пространственные значения.

Таблица 2

Падежная система кавказско-албанского языка
(по [Gippert et al. 2009: II-23–II-27])[12]

Название	Аффиксы	Название	Аффиксы
Абсолютив	(не маркирован)	Датив 2	*-V-s*
Вокатив	*-e / -o*	Антеаблатив 1	*-V-staxoc*
Эргатив	*-en / -in, -e*		*-V-s-ax-oc*
Генитив 1	*-i / -y / -ya*	Суперэссив 1	*-V-l*
Генитив 2	*-own / -in*	Супераблатив	*-V-l-oc*
Датив 1	*-a / -e / -i / -ow*		*-V-l-ox-oc*
Аблатив 1	*-oc* (< *-V-oc* ?)		*-V-l-ostay*
Адэссив 1	*-V-k(a)*	Суперэссив 2	*-V-l-oš*
Адэссив 2	*-V-č*	Датив 3	*-V-x / -V-x*
Экватив	*-V-ġa*	Аблатив 2	*-V-x-oc*
Субэссив	*-V-q̇*	Суперэссив 3	*-V-x-ol*
		Антеаблатив 2	*-V-x-ostay*
		Комитатив	*-V-x-oš*
		Директив	*-V-x-ow*

Личные местоимения включали четыре единицы – *zow* ‘я’, *vown* ‘ты’, *žan* ‘мы’, *vˤan* ‘вы’; как и в удинском языке, они не противопоставляли формы абсолютива и эргатива. Система указательных местоимений, напротив, значительно отличалась от удинской. Так, к дальним демонстративам относилось три элемента, противопоставленных по роду: *o(o)* мужского рода, *aġ* женского и *ya/ee* среднего; с ними практически совпадали показатели субстантивации (так наз. *referentialisers*) прилагательных, причастий и наречий: ср. *-o* в мужском, *-aġ* в женском и *-o/-e* в среднем роде. Кроме того, выделялся определенный артикль (употребление которого в целом соответствует употреблснию армянских *-s*, *-d* и *-n*), также различавший формы рода, ср. соответственно *o*, *a* и *e*[11]. Прочие разряды местоимений, а также числительные, в целом были достаточно близки удинским.

Видо-временная система кавказско-албанского языка была достаточно небогатой, при этом в ней сохранялись элементы пралезгинского принципа образования глагольных основ. Всего у глагола выделяется четыре основы (прошедшего и настоящего времени, инфинитива и императива), которые, в частности, различаются тематической гласной – *-e* в прошедшем времени и инфинитиве и *-a* в настоящем времени и императиве; у глаголов «слабого» спряжения в прошедшем времени показателем был также *-a*. У нескольких глаголов при образовании основ использовался аблаут и инфиксы *-r-/-l-* либо *-e-*, имелись и глаголы с супплетивными основами: ср. соотношение основ прошедшего и настоящего времени *ihe- ~ aha-* ‘быть, стать’, *biya- ~ ba(a)* ‘делать’, *iga- ~ il'ega-* ‘бить’, *(ow)pe ~ (ow)ḳa* ‘говорить’. Следует также отметить, что морфологически простых глаголов было немного (всего около 30), а основная масса глагольных лексем

[11] По предположению авторов книги, артикли этимологически восходят к префиксальной серии общелезгинских показателей именного класса, ср. *w-* ‘1 кл.’ > *o* ‘муж. р.’, *y-/r-* ‘2 кл.’ > *a* ‘жен. р.’, *b/d* ‘3/4 кл.’ > *e* ‘ср. р.’ (II-38).

[12] Падежные формы, имеющие единичные употребления, не снабжены ярлыком; в случае локативных падежей многие ярлыки достаточно условны, поскольку примеры их употребления не всегда дают возможность точно определить значение формы.

имела составную структуру; больше всего было сложных глаголов со служебными компонентами *ihesown* 'быть, стать', *biyesown* 'делать', *(ow)pesown* 'говорить' и именной («инкорпорированной») частью.

К основным нефинитным формам относились инфинитив на *-es* (который имел формы основных падежей) и масдар на *-esown*, исторически производный от инфинитива; масдар используется и в качестве словарной формы глаголов. Причастия совпадали с наименее маркированными финитными формами (настоящим и прошедшим временем); помимо этого, в функции причастий употреблялось имя деятеля на *-al*, а также крайне редкие формы на *-ala* и *-ana*, дистрибуция которых в точности неясна. Ядро видо-временной системы индикатива составляли настоящее и прошедшее время, а также две производные от них аналитические формы – имперфект и плюсквамперфект, включавшие служебный элемент *-hey* (*-hē*), клитическую форму прошедшего времени глагола *ihesown* 'быть, стать'. Кроме того, выделялся целый ряд неиндикативных форм (см. таблицу 3), а также особые модальные конструкции со значением возможности и необходимости.

Отрицание выражалось при помощи нескольких показателей, функционировавших как проклитики: *te-* использовалось в основном с прошедшими временами, *now-* (иногда в виде *na-*, *ni-*, *n-*) – с непрошедшими, *nowt-* – в зависимых предложениях, а *ma-* сочеталось с императивом и гортативом-оптативом.

К клитикам относились и личные показатели, которые, помимо функции согласования с субъектом, выступали как средство выражения фокуса высказывания[13]. Личные клитики 1–2 лица происходили из личных местоимений и сохраняли явное сходство с последними (ср. *-zow* '1 л. ед. ч.', *-žan* '1 л. мн. ч.', *-nown* '2 л. ед. ч.', *-nan* '2 л. мн. ч.'); в роли показателя 3-го лица выступала *-n*/*-ne*, либо же 3-е лицо оставалось немаркированным. Как правило, выраженный показатель 3-го лица использовался лишь с формами системы претерита (прошедшее время, плюсквамперфект, оптатив), но не с формой настоящего времени и производными от нее. Согласование по третьему лицу нередко «усиливалось» анафорическими местоимениями в соответствующем падеже, ср. *heq̇ay-ne* 'он взял' с личной клитикой *-ne* и *heq̇ay-n-oen* 'он взял', где за клитикой *-n* следует местоимение *oen* в эргативе.

Для кавказско-албанского текста в высшей степени характерны цепочки клитик: помимо упомянутых выше показателей личного согласования, отрицания и глагольных служебных слов *hey*, *-en'e*, *-q̇a*, в клитические цепочки входили личные и указательные

---

[13] Яркой типологической особенностью удинского языка является наличие в нем «эндоклитик» – клитик, способных выступать не только на периферии словоформы, но и вклиниваться внутрь нее и даже внутрь глагольного корня (подробнее о данном явлении, а также об употреблении удинских клитик и их диахроническом развитии см. работы Э. Харрис, прежде всего ее монографию [Harris 2002]). В качестве примера ср. удинскую форму перфекта *ba-ne-ke* 'он был, стал', содержащую морфологически нечленимый корень *bak-* (возможна также форма *bake-ne*, в которой клитика 3-го лица *-ne* занимает конечную позицию). Й. Гипперт и В. Шульце отмечают, что в языке палимпсестов эндоклитизация «все еще крайне редка, если вообще присутствует» (II-52). Этот факт позволяет усомниться в гипотезе о происхождении удинского эндоклизиса, высказанной Э. Харрис: по ее мнению, личные показатели в удинском языке способны выступать внутри простой глагольной основы из-за того, что они в данном случае «наследуют» инфиксальную морфологическую позицию, свойственную классным показателям в лезгинских языках; при этом автор не исключает возможности того, что на каком-то этапе развития языка классные аффиксы и возникшие как инновация личные показатели могли сосуществовать (см. подробнее обсуждение в [Harris 2002: 213–222]). Однако в языке палимпсестов классные показатели уже были утрачены, а личные показатели уже сложились – при этом последние не отмечены в инфиксальных позициях, которые (предположительно) были свойственны первым. Это ослабляет гипотезу Э. Харрис о «наследовании позиции» (Slot Hypothesis): очевидно, в языке кавказско-албанских палимпсестов морфологическая «память» о существовании инфиксального «слота» в глагольной основе уже отсутствовала, так что последующий процесс внедрения личных морфем внутрь глагола скорее всего должен объясняться другими факторами.

Таблица 3

Основные глагольные формы кавказско-албанского языка
(по [Gippert et al. 2009: II-48–II-52]).

Название	Образование
Презенс	= основа наст. вр.
Имперфект	Презенс + *-hey*
Претерит	основа прош. вр. + *-y* (*-i*)
Плюсквамперфект	Претерит + *-hey*
Императив	= основа императива
Гортатив-оптатив	Претерит + *-q̇a*, Презенс + *-q̇a*
Кондиционал	Презенс + *-en'e*, Презенс + *-en'e* + *-hey*
Конъюнктив	= причастие на *-al* (+ *-anḳe*)

местоимения, относительные и неопределенные местоимения, некоторые союзы и наречия, а также фокусная частица *-al*. Согласно базовой схеме, в начале такой цепочки располагалась одна или несколько проклитик, затем шло опорное слово, более «тяжелая» энклитика и в конце несколько более «легких». В качестве примера ср., например, следующие комплексы:

(1) *te-zow-ari*
NEG-1SG-приходить. PST
'я не пришел' (II-55; Мф. 5:17)
(2) *now-besa-žan-hey*
NEG-искать.PRS-1PL-быть.PST
'мы не искали' (II-64; 1 Фес. 2:6)
(3) *powl-efa-anaḳe-oen-hey*
глаз-держать.PRS-поскольку-он.ERG-быть.PST
'поскольку он ожидал (букв. глаз держал)' (II-63; Евр. 11:26)
(4) *bisay-al-hanayṭ 'a-gåen-ḳe-zaχ-oen*
помазать.PST-FOC-который-из.за-REL-1SG.DAT3-он.ERG
'из-за чего он миропомазал меня' (II-61; Лк. 4:18)

В книге не обсуждаются собственно критерии выделения «клитик» в кавказско-албанском языке: по всей видимости, клитиками считаются все элементы, которые в тексте записаны слитно с опорным словом. Вряд ли комплексы типа приведенных выше *powl-efa-anaḳe-oen-hey* или *bisay-al-hanayṭ 'a-gåen-ḳe-zaχ-oen* представляли собой единые фонетические слова; впрочем, ставить вопрос о просодических особенностях кавказско-албанского языка на современном уровне его изученности еще явно преждевременно[14].

[14] В современном удинском языке комплексы типа двух последних из приведенных выше не встречаются. Согласно традиционной точке зрения, к клитикам в удинском относятся личные показатели, морфемы отрицания, фокусная частица *-al* 'тоже, даже' и некоторые видо-временные и модальные маркеры, – но не местоимения и наречия. При этом, по мнению ряда исследователей, применительно к личным показателям следует говорить скорее о (нестандартных) аффиксах, нежели о клитиках, см. подробнее обсуждение в [Luís, Spencer 2005; Luís 2009].

Авторы указывают на то, что их описание грамматики кавказско-албанского языка является «сугубо иллюстративным» и «не ставит целью обсуждение особенностей каждой категории, но предназначено для того, чтобы дать общий обзор значимых грамматических явлений» (II-21). Не все интерпретации приводимых Й. Гиппертом и В. Шульце примеров представляются вполне убедительными, однако в целом их очерк дает достаточно полное представление о языке палимпсестов.

Гораздо больше вопросов вызывают выводы авторов об истории и генетическом положении кавказско-албанского языка, которое рассматривается в специальном разделе. Здесь перечислены основные фонетические и морфологические процессы, происходившие в кавказско-албанском, а также предварительный список соответствий между языком палимпсестов и современным удинским. Соответствия эти не являются вполне систематическими, поэтому предполагается, что удинский язык скорее всего не является непосредственным потомком языка, представленного в найденных рукописях, но восходит к одному из близких кавказско-албанских диалектов. На основе некоторых грамматических черт (например, ограниченное использование косвенной основы на *-n-* или сохранение прошедшего времени на *-ay*) можно сделать вывод о том, что язык палимпсестов был чуть ближе к ниджскому диалекту. Тем самым, древнеудинский язык предположительно делился на ветвь, включавшую язык палимпсестов и предок ниджского диалекта, и другую ветвь, к которой восходит современный варташенский диалект (II-78).

Что касается кавказско-албанской лексики, представленной в палимпсестах, то примерно ее треть имеет параллели в удинском языке, некоторые слова можно сблизить с другими языками лезгинской группы, а около трети слов имеют неясную этимологию. Согласно общепринятой в настоящее время точке зрения, удинский язык образует отдельную ветвь лезгинской группы, наиболее рано отделившуюся от пралезгинского языка. Во вторую ветвь входят арчинский язык, также занимающий особое положение, и «самурская» подгруппа, которая, в свою очередь, делится на восточнолезгинскую (агульский, лезгинский и табасаранский), западнолезгинскую (рутульский и цахурский) и южнолезгинскую ветви (крызский и будухский). Авторы раздела высказывают достаточно революционную точку зрения о том, что удинский не образует отдельной ветви, а входит в самурскую подгруппу и, более того, внутри нее наиболее близок восточнолезгинским языкам[15]. По их мнению, на это указывает как анализ удинской и кавказско-албанской лексики, так и ряд грамматических изоглосс (к последним относятся, в частности, устройство системы дейктических местоимений, местоименная вопросительная основа **nay-* ‘какой’, использование чередований тематических гласных в видо-временных основах и пр.).

Лексикостатистический анализ, призванный продемонстрировать восточнолезгинскую природу кавказско-албанского и удинского языков, выглядит следующим образом. Для стословного списка Сводеша приводятся слова современных лезгинских языков и кавказско-албанские слова, зафиксированные в палимпсестах; указана также пралезгинская реконструкция соответствующих корней. Среди 74 кавказско-албанских слов, соответствующих значениям стословника, 41 слово имеет этимологические параллели в удинском; в целом же из всех кавказско-албанских и удинских слов 73 имеют соответствия хотя бы в одной из основных ветвей лезгинской группы. Критерием определения большей или меньшей близости кавказско-албанского / удинского к прочим лезгинским языкам является «фонетическое сходство» (*phonetic resemblance*): те слова современных языков, которые по форме наиболее близки кавказско-албанскому и/или удинскому (*best matches*), выделены полужирным. Так, например, сходными с удинским местоимением *zu* ‘я’ признаются агульское и лезгинское *zun* и табасаранское *uzu*, но не слова других языков, звучащие как *zə*, *zən*, *zon*; среди слов со значением ‘язык’ как сходные с удинским *muz* помечены слова тех языков, в которых они имеют вид *miz* или

[15] Впервые гипотеза о восточнолезгинской принадлежности удинского языка была упомянута в работе [Schulze 2005].

mez, но не арчинское *mac* и табасаранское *melz*, и т. п. Оказывается, что при таком подходе наибольшую близость кавказско-албанский / удинский проявляет именно к восточнолезгинской подгруппе: с агульским языком отмечается 31 сходство, с лезгинским и табасаранским по 21; со всеми остальными языками лезгинской группы сходств менее 20 (от 4 с арчинским до 15 с крызским). На основе этих подсчетов и делается вывод о том, что праудинский язык входил в восточнолезгинскую подгруппу, внутри которой образовывал общую ветвь с агульским и, возможно, также с лезгинским языком (впрочем, ничего не говорится о том, на чем основана эта вероятность большей близости праудинского к лезгинскому, но не табасаранскому – по числу «фонетических сходств» они не различаются).

Опора на поверхностное «фонетическое сходство» между родственными словами современных языков представляется крайне сомнительным приемом уточнения генетической классификации и трудно было ожидать, что именно к нему прибегнут такие квалифицированные специалисты, как Й. Гипперт и В. Шульце. Само понятие фонетического сходства никак не формализуется авторами, и в ряде случаев трактовка когнатов как «сходных» или «несходных» выглядит произвольной. Так, не очень понятно, почему, например, удинское *aḳ-* ‘видеть’ признается сходным с лезгинским *aḳun*, агульским *ag*^{w}- и табасаранским *argub*, но не с арчинским *ak:us* (в этих случаях *-n*, *-b*, *-s* являются аффиксами словарных форм глагола и не входят в основу) или почему кавказско-албанское *wun* сопоставляется с агульским, лезгинским и арчинским *wun* и табасаранским *uwu*, но не с крызским *vun*. Все такие неоднозначные случаи, число которых достаточно велико, прямо влияют на подсчеты.

Среди слов стословника встречаются заимствования (ср. удинское *tum* ‘семя’, предположительно из средне-иранского *tōxm*, *tōhm*), при этом не оговаривается, в каких случаях они учитываются. Не всегда понятен выбор диалекта, из которого берется слово стословника: в случае языков с большой диалектной дробностью (как, например, агульский или табасаранский) когнаты могут иметь существенные фонетические различия, и произвольный выбор одного из них для нужд «поверхностного» сравнения по сходству неизбежно приведет к искажению при подсчетах. Положение усугубляют также фонетические ошибки и неточности: ср., например, агульские слова *rak:* ‘солнце’, *axa ẋos* ‘знать’ или *qac'i-k'*- ‘кусать’, которые в таком виде не отмечены ни в одном диалекте (в действительности по диалектам зафиксированы *raʁ* / *raʕ* ‘солнце’, *χa-* / *χlu-* / *aχla-* / *aʔa-* / *jaʕa-* ‘знать’, а также сложный глагол *q'ac' ik'as* ‘кусать’, букв. ‘укус вкладывать’).

Вряд ли корректен и сам принцип сравнения только лишь кавказско-албанского / удинского языка с прочими лезгинскими: в случае, если авторы действительно верят в принцип «фонетического сходства», имело бы смысл провести попарное сравнение всех языков группы со всеми – не исключено, что в таком случае классификация приняла бы существенно иной вид (другим в таком случае могло оказаться и положение праудинского языка на генетическом древе)[16]. В целом, лексикостатистический анализ лезгинских языков и следующие из него выводы о генетической классификации кажутся нам наиболее слабым местом во всей книге. Даже если воспринимать всерьез гипотезу авторов о восточнолезгинской принадлежности удинского языка, вряд ли имело смысл обнародовать ее именно в издании палимпсестов, к тому же еще в столь «сыром» и недостаточно аргументированном виде.

---

[16] Ср. в этой связи метод автоматической классификации языков, при котором происходит попарное сравнение 40-словных списков более 4500 языков мира (записанных в единой ASCII-транскрипции); расстояние между двумя языками определяется как среднее арифметическое дистанций Левенштейна для всех 40 лексических единиц, древо языков строится методом «ближайшего соседа» [Brown et al. 2008]. При том, что фрагмент данного древа для кавказских языков не во всем совпадает с традиционной генетической классификацией, удинский язык при таком способе построения все равно занимает отдельное место среди лезгинских, не проявляя специфической близости ни к одному другому языку группы, см. [Müller et al. 2009].

4. ОБЩАЯ ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Подводя итоги, прежде всего отметим, что открытие и публикация кавказско-албанских палимпсестов, безусловно, знаменуют собой начало важного этапа в изучении истории и ранних контактов удинского языка, истории Кавказской Албании и типологии раннесредневековых библейских переводов в Закавказье. Книга «The Caucasian Albanian palimpsests of Mt. Sinai» – итог длительной работы целой исследовательской группы – впервые вводит в научный оборот огромный объем уникального языкового и исторического материала. Несомненно, за публикацией источников последуют дальнейшие обобщения и уточнения предварительных интерпретаций, что позволит вывести албановедение (прежде всего лингвистическое) на новый уровень.

Что касается недостатков и слабых мест данного издания, то они неизбежны для любой работы подобного масштаба. Отметим, в частности, небольшие расхождения при описании одних и тех же фактов в разных частях работы (в особенности в разделах, написанных разными авторами); они касаются, например, указания на размеры рукописи и количество строк и букв на странице, а также подсчетов, связанных с происхождением символов алфавита. Во Введении, содержащем исторический очерк с многочисленными отсылками к древним географическим названиям, ощущается нехватка исторической карты (или карт), которая бы позволила более наглядно представить себе ландшафт восточного Закавказья в описываемый период.

Основной из недочетов в представлении источника указан самими авторами и уже упоминался выше: размер и качество публикуемых во втором томе фотографий страниц рукописи не позволяет проверить правильность расшифровки конкретных букв и слов. В данном случае читатель может лишь следовать за авторами книги и воспринимать расшифрованный кавказско-албанский текст как данность, обращая более пристальное внимание уже на его морфологический и синтаксический анализ. Такой анализ возможен благодаря публикации в первом томе издания грамматического очерка и словаря языка палимпсестов. Можно, однако, сожалеть, что транскрипция текста не сопровождается подстрочным морфемным разбором (например, таким, который используется в иллюстративных примерах раздела II). Подобное представление кавказско-албанского оригинала значительно бы облегчило работу с ним неспециалистам, тем более что специалистов в области кавказско-албанской грамматики до сих пор просто не было – ранее за неимением сколько-нибудь представительных образцов текста на данном языке удавалось лишь предположительно идентифицировать несколько именных аффиксов, см. [Климов 1999: 459–460].

Знакомясь с текстом кавказско-албанских манускриптов, не следует забывать, что немалая его часть была реконструирована авторами in toto (главным образом это касается страниц Евангелия от Иоанна, нижний слой которых сохранился хуже и позволял прочесть менее половины написанного[17]). Как отмечают Й. Гипперт и В. Шульце, предположительное восстановление нечитаемого текста было сделано для того, чтобы «проверить вероятность правильной идентификации читаемых фрагментов», при этом реконструированная часть не претендует на полную аутентичность (V-1). Дальнейшие выводы о грамматической структуре кавказско-албанского языка, безусловно, должны базироваться лишь на оригинальных и достаточно надежно различимых фрагментах.

Как мы уже упоминали выше, в разделах книги, посвященных грамматике и истории кавказско-албанского языка, приводится множество сопоставлений с современным удинским, лексические параллели с другими языками нахско-дагестанской семьи, а также указывается пралезгинская реконструкция лексем 100-словного списка. При этом бросается в глаза почти полное отсутствие ссылок на работы как по удинскому и другим родственным языкам, так и по лезгинской реконструкции (тогда как во всех ос-

[17] Речь идет именно о сохранившихся страницах рукописи; по оценке авторов, всего текст Евангелия предположительно занимал 47 страниц, из которых до нас дошло 29 (V-1).

тальных описательных разделах издания подстрочных примечаний и ссылок очень много). Можно предположить, что источниками сведений по удинской грамматике послужили собственные работы авторов, прежде всего В. Шульце (см., в частности, [Schulze 1982; Schulze-Fürhoff 1994]), однако это следовало оговорить в более явном виде. Еще более неоднозначна ситуация с реконструируемыми пралезгинскими корнями – в настоящее время общепринятая реконструкция лезгинских языков отсутствует, и приводимый Й. Гиппертом и В. Шульце вариант, вероятно, основан на неопубликованной диссертации [Schulze 1988] и этимологическом словаре, прилагаемом к переизданию удинского Евангелия [Schulze 2001]. Данная версия реконструкции отличается от тех, которые представлены, например, в монографиях [Алексеев 1985] и [Талибов 1980] или в словаре [Nikolayev, Starostin 1994], при этом читатель лишен возможности судить, насколько оправдан выбор именно предлагаемого авторами варианта и как в целом выглядит пралезгинская система фонем в их представлении.

Открытие и публикация синайских палимпсестов пришлись на период всплеска интереса к удинскому языку, связанного как с появлением новых научных публикаций по его грамматике (ср. уже упоминавшуюся монографию Э. Харрис), так и с разработкой письменности для этого языка, остававшегося бесписьменным на протяжении многих веков. В 1990–2000-е гг. в Азербайджане были изданы сборники произведений на удинском языке, переиздан удинско-азербайджанско-русский словарь, ведется работа над новыми переводами библейских книг[18]. Постепенно происходит возрождение культурной и религиозной жизни удин – с 1990-х гг. действует культурно-просветительское общество «Орайин» («Родник»), в 2003 г. в Баку была зарегистрирована Албано-удинская христианская община, а в мае 2006 г. в селении Нидж был торжественно открыт отреставрированный христианский храм Св. Елисея.

Тем самым, публикация кавказско-албанских рукописей в данное время как никогда актуальна и позволит хотя бы частично удовлетворить возросший интерес к истории удин, их языку и культуре. Хочется также надеяться, что открытие палимпсестов Sin. Geo N 13 и Sin.Geo N 55 в Синайском монастыре станет не последним и корпус источников по кавказско-албанскому языку со временем увеличится.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамян 1964 – *А.Г. Абрамян.* Дешифровка надписей кавказских агван. Ереван, 1964.

Абуладзе 1938 – *И.В. Абуладзе.* К открытию алфавита кавказских албанцев // Известия Института языка, истории и материальной культуры им. акад. Н.Я. Марра. 1938. Т. 4. № 1.

Алексеев 1985 – *М.Е. Алексеев.* Вопросы сравнительно-исторической грамматики лезгинских языков. Морфология. Синтаксис. М., 1985.

Алексеев и др. 2008 – *М.Е. Алексеев, Т.А. Майсак* (отв. ред.). Удинский сборник: грамматика, лексика, история языка. М., 2008.

Алексидзе 1997 – *З.Н. Алексидзе.* К открытию письменности Кавказской Албании // Festschrift für Fairy von Lilienfeld. Berlin, 1997.

Алексидзе 1999 – *З. Алексидзе.* Новые памятники письменности Кавказской Албании // Христианский Восток. Новая серия. 1999. Т. 1 (7).

Гукасян 1968 – *В.Л. Гукасян.* К дешифровке албанских надписей Азербайджана // Этимология 1966. М., 1968.

Гукасян 1969 – *В.Л. Гукасян.* Опыт дешифровки албанских надписей Азербайджана // Известия АН Азербайджанской ССР. 1969. № 2.

Гукасян 1971 – *В.Л. Гукасян.* О новонайденном списке албанского алфавита // Советская тюркология. 1971. № 2.

[18] Документация и научное изучение удинского языка проводятся и в нашей стране – так, в 2007 г. в Астрахани был опубликован сборник удинского фольклора, составленный В.В. Дабаковым [Dabakov 2007]; в 2008 г. в Москве вышел «Удинский сборник» [Алексеев и др. 2008] – первая книга по удинской грамматике на русском языке со времен А. Дирра (см. [Дирр 1904]), т.е. более чем за 100-летний период.

Дирр 1904 – *А. Дирр*. Грамматика удинского языка // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XXXIII. Тифлис, 1904.

Евангелие 1902 – Господа Нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна на русском и удинском языках // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа / Пер. С. Бежанова. Вып. XXX. Тифлис, 1902.

Климов 1967 – *Г.А. Климов*. К состоянию дешифровки агванской (кавказско-албанской) письменности // ВЯ. 1967. № 3.

Климов 1970 – *Г.А. Климов*. К чтению двух памятников агванской (кавказско-албанской) эпиграфики // ВЯ. 1970. № 3.

Климов 1972 – *Г.А. Климов*. Заметки по дешифровке агванской (кавказско-албанской) письменности // ИАН СЛЯ. 1972. № 1.

Климов 1976 – *Г.А. Климов*. Вопросы дешифровки агванского (кавказско-албанского) письма // Тайны древних письмен. М., 1976.

Климов 1999 – *Г.А. Климов*. Агванский язык // Языки мира. Кавказские языки. М., 1999.

Корюн 1962 – *Корюн*. Житие Маштоца / Пер. Ш.В. Смбатяна и К.А. Мелик-Огаджаняна. Ереван, 1962.

Кузнецов 1999 – *И.В. Кузнецов*. Заметки к изучению агванского (кавказско-албанского) письма (I. – III.) // И.В. Кузнецов (сост.). Удины: источники и новые материалы. Краснодар, 1999.

Лолуа 2008 – *Р. Лолуа*. Проблемы современной албанологии. I. Кавказско-албанский алфавит (критический обзор источников). II. Внутренняя форма кавказско-албанского алфавита // М.Е. Алексеев, Т.А. Майсак (отв. ред.). Удинский сборник: грамматика, лексика, история языка. М., 2008.

Муравьев 1981 – *С.Н. Муравьев*. Три этюда по кавказско-албанской (алуанской) письменности // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. 1981. Т. VIII.

Талибов 1980 – *Б.Б. Талибов*. Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980.

Шанидзе 1938 – *А.Г. Шанидзе*. Новооткрытый алфавит кавказских албанцев и его значение для науки // Известия Института языка, истории и материальной культуры им. акад. Н.Я. Марра. 1938. Т. 4. № 1.

Alek'sidze 1998 – *Z. Alek'sidze*. Albanuri mcerlobis dzegli sinas mt'aze da misi mnišvneloba kavkasiologiisat'vis (Georgian-Albanian palimpsest on Mt. Sinai and its relevance to caucasian studies / Памятник албанской письменности на Синайской горе и его значение для кавказоведения). Tbilisi, 1998.

Brown et al. 2008 – *C.H. Brown, E.W. Holman, S. Wichmann, V. Velupillai*. Automated classification of the world's languages: A description of the method and preliminary results // STUF – Sprachtypologie und Universalienforschung. 2008. V. 61. № 4.

Dabakov 2007 – *V.V. Dabakov* (сост.). Udiğoy folklor: Nağılxo. Legendoox. Астрахань, 2007.

Gippert et al. 2007 – *J. Gippert, Z. Sarjveladze, L. Kajaia* (eds.). The Old Georgian palimpsest. Codex Vindobonensis Georgicus 2. Turnhout, 2007.

Gippert et al. 2009 – *J. Gippert, W. Schulze, Z. Aleksidze, J.-P. Mahé* (eds.). The Caucasian Albanian palimpsests of Mt. Sinai. 2 vols. Turnhout, 2009.

Gippert, Schulze 2007 – *J. Gippert, W. Schulze*. Some remarks on the Caucasian Albanian palimpsests // Iran and the Caucasus. 2007. V. 11. № 2.

Harris 2002 – *A. Harris*. Endoclitics and the origins of Udi morphosyntax. Oxford, 2002.

Kurdian 1956 – *H. Kurdian*. The newly discovered alphabet of Caucasian Albanians // Journal of the Royal Asiatic society of Great Britain and Ireland. 1956. № 1–2.

Luís 2009 – *A. Luís*. Patterns of clitic placement: Evidence from 'mixed' clitic systems // P. Epps, A. Arkhipov (eds.). New challenges in typology: Transcending the borders and refining the distinctions. Berlin; New York, 2009.

Luís, Spencer 2005 – *A. Luís, A. Spencer*. Udi clitics: A Generalized Paradigm Function Morphology approach // Essex research reports in linguistics. 48. Colchester, 2005.

Müller et al. 2009 – *A. Müller, V. Velupillai, S. Wichmann, C.H. Brown, P. Brown, E.W. Holman, D. Bakker, O. Belyaev, D. Egorov, R. Mailhammer, A. Grant, K. Yakpo*. ASJP World language tree of lexical similarity: Version 2 (April 2009). URL: http://email.eva.mpg.de/~wichmann/language tree.htm

Nikolayev, Starostin 1994 – *S.L. Nikolayev, S.A. Starostin*. A North Caucasian etymological dictionary. Moscow, 1994.

Schulze 1982 – *W. Schulze*. Die Sprache der Uden in Nordazerbajdžan. Studien zur Synchronie und Diachronie einer süd-ostkaukasischen Sprache. Wiesbaden, 1982.

Schulze 1988 – *W. Schulze.* Protolezgica: Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südostkaukasischen (lezgischen) Grundsprache. Habilitationsschrift. Bonn, 1988.

Schulze 2001 – *W. Schulze.* The Udi Gospels. Annotated text, etymological index, lemmatized concordance. Munich; Newcastle, 2001.

Schulze 2001/2003 – *W. Schulze.* Caucasian Albanian (Aluan): The language of the 'Caucasian Albanian' (Aluan) palimpsest from Mt. Sinai and of the 'Caucasian Albanian' inscriptions (01.08.2001 / Revised version 07.09.2003). URL: http://www.lrz-muenchen.de/~wschulze/Cauc_alb.htm

Schulze 2005 – *W. Schulze.* Towards a history of Udi // International journal of diachronic linguistics. 2005. V. 1.

Schulze-Fürhoff 1994 – *W. Schulze-Fürhoff.* The Udi language. A grammatical sketch // R. Smeets (ed.). The indigenous languages of the Caucasus. V. IV. North East Caucasian languages. Part 2. Delmar (N. Y.), 1994.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2010

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 2010 г. Ю.Л. КУЗНЕЦОВА, Т.В. ВЕЛЕЙШИКОВА

СОВРЕМЕННЫЕ КОРПУСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ

В обзоре рассматриваются новые методы и возможности современной корпусной лингвистики, в том числе связанные с применением статистики и автоматического анализа сочетаемости слов. Наибольшее внимание уделяется работам Ст. Гриса (США) и А. Стефановича (Германия).

В настоящем обзоре будут рассмотрены некоторые новые подходы и методы, в последние годы интенсивно применяемые к анализу данных различных языков. Общим компонентом всех рассматриваемых подходов является прежде всего их корпусный характер: как это и вообще характерно для современной лингвистики, обращение к корпусам различного рода буквально на наших глазах становится практически обязательным для любой серьезной работы, претендующей на надежность и достоверность получаемых результатов.

Авторы выбрали для анализа группу работ, так или иначе связанную с деятельностью двух современных лингвистов, входящих в число наиболее активных сторонников корпусных методов: это Стефан Грис (в настоящее время работает в Калифорнийском университете Санта-Барбары, США) и Анатоль Стефанович (в настоящее время работает в Бременском университете, Германия). Как представляется, многочисленные публикации этих двух авторов (индивидуальные и совместные), а также сборники, выпущенные под их редакцией, дают наиболее адекватное представление о многих важных гранях современной корпусной лингвистики.

Настоящий обзор состоит из двух частей. В первой части (написанной Ю.Л. Кузнецовой) будет охарактеризован метод коллострукционного анализа, предложенный в ряде недавних работ Ст. Гриса и А. Стефановича. Во второй части (написанной Т.В. Велейшиковой) будет дан более подробный анализ сборника статей по когнитивным и корпусным методам изучения языков, выпущенного под редакцией Гриса и Стефановича [Gries, Stefanowitsch (eds.) 2007].

1. КОЛЛОСТРУКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Коллострукционный анализ – это название, объединяющее несколько методов лингвистического анализа, созданных Ст. Грисом и А. Стефановичем. Название «коллострукция» (англ. collostruction) происходит от сложения двух слов *collocation* ‘коллокация’ и *construction* ‘конструкция’. Методы, объединенные под этим названием, находятся на стыке лингвистики и статистики. В качестве лингвистической теории авторы используют терминологию и методы теории грамматики конструкций, созданной Ч. Филлмором [Fillmore 1989; Fillmore, Kay 1995; Goldberg 1995; 2006; Tomasello 2003; Fried, Boas 2005 и др.]. В основе лежит метод, являющийся развитием коллокационного метода

анализа, в рамках которого исследуется, какие слова наиболее частотно встречаются в том или ином контексте. Примером коллокационного анализа может служить разбор различий между *actually* 'действительно' и *in fact* 'на самом деле' в [Oh 2000] или исследование сочетаемостных свойств слов *between* 'между' и *through* 'сквозь' в [Kennedy 1991]. Поиск наиболее частотных вариантов заполнения слота конструкции дает авторам значительные преимущества, в результате которых он становится более «прицельным». Например, использование конструкций позволяет учитывать морфологические ограничения на поиск: так, если известно, что в исследуемой конструкции глагол встречается только в прошедшем времени, это дает возможность отбросить много ненужных контекстов.

Коллострукционный анализ включает в себя три основных метода:

- колексемный анализ, служащий для измерения степени притягивания / отторжения данной леммы относительно слота конструкции;
- различительный колексемный анализ, измеряющий какую из двух схожих функционально конструкций предпочитает конкретная лексема;
- ковариация колексем – метод, позволяющий измерить насколько часто одна лексема в одном из слотов употребляется одноверменно с определенными лексемами в других слотах.

Рассмотрим действие каждого из этих методов на конкретных примерах. Сначала опишем поведение английской конструкции *N waiting to happen* с точки зрения коллострукционного анализа и покажем, в чем преимущества этого подхода по сравнению с коллокационным. Обратимся к конкордансу словосочетания *waiting to happen*, составленному традиционным образом. Такой список имеет несколько очевидных недостатков. Все они являются следствием того факта, что линейная структура отнюдь не всегда непосредственно отражает синтаксическую структуру. Например, посмотрев на данные в таблице 1, читатель может подумать, что *business*, *horizon* и *company* занимают именной слот конструкции *N waiting to happen*. Однако, если мы рассмотрим их синтаксическую структуру более подробно, выяснится, что примеры 14, 24 и 28 в таблице 1 покажут нам, что эти существительные являются частью других синтаксических единиц и только случайно находятся непосредственно перед словосочетанием *waiting to happen*. Другую проблему традиционного конкорданса можно проиллюстрировать на примере слов *recovery* и *it*, которые, несмотря на то, что они занимают именной слот конструкции (строки 12 и 28 в таблице 1), не появляются в списке в таблице 2, содержащей коллокации данной конструкции. Это происходит потому, что в соответствующих предложениях эти слова не стоят непосредственно перед *waiting to happen*. Таким образом, можно видеть, что конкорданс дает нам не всегда точное представление о словах, заполняющих слоты конструкции.

А. Стефанович и Ст. Грис предлагают более трудоемкий, но дающий более точные результаты способ: вручную разметить элементы, заполняющие слоты конструкции. Однако, если то или иное слово часто встречается в определенном слоте конструкции, это еще не говорит о том, что конструкция предпочитает это слово. Возможно, частотность слова *accident* очень высока в исследуемом корпусе, и только поэтому оно так часто встречается в конструкции *waiting to happen*. Для того чтобы исключить такую возможность, авторы сравнивают частотность слов в корпусе с частотностью слов в конструкции. Для этого они пользуются тестом Фишера и сравнивают четыре переменных: количество употреблений слова *accident* в конструкции, количество употреблений слова *accident* в корпусе, количество употреблений конструкции *waiting to happen* с другими словами в именном слоте и общее число конструкций в корпусе (ср. таблицу 3). В результате А. Стефанович и Ст. Грис могут сравнить, совпадает ли распределение переменных в именном слоте с распределением тех же переменных в корпусе. Если одна из переменных встречается в конструкции чаще, чем это предсказывает распределение в корпусе, то о такой переменной говорят, что она «притягивается» (attract), а если реже, чем предсказывает распределение в корпусе, что она «отталкивается» (repel).

Таблица 1

Конкорданс конструкции *waiting to happen* (отсортирован по L1)

#	left context	node	right context
1	Stewart said that there was an accident	waiting to happen	and he feared lives would be lost.
2	the horse's knees. It was an accident	waiting to happen."	Recall stewards, dressed in day-glo bibs,
3	you had a cartoon about an accident	waiting to happen.	You could have saved the cartoonists fee
4	Unless, of course, it was an accident	waiting to happen.	That insurer has 1,500 appointed
5	"Why?" "Because Stud's like an accident	waiting to happen,	that's why." "Oh, fuck off, Joey! I'm
6	the site say it was an accident	waiting to happen.	Video-Taped report follows JESSICA
7	the building means it was an accident	waiting to happen.	Unfortunately last night an accident did
8	the horse's knees. It was an accident	waiting to happen."	Blow for "blot on landscape" golf range
9	the return of his body. An accident	waiting to happen.	Charity stunt learn warned you're playing
10	of it. Bands like that are accidents	waiting to happen	in a world where 99 per cent
11	actions which arc little more than accidents	wailing to happen.	A little more patience and consideration on
12	yesterday: "I think the recovery has been	waiting to happen	for the last couple of months. It
13	Saturday was an accident that had been	waiting to happen.	I wrote to Sir Bob Reid, the
14	accident at the heart of the company	waiting to happen:	now IBM's signalling of the death of
15	not matter was the real constitutional crisis	waiting to happen,	vindication to all those Euro-sceptics who
16	which Coleman warned him of the "disaster	waiting to happen".	The identity papers seized by the FBI
17	– I'm pulling. "This is a disaster	waiting to happen,"	he added, in a prophecy that would
18	who said that it was "a disaster	waiting to happen".	Our hospitals are so short of cash
19	just had to be one monumental disaster	waiting to happen,	Leith later realised. But to start with,
20	marriage to Mandy Smith was a disaster	waiting to happen.	Urging Jagger to rebuild his marriage with
21	is a graphic example of a disaster	waiting to happen.	Over the weekend all attempts to salvage
22	one of these may be a disaster	waiting to happen.	In Lancashire towns like Oldham, Bolton
23	described in The Independent as" a disaster	waiting to happen".	The management of the economy has
24	– "Well – for a business disaster	waiting to happen,	you seem to have come off remarkably
25	develops this theme, identifying "disasters	waiting to happen"	associated with liquified natural gas, oil and
26	events of this week were an earthquake	waiting to happen.	Historians will argue over what was the
27	the first-half goal rush was an event	waiting to happen.	Young wingers are like young spin bowlers;
28	As if it [sex]'s just over the horixon,	waiting to happen	to me, as weird and wonderful as
29	residents are certain that "an accident is	waiting to happen".	Their fears – which focus on a
30	arguments that a new industrial revolution is	waiting to happen	in space are, for now, unconvincing. The
31	Cause" was a carefully planned invasion just	waiting to happen,	poised at the starting gate for the
32	and I can feel the dream jusl	waiting to happen,	gathering its energies from somewhere on
33	a graphic illustration of the disaster that's	waiting to happen	out there." Stuck fast: the Bettina Danica
34	in food production. A disaster was	waiting to happen.	Like so many cash crops, sugar is
35	that there may be many more Welkoms	waiting to happen.	and if racial conflict does spread in

В таблице 4 представлены элементы, притягивающиеся к именному слоту конструкции *waiting to happen*.

Нужно отметить, что самый высокий рейтинг притягивания у слов *accident* и *disaster*, лидировавших в конкордансе конструкции *wating to happen*. Таким образом, получается, что простой конкорданс дает для конструкции *waiting to happen* почти такие же результаты, как и коллострукционный анализ. В чем же преимущество данного метода?

Преимущество его станет видно, если мы обратимся не к лексическим, а к грамматическим конструкциям. Например, такой же метод может быть применен к любой грамматической форме. А. Стефанович и Ст. Грис [Stefanowitsch, Gries 2003] применяют свой метод к прогрессиву в английском языке (конструкции *be + V-ing*). Если соста-

Таблица 2

Частотность слов, встречающихся в левом и правом контекстах *waiting to happen*

L2		L1		Rl		R2	
an	11	accident, disaster	9	in	3	the	2
a	6	accidents, been,	2	and, the, you	2	a, added, at,	1
the	3	is, just		a, associated,	1	could, fears, for,	
disaster	2	company, crisis,	1	blow, charity, for,		he, hospitals,	
accident, are,	1	disasters, earth-		gathering, he,		IBM's, identity,	
business,		quake, event,		historians, I,		if, insurer, its,	
constitutional,		horizon, that's,		Leith, like, now,		Jagger,	
dream, had, has,		was, Welkoms		our, out, over,		Lancashire, last,	
identifying,				poised, recall,		later, little,	
invasion,				that, that's, their,		management,	
monumental,				to, unfortunately,		me, report, seem,	
more,				urging,		so, space,	
revolution, than				video-taped,		stewards, stunt,	
				vindication,		there, to, why,	
				young		will, wingers,	
						with, wrote	

Таблица 3

Кросстабуляция слова *accident* и конструкции *waiting to happen*

	accident	¬ accident	Row totals
[N *waiting to happen*]	*14*	21	*35*
¬ [N *waiting to happen*]	8,606	10,197,659	10,206,265
Column totals	*8,620*	10,197,680	*10,206,300*

Таблица 4

Колексемы, наиболее сильно притягивающиеся к именному слоту конструкции *waiting to happen*

Collexeme (n)	$P_{Fisher\ exact}$ (collostruction strenght)
accident (14)	2.12E-34
disaster (12)	1.36E-33
welkom (1)	4.46E-05
earthquake (1)	2.46E-03
invasion (1)	7.10E-03
recovery (1)	1.32E-02
revolution (1)	1.68E-02
crisis (1)	2.21E-02
dream (1)	2.45E-02
it (sex) (1)	2.83E-02
event (1)	6.92E-02

вить обычный конкорданс глаголов в прогрессивной форме, такой список просто отразит частотность глаголов. Интересно понять, однако, какие глаголы **тяготеют** к данной форме, то есть встречаются в этой форме чаще, чем распределение формы в корпусе предсказывало бы. Для этого необходимо узнать, сколько в целом в корпусе встречается глагольных форм и какую долю от них занимают формы прогрессива. Эти цифры необходимо сравнить с количеством форм данного глагола и долей прогрессива среди форм конкретного глагола. Если доля прогрессива для конкретного глагола будет выше среднестатистической, то такой глагол «притягивается» к прогрессивной конструкции, если ниже – «отталкивается».

Таблица 5

Пример таблицы с данными для точного критерия Фишера: глагол *сказать*

	все глаголы	сказать
V	27 616 742	421 203
V, praet	14 348 054	284 115

Коэффициент силы взаимодействия подсчитывается при помощи точного критерия Фишера. Этот критерий используется для оценки взаимодействия двух факторов и применяется к таблице из четырех элементов, такой, как таблица 5. Например, в качестве таких факторов могут служить лексема и грамматическая форма глагола, в таблице 5 приведены данные из Национального корпуса русского языка, характеризующие употребление глагола *сказать* в прошедшем времени. Первая пара цифр показывает, сколько глаголов встречается в корпусе и сколько из них употреблены в форме прошедшего времени. Вторая пара цифр представляет данные о глаголе *сказать*: сколько раз этот глагол встречается в корпусе и сколько раз он встречается в форме прошедшего времени. Сравнив первую пару цифр, мы видим, что в среднем прошедшее время глагола занимает 52 % от всех форм глагола, т. е. чуть больше половины. Если глагол *сказать* употребляется в форме прошедшего времени среднестатистически, то для этого глагола должно быть верно такое же процентное соотношение, то есть формы прошедшего времени должны занимать 52 % от всех форм глагола *сказать*. Данный глагол употребляется в корпусе всего 421 203 раза. 52 % от этого числа – это 218 832. Сравнивая это число с реальным употреблением форм прошедшего времени 284 115, мы видим, что глагол *сказать* употребляется в прошедшем времени чаще, чем среднестатистический глагол в корпусе – в 67 % случаев, то есть глагол *сказать* в терминологии А. Стефановича и Ст. Гриса притягивается к конструкции прошедшего времени. Это легко объяснить – ведь данный глагол в прошедшем времени часто употребляется для оформления прямой речи в тексте.

Однако трудно себе представить, что какой-нибудь глагол употреблен в корпусе в прошедшем времени в точности в 52 % случаев. Например, глагол *сказать* мог быть употреблен в прошедшем времени в 218 800 случаев (на 32 примера меньше, чем 52 %). Является ли разница в 32 примера достаточным основанием для того, чтобы говорить о серьезном отличии от среднестатистических 52 %? На этот вопрос помогает ответить точный критерий Фишера. Этот критерий предсказывает, какова вероятность того, что наблюдаемое распределение получилось случайно, что и является вероятностью того, что два сравниваемых параметра независимы. Например, если бы в таблице 5 стояло число 218 800, то вероятность независимости факторов была бы 0,94, то есть очень близка к 1. Для таблицы 5, в том виде, как она представлена выше, вероятность независимости факторов равна 0, то есть притягивание глагола *сказать* к конструкции прошедшего времени является статистически значимым[1]. Таким образом, мы видим, что

[1] Обычно о статистической значимости говорят, если вероятность того, что такое распределение получилось бы случайным образом, меньше, чем 0,05.

результаты критерия Фишера хорошо соотносятся с нашей интуицией. В случаях, когда нам кажется, что отличие от предсказанной цифры невелико, критерий Фишера дает вероятность независимости близкую к 1. В случае же, если отличие кажется нам существенным – вероятность независимости, согласно критерию Фишера, низкая. Далее мерой силы притягивания и отталкивания будет вероятность независимости факторов, полученная в результате применения точного критерия Фишера. Причем эта вероятность может одинаково характеризовать как силу притягивания, так и силу отталкивания.

Возвращаясь к прогрессивной конструкции в английском языке, можно задуматься о том, какие глаголы должны притягиваться и отталкиваться от прогрессивной конструкции? Эта конструкция, как известно (см. например [Jespersen 1931: 178; Dowty 1979: 145]), обозначает, что ситуация, названная глаголом, находится в процессе развития. Это, в свою очередь, говорит о том, что стативные глаголы, которые означают такие ситуации, которые не могут развиваться, встречаются в данной форме очень редко и только в специальных контекстах, ср. [Lakoff 1970: 121]. В таблице 6 представлены лексемы «притягивающиеся» и «отталкивающиеся» от прогрессивной формы. Можно видеть, что результаты коллострукционного анализа именно таковы, как предсказывает

Таблица 6

Прогрессивная форма: притягивающиеся и отталкивающиеся колексемы

attracted		repelled	
Collexeme (n)	Collostruction strength	Collexeme (n)	Collostruction strength
talk (234)	1.32E-94	be (448)	0
go (640)	1.08E-89	know (31)	1.01E-63
try (282)	8.86E-84	think (160)	4.05E-34
look (371)	4.41E-77	see (72)	6.36E-31
work (250)	2.14E-68	have (247)	1.93E-29
sit (100)	2.55E-57	want (44)	6.51E-21
wait (88)	6.17E-38	mean (15)	7.72E-17
do (539)	2.16E-36	need (5)	1.11E-14
use (264)	3.18E-29	seem (3)	1.02E-10
come (348)	9.65E-26	believe (11)	3.44E-09
run (113)	1.75E-25	call (30)	3.32E-08
move (104)	5.8E-19	put (93)	6.7E-08
live (101)	1.97E-17	remember (12)	9.49E-08
deal (57)	2.19E-16	find (56)	4.58E-07
walk (55)	9.34E-16	include (6)	2.76E-06
watch (46)	2E-15	agree (9)	4.45E-06
wear (48)	3.76E-14	base (2)	2.04E-05
write (123)	1.58E-13	set (34)	3.39E-05
listen (42)	2.18E-12	sound (6)	3.55E-04
seek (48)	8.66E-11	concern (3)	3.92E-04
fight (32)	2.63E-10	imagine (2)	4.97E-04
stand (57)	4.97E-10	let (10)	5.83E-04
study (31)	1.67E-09	mention (8)	1.04E-03
plan (28)	1.87E-09	exist (4)	1.13E-03
increase (54)	2.36E-09	get (294)	1.27E-03
sing (25)	3.54E-09	regard (2)	1.27E-03
approach (25)	5.13E-09	require (12)	1.3E-03
depend (43)	6.21E-09	marry (1)	1.86E-03
speak (71)	1.24E-08	stop (7)	2.13E-03
sell (38)	1.46E-08	indicate (3)	2.29E-03

традиционный анализ. 30 глаголов, которые сильнее всего отталкиваются конструкцией, – это стативы, и лидирует среди них «самый стативный» глагол *be* 'быть'.

В этой таблице и далее число в скобках сразу после лексемы указывает точное количество искомых форм данной лексемы, найденных в корпусе. Можно видеть, что само это число мало связано с притягиванием или отталкиванием, так форма *being* была обнаружена в прогрессивной конструкции 448 раз, однако в сравнении с общим количеством употреблений глагола *be* это так мало, что вероятность случайности такого совпадения равна 0, ср. колонку справа от лексемы, где как раз находится число, которое характеризует силу наблюдаемого взаимодействия (притягивания или отталкивания). В результате глагол *be* охарактеризован как отталкивающийся от прогрессивной конструкции, несмотря на 448 встретившихся примеров употреблений. Коэффициент силы взаимодействия представлен в следующем формате: слева от символа E находится коэффициент, который необходимо умножить на 10 в степени, указанной справа от символа E. Так, например, 1.86E-03 следует читать, как $1.86^{*}\ 10^{-3} = 0.00186$. Из таблицы 6 можно видеть, что самыми сильно притягивающимися к прогрессивной конструкции являются лексемы *talk* и *go*. Первая встретилась в прогрессивной конструкции 234 раза, а вторая – 640 раз. Вероятность случайности такого результата в обоих случаях очень близка к 0, то есть мы имеем дело со статистически значимым притягиванием.

Другим интересным применением коллострукционного анализа является сравнение двух близких конструкций. А. Стефанович и Ст. Грис [Gries, Stefanowitsch 2004] среди других примеров разбирают две известные конструкции английского языка: так называемую дитранзитивную конструкцию (1a) и конструкцию с *to* (1b). Во многих работах утверждается, что эти конструкции различаются только синтаксически (см., например [Burt 1971]) или только на уровне информационной структуры (ср. [Erteschik-Shir 1979: 443, 449; Thompson 1990: 245]), с точки же зрения семантики между этими двумя конструкциями нет различия: и та и другая означает передачу объекта адресату. В других работах отстаивается семантическая природа различий между двумя конструкциями и утверждается, что дитранзитивная конструкция используется при малой дистанции между субъектом и адресатом, а конструкция с *to* при большой дистанции [Thompson, Koide 1987: 400]. В некоторых работах предлагается дальнейшее уточнение этого различия: дитранзитивная конструкция означает 'X заставляет Y получить Z', в то время как конструкция с *to* означает 'X заставляет Z переместиться к Y' (ср. [Goldberg 1995: Section 2.3.1, Chapters 5–7; Pinker 1989; Gropen et al. 1989: 243]).

(1) a. John sent Mary the book.
b. John sent the book to Mary.
'Джон послал книгу Мэри'.

Если изучить, какие лексемы притягиваются к этим двум конструкциям, можно получить ответ на вопрос, какова природа различия между ними. Если различие между конструкциями только в синтаксической структуре или только в информационной структуре, то набор притягивающихся лексем должен быть одинаковым в обоих случаях. Если же различие между конструкциями семантическое, то лексемы, притягивающиеся к конструкциям, будут разными и будут отражать семантические ограничения каждой из конструкций.

В этой таблице после каждой лексемы в скобках указано количество употреблений этой лексемы в обеих исследуемых конструкциях: сначала количество найденных употреблений данного глагола в дитранзитивной конструкиции, а затем количество употреблений этого же глагола в конструкции с *to*. В шапке таблицы приведено количество найденных в корпусе примеров обеих конструкций. Можно видеть, что в исследуемом корпусе было обнаружено 1 035 примеров дативной конструкции и 1 919 примеров конструкции с *to*, то есть среднестатистическое соотношение между конструкциями примерно 1 к 2. Глагол *give* – самый яркий представитель дативной конструкции – имеет значительный «перекос» в сторону дативной конструкции: соотношение его примеров – приблизительно 4 к 1. Если бы у глагола *give* было бы среднестатистическое распределение,

Таблица 7

Лексемы, притягивающиеся к дитранзитивной и конструкции с *to*

Ditransitive (N = 1,035)		*To*-dative (N = 1,919)	
Collexeme	Distinctiveness	Collexeme	Distinctiveness
give (461:146)	1.84E-120	bring (7:82)	1.47E-09
tell (128:2)	8.77E-58	play (1:37)	1.46E-06
show (49: 15)	8.32E-12	take (12:63)	0.0002
offer (43: 15)	9.95E-10	pass (2:29)	0.0002
cost (20:1)	9.71E-09	make (3:23)	0.0068
teach (15:1)	1.49E-06	sell (1:14)	0.0139
wish (9:1)	0.0005	do (10:40)	0.0151
ask (12:4)	0.0013	supply (1:12)	0.0291
promise (7:1)	0.0036	read (1:10)	0.0599
deny (8:3)	0.0122	hand (5:21)	0.0636
award (7:3)	0.0260	feed (1:9)	0.0852

то на 461 пример дативной конструкции приходилось бы 855 примеров конструкции с *to*. Так что мы видим, что глагол *give* статистически значимо притягивается к дитранзитивной конструкции[2].

В таблице 7 представлены результаты коллострукционного анализа лексем, притягивающихся к двум интересующим нас конструкциям. Можно видеть, что списки эти совсем не совпадают друг с другом, что свидетельствует о том, что конструкции различаются между собой по семантике. Видно также, что список лексем, предпочитающих дитранзитивную конструкцию согласуется с семантическим анализом, представленным выше. В дитранзитивной конструкции предпочитаются глаголы, означающие ситуации непосредственного контакта: *give* 'дать', *tell* 'сказать', *show* 'показать', *offer* 'предложить' и т. д. Напротив, в списке глаголов, предпочитающих дитранзитивную конструкцию лидируют глаголы дистантной передачи объекта, такие как *bring* 'приносить', *pass* 'передавать' и т. п. Таким образом, можно видеть, что списки лексем, «притягивающихся» к двум близким конструкциям, показывают, что различие между этими конструкциями семантического рода. Более того, глаголы в этих списках отражают семантические предпочтения конструкций.

Еще один интересный случай представляют конструкции, в которых семантические ограничения затрагивают несколько слотов одновременно. Рассмотрим каузативную конструкцию с *into* в английском языке (ср. пример (2)), рассматриваемую в работе [Stefanowitch, Gries 2005]. А. Вежбицкая [Wierzbicka 1998] обнаружила, что эту конструкцию можно использовать только в таких ситуациях, в которых объект каузации изначально не хочет выполнять действие, однако каузатор преодолевает его сопротивление, обычно при помощи давления или нечестной уловки.

(2) Newley had been **tricked into revealing** his hiding place (BNC GUU).
'Ньюли обманом заставили выдать свое убежище'.

Это описание предсказывает, какие глаголы притягиваются к обоим интересующим нас слотам конструкции. Первый слот будут занимать глаголы, означающие оказание давления или нечестную уловку. Ко второму слоту будут притягиваться глаголы, обозначающие действие, кажущееся исполнителю неприятным или нежелательным. Это

[2] Сила притягивания следующего за ним глагола *tell* менее значительна только потому, что в корпусе встретилось меньше примеров этого глагола, а чем с меньшим количеством примеров имеет дело тест Фишера, тем выше получается вероятность того, что наблюдаемое распределение получилось в результате случайности.

предсказание во многом оправдывается. Например, список лексем, притягивающихся к первому глагольному слоту, состоит из глаголов уловки (*trick* 'заставить обманом', *fool* 'одурачить', *mislead* 'вводить в заблуждение' и т. д.) и глаголов давления (*coerce* 'вынудить', *force* 'заставить', *bully* 'заставить силой' и т. д.). В списке глаголов, предпочитаемых во втором слоте конструкции, будут присутствовать глаголы, означающие однозначно неприятные действия (*misbehave* 'плохо себя вести', *misrecognize* 'неправильно опознать', *betray* 'предать'), однако в этом списке появятся и глаголы, означающие действия, не всегда ассоциирующиеся с чем-то неприятным, такие как *think* 'думать', *believe* 'верить', *reveal* 'выказать', *prove* 'доказать', *buy* 'купить', *purchase* 'приобрести'. Для того чтобы объяснить, как глаголы, не означающие неприятного события, оказываются частотными во втором слоте каузативной конструкции, необходимо рассмотреть фреймы, в которых они часто используются: вероятно, эти глаголы употребляются в ситуациях, однозначно ассоциирующихся с чем-то нежелательным.

Получается, что два слота конструкции связаны друг с другом, то есть неверно, что в примерах представлено случайное перемножение глаголов, могущих заполнять первый слот и могущих заполнять второй слот. Неверно, что любой глагол из первого списка одинаково часто встречается с любым глаголом из второго списка. Для того чтобы статистически выявить связь, которая может быть между двумя единицами, необходимо измерить взаимное притяжение лексем к этим двум слотам, то есть в терминологии А. Стефановича и Ст. Гриса ковариацию колексем. Для этого необходимо взять вероятность появления глагола$_1$ в первом слоте конструкции и глагола$_2$ во втором слоте. Если бы эти два события были бы независимыми, то вероятность появления одновременно глагола$_1$ в первом слоте и глагола$_2$ во втором слоте была бы равна произведению этих двух вероятностей. Сравнив это число с реальным количеством пар глагол$_1$-глагол$_2$ в конструкции, мы можем сказать, что пара глагол$_1$-глагол$_2$ притягивается к конструкции, если реальная вероятность выше предсказанной, и отталкивается, если ниже. Результаты такого анализа представлены в таблице 8.

В этой таблице, как и в предыдущих, справа дается сила притягивания / отталкивания пары лексем по отношению к конструкции, измеренная при помощи точного критерия Фишера. Однако в этом случае справа дается не значение самой вероятности независимости факторов, как в предыдущих случаях, а $\log_{10}$ этого числа. Таким образом, значение 30.06 – силу притягивания компонентов словосочетания *fool into thinking* к конструкции – следует читать как E-30, то есть очень маленькое число, что говорит о статистически значимом притяжении этого словосочетания к конструкции. Заметим,

Таблица 8

Наиболее значимые колексемные комбинации в каузативной конструкции с *into*

Attracted covarying-collexeme pairs in the *into*-causative		Repelled covarying-collexeme pairs in the *into*-causative	
fool into thinking	30.06	*force into thinking*	2.554
mislead into thinking	12.755	*coerce into thinking*	1.421
mislead into believing	8.355	*trick into making*	0.945
deceive into thinking	5.651	*push into thinking*	0.794
trick into parting	5.248	*trick into accepting*	0.717
encourage into farming	4.652	*bully into believing*	0.716
dragoon into serving	4.652	*talk into believing*	0.671
aggravate into producing	4.28	*trick into thinking*	0.634
panick into seizing	4.078	*lead into believing*	0.561
seduce into misbehaving	3.966	*talk into making*	0.536
delude into believing	3.952	*force into giving*	0.497
torture into revealing	3.75	*tempt into thinking*	0.42

Таблица 9

Лексемы, заполняющие первый слот конструкции при глаголах коммерческих транзакций

RESULT	CAUSE
buy	*mislead, hoodwink, lure, entice, boss, pester, diddle, guilt-trip, scare, nag, pressure, steer, tempt, fool*
purchase	*mislead, lure*
pay	*con, dupe, harass, intimidate, scare, blackmail, tie, panick, mislead, shame*
overpay	*dupe*
sell	*panick, force, entrap, terrify*

что в списке отталкивающихся словосочетаний только первые два отталкиваются со статистически значимой силой.

Можно видеть, что результаты коллострукционного анализа в этом случае указывают на несколько важных для этой конструкции фреймов. Первые четыре примера иллюстрируют соотношение между уловкой в первом слоте конструкции и знанием / верой во втором слоте конструкции. Нужно заметить, что другой класс глаголов, часто появляющихся в первом слоте, – глаголов давления – не участвует в этом фрейме. Можно видеть, что пары *force into thinking* 'заставить думать', *coerce into thinking* 'вынудить думать', *bully into believing* 'заставить верить силой' отталкиваются от конструкции. Оба эти явления отражают культурные представления говорящих о том, как одни люди влияют на мысли других людей: это часто происходит при помощи уловок, но редко при помощи насилия.

Другой интересный фрейм, который можно видеть в рамках этой конструкции, – это фрейм, представленный парой *torture into revealing* 'вынудить рассказать под пытками'[3]. В этом фрейме, напротив, в первом слоте преобладают глаголы физического давления: именно физическое давление используется для того, чтобы вынудить человека рассказать информацию, которую он хочет скрыть. В качестве результата в этом фрейме часто встречаются другие глаголы сообщения информации: *admit* 'признать', *confess* 'признаться', *prove* 'доказать'.

Еще один фрейм, выявляемый коллострукционным анализом в каузативной конструкции, связывает между собой глаголы уловки и глаголы коммерческих транзакций. Проанализировав более расширенный вариант таблицы 8, А. Стефанович и Ст. Грис выявили частотные употребления каузативной конструкции, в которых первый слот занимали глаголы коммерческих транзакций: *buy* 'покупать', *purchase* 'приобретать', *overpay* 'переплачивать', *pay* 'заплатить', *sell* 'продать'. Результаты такого анализа представлены в таблице 9. Рассмотрим такие притягивающиеся к данной конструкции пары, в которых второй слот заполнен одним из этих глаголов. Посмотрим, какие глаголы при этом будут заполнять первый глагольный слот конструкции. Результат такого поиска можно видеть в колонке «CAUSE» таблицы 9. Легко видеть, что этот фрейм выявляет культурное знание о действиях продавца: нередко покупатель оказывается вовлечен в ситуацию покупки вопреки собственной воле под влиянием нечестной уловки со стороны торгового агента.

Таким образом, можно видеть, что изучение ковариации колексем – взаимного распределения слов, заполняющих разные слоты конструкции, выявляет, что в рамках одной конструкции, например, такой как каузативная конструкция с семантикой каузации

---

[3] Интересно, что для выражения этого фрейма в русском языке используется другая конструкция: **пытать рассказать*, аналогичное вполне приемлемому в русском *вынудить считать*, не является грамматичным.

неприятного действия, могут скрываться несколько культурно значимых фреймов, рассказывающих о том, в каких случаях одно лицо может заставлять другое выполнять неприятные действия. В рамках каждого из таких фреймов имеются дополнительные семантические ограничения на переменные. Например, во фрейме «нечестной продажи» участвуют в первую очередь глаголы уловки в первом слоте и глаголы коммерческих транзакций во втором слоте. Коллострукционный анализ позволяет легко увидеть такие взаимные предпочтения, что, в свою очередь, помогаст обнаружить фреймы, важные для данной конструкции.

Приведенные здесь примеры дают представление о мстодах и возможностях коллострукционного анализа и о той пользе, которую он может принести для решения самых разных лингвистических задач, устанавливая условия притяжения, отталкивания и взаимного распределения языковых единиц в контексте конструкций разной структуры.

И еще об одном преимуществе данного метода: сго независимости от исходных теоретических предпосылок. Действительно, как правило, статистические методы существенно опираются на изначальные предположения исследователя – в этом их слабость: если какой-то важный параметр почему-либо оказался не включен в изначальный список параметров, следы его влияния невозможно обнаружить в результатах исследования. Коллострукционный анализ не имеет такого недостатка. Действие этого метода целиком базируется на корпусной и статистической информации и не зависит от заранее сформулированных гипотез. Поэтому для лингвистов коллострукционный метод может стать по-настоящему действенным методом независимой проверки предположений относительно изучаемой конструкции и одновременно послужить инструментом пропаганды теории грамматики конструкций среди сторонников других теорий, ведь возможность такой независимой проверки служит аргументом в пользу истинности постулатов теории грамматики конструкций.

2. КОРПУСА И КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Современные лингвистические исследования в области синтаксиса и лексики все в большей степени базируются на методах, предполагающих обработку значительных по объему массивов данных и тем самым эффективно решающих проблему репрезентативности материала. В современных условиях подобный массив данных представляют так называемые электронные корпуса текстов. Использование этих корпусов формирует целое направление в лингвистике – корпусную лингвистику, которая разрабатываст общие принципы построения корпусов текстов с учетом современных компьютерных технологий и методику сбора письменных и устных текстов, а также способов их хранения и анализа [Баранов 2001; McEnery, Wilson 2004]. Работа с корпусами текстов помогает исследователям избежать субъективности и дает возможность автоматического поиска информации и сплошного анализа материала. Исследования, основанные на корпусах текстов, как правило, используют функциональный подход к семантике и сочстаемости языковых единиц; для современной корпусной лингвистики характерен интерес не только к новым технологиям, но и к новым теоретическим концепциям языка, соответствующим новым возможностям обработки данных.

Все исследования сборника [Stefanowitsch, Gries 2007] так или иначе основаны на корпусах текстов и квантитативных методах. Используются данные английского, немецкого, нидерландского и русского языков. Основной идеей сборника, таким образом, можно считать демонстрацию возможностей, которые открывают современные электронные ресурсы. Авторы надеются, что их книга поможет сформировать новую методологическую парадигму, основанную на использовании более объективных и достоверных данных.

В статье Д. Дивьяк «Способы выражения намерения: разграничение и структурирование неточных синонимов» анализируются проблемы точной и неточной синонимии. Работа состоит из двух частей. Первая часть посвящена выявлению неточных синонимов. Д. Дивьяк использует корпусную базу данных лексических признаков, которая

предполагает корреляцию между дистрибутивным и семантическим сходством, а также кластерный анализ для определения уровня сходства неточных синонимов. Работа основана на данных Национального корпуса русского языка, в котором были выявлены конструкции [V + Inf], выражающие концепт «намерение осуществить действие». В зону данного концепта вошли пять русских синонимических глаголов, таких как «намереваться», «собираться», «предполагать», «думать» и «хотеть». В русском языке существует еще один глагол, который по своим семантическим признакам должен был бы войти в данную группу, а именно «планировать», но автор исключил его из своего списка, поскольку у глагола отсутствуют структурные свойства, характерные для остальных глаголов этого типа.

Для определения границ группы неточных синонимов автор использует данные «конструкционных сетей», которые характеризуют глаголы намерения. Для каждого глагола создается «сочетаемостный профиль», на основе которого определяется сходство между глаголами. Д. Дивьяк отмечает, что нельзя руководствоваться только методиками анализа значения, а следует учитывать более «объективную» сочетаемость лексемы. Во второй части работы автор дает более детальную характеристику четырем глаголам из пяти, а именно «намереваться», «собираться», «думать» и «хотеть», основываясь на 47 параметрах (или, как их назвала Б. Аткинс, ID-признаки – синтаксические или лексические маркеры в предложениях, которые указывают на отдельное словарное значение слова), которые Д. Дивьяк условно разделил на две группы. Первая группа включает в основном грамматические признаки глаголов, тип предложения, падежное оформление актантов и т. д. Вторая группа отражает сочетаемостную информацию, в том числе о наличии отрицания, наречий, частиц, коннекторов и др.

Кластерный анализ дает различные результаты для каждой из предложенных групп ID-признаков. Однако, если учитывать сразу все свойства, кластеризация является практически идентичной формальной классификации. Иерархическое объединение показывает, например, что при учете всех формальных реализаций глаголы «думать» и «хотеть» больше всего схожи между собой. Однако, если основываться на семантических парафразах, можно обнаружить, что больше всего схожи между собой глаголы «думать» и «намереваться».

Таким образом, автор делает вывод, что каждый сочетаемостный профиль содержит определенный набор семантических признаков. Если две лексемы описываются одним и тем же набором признаков, то можно говорить о полных синонимах. Сочетаемостный профиль также дает возможность подсчитать уровень сходства лексем при помощи стандартных кластерных методик.

Статья Ст. Гриса «Корпусные методы и когнитивная семантика: несколько значений глагола *to run*» посвящена анализу семантики английской лексемы *run*. Автор работает на стыке двух направлений – когнитивной и корпусной лингвистики. По его мнению, использование корпусных методов способствует решению некоторых трудных вопросов когнитивной лингвистики – таких, как определение прототипов, разграничение значений слова, автоматическое разрешение неоднозначности и др.

В начале статьи кратко описаны методы исследования. Анализ значений слова делается в работе с точки зрения как когнитивной, так и корпусной лексикографии. Это обусловлено тем, что, по мнению автора, современные когнитивные исследования рассматривают полисемию в основном как систему взаимосвязанных смыслов, в то время как корпусная лингвистика фокусируется, прежде всего, на дистрибутивных особенностях различных значений слова. Автор указывает, что исследование многозначности лексем и фразеологизмов остается одной из центральных проблем когнитивной лингвистики. Он описывает несколько подходов к решению данного вопроса, используемых в современной лингвистике, например, метод полной спецификации (full-specification approach) и метод принципиальной многозначности (principled-polysemy approach) – и указывает на недостатки каждого из них. Наиболее подробно Ст. Грис останавливается на корпусном методе, предложенном Дж. Кишнером и Р. Гиббсом [Kishner, Gibbs 1996]. В качестве примера автор приводит два следующих подхода. Первый подход Ст. Грис

рассматривает на примере работы Б. Аткинс [Atkins 1987], посвященной исследованию ID-признаков, т. е. синтаксических или лексических маркеров, которые в контекстных употреблениях указывают на определенный смысл слова. На основании этого Б. Аткинс анализирует 441 контекстное окружение лексемы *danger* и получает несколько семантически важных ID-признаков. Второй лексикографический подход предложен П. Хэнксом [Hanks 1996], который исходит из того, что семантика глагола определяется моделью его управления, в частности, количеством дополнений, которые глагол может иметь. В связи с этим, П. Хэнкс предлагает опираться на сочетаемостный профиль глагола (behavioral profile), что перекликается с идеями Б. Аткинс.

Основная часть статьи посвящена когнитивному анализу многозначного глагола *to run*. Базой для исследования послужили 815 примеров употребления названного глагола, взятые из Британского компонента Международного корпуса английского языка (the British component of International corpus of English) и из Брауновского корпуса (известный корпус американского варианта английского языка Брауновского университета). На основе анализа этого материала автор выделяет 53 значения глагола *to run* и разрабатывает специальную схему, демонстрирующую различного рода связи между выявленными значениями.

В заключительной части автор сочетает метод, предложенный Б. Аткинс (анализ ID-признаков) с методом П. Хэнкса (сочетаемостный профиль). Проанализировав примеры употребления глагола *to run* и выявив его значения, Ст. Грис выделяет ID-признаки, характерные для данной единицы. В результате он получает сочетаемостный профиль глагола *to run*, основывающийся на 252 различных ID-признаках.

Следующий важный момент в работе Ст. Гриса – это определение прототипического значения глагола *to run*. Исходя из постулатов, выдвинутых в работе А. Тайлер и В. Эванс [Tylor, Evans 2001], автор указывает, что для данного глагола естественно считать прототипическим значение 'движение'. Однако данные корпуса и сочетаемостный профиль анализируемого глагола показывают, что таким значением необходимо признать 'быстрое пешее движение' (fast pedestrian motion), поскольку именно оно является наиболее частотным (и в этимологических словарях дается как одно из первичных).

Определив прототипическое значение глагола *to run*, Ст. Грис возвращается еще к одной важной теме когнитивных исследований – полисемии. При анализе значений слова достаточно спорным является вопрос о том, разграничивать ли два значения как самостоятельные смыслы или же рассматривать их как одно более общее значение. На основе сочетаемостного профиля, когнитивного анализа и корпусных данных автор исследует некоторые достаточно близкие значения глагола *to run* (например, «течь», «избегать чего-л. неприятного, опасного» и т. д.) и доказывает, что их следует считать отдельными самостоятельными значениями.

Подобные ситуации показывают, что сочетаемостные профили являются многообещающей методикой для анализа языковых данных в области лексической семантики. Однако оборотная сторона этой методики – ее сложность, а также то, что корпуса текстов не всегда предоставляют полный объем необходимой информации.

В статье С. Вульфф «Конструкции *Go-V vs. go-and-V* в английском языке: случай конструкционной синонимии?» разбираются примеры двух внешне схожих моделей:

1. *Go find the books and show me* букв. '**Пойди найди** книги и покажи мне';

2. *Now, just keep polishing those glasses while I go and check the drinks* букв. 'Ну, ты пока протирай стаканы, а я **пойду и поищу** чего-нибудь выпить'.

Данные примеры образуют конструкции '*go-and-V*' и '*go-V*', которые в лингвистике традиционно считаются одним и тем же явлением (в обоих случаях глагол *go* занимает ведущее положение в конструкции, которая по своей сути асимметрична).

В отличие от генеративно-трансформационного подхода, при котором конструкция *go-V* просто считается редуцированным вариантом конструкции *go-and-V*, С. Вульфф доказывает, что обе данные конструкции следует считать самостоятельными. В статье используются следующие методы исследования:

– коллокационный подсчет совпадений (collocational overlap estimation);

– конструкционный анализ устойчивых словосочетаний (collostructional analysis);

– дифференциальный лексемный анализ устойчивых словосочетаний (distinctive collexeme analysis).

Автором было обработано 5 320 примеров на каждую конструкцию, вручную отобранных из Британского национального корпуса (BNC). Анализ этих примеров приводит к выводу, что существует некоторое количество общих ограничений в слоте V2, характерных только для конструкции *go-V* (например, подлежащее в ней всегда должно быть агентивным, ср. *The fumes go* ***and*** *bother the people upstairs*, но не *The fumes go bother the people upstairs*).

Для анализа конструкций используется подход, который не подразумевает прямых деривационных отношений между конструкциями. Однако данный подход не может дать объяснение таким случаям, когда обе конструкции появляются в одних и тех же предложениях и передают одно и то же значение. С. Вульфф предполагает, что подобные особенности конструкций могли сформироваться диахронически.

Наиболее существенные общие выводы автора таковы:

1. Основываясь на методе коллокационного подсчета совпадений, предложенном Ст. Грисом [Gries 2001], автор показывает, что конструкция '*go-V*' не представляет собой подкласс конструкции '*go-and-V*', хотя между ними можно обнаружить большое количество общих свойств. Подсчет совпадений в данном случае очень важен, поскольку обе конструкции являются лексически и дистрибутивно связанными, но, в свою очередь, показывают высокую степень независимости.

2. Конструкция '*go-V*' предпочитает глаголы, обозначающие непредельные процессы и события, и намного меньше – глаголы, обозначающие предельные процессы. В этом случае был использован конструкционный анализ устойчивых словосочетаний, поскольку он подсчитывает степень лексической ассоциации глаголов в слоте V2 с учетом каждой конструкции и затем сравнивает акциональный класс глагола для получаемых списков лексем.

Статья Б. Хампе и Д. Шёнефельд «Синтаксические прыжки или лексические изменения? – Еще раз о "Продуктивном синтаксисе"» основана на поиске в Британском национальном корпусе (BNC) всех случаев использования таких английских глаголов как *encourage, fear, support* и *bore* в комплексно-транзитивных аргументных структурах, которые часто ассоциируются с другими каузативными глаголами. Авторы продолжают исследование типа продуктивности, которое было начато в работе по «синтаксическим слияниям» (syntactic blends) [Hampe, Schoenefeld 2003].

Было исследовано 766 примеров из Британского национального корпуса, а также Международного корпуса английского языка (ICE-GB). Данные примеры содержат 45 глаголов с различной аргументной структурой. Для их анализа были использованы следующие методы: сравнение распределений глаголов в различных конструкциях, сопоставление конструкционных распределений при употреблении одного глагола, а также лексемный анализ устойчивых словосочетаний.

Авторы рассматривают продуктивное использование глаголов в нетипичных моделях, например, в предложениях типа *He supported them through the entrance door* или *She bore them stupid*. Подобные случаи конструкций 'движения, вызванного какой-либо причиной' или так называемых «результативных» конструкций были подробно исследованы в грамматике конструкций, где была предложена модель, согласно которой необычные аргументные свойства глагола объяснялись через свойства конструкции, в которой он был употреблен [Goldberg 1995].

Для анализа языкового материала Б. Хэмп и Д. Шёнефельд исследовали конструкции, в которых у глаголов появлялся дополнительный аргумент. Глаголы *encourage, support* и *fear* только в 1 % всех употреблений используются в каузативном или атрибутивном значении и в результате приобретают аргументный слот, отсутствующий в большинстве типичных употреблений этих глаголов. Иначе обстоит дело с глаголом *bore*, у которого результативные употребления, а также употребления в конструкции каузированного движения, хотя и не являются центральными, но относительно более

часты (около 7 %). Подобные случаи должны трактоваться как идиомы. Таким образом, авторы статьи утверждают, что «аргументная продуктивность» является не только синтаксической по своей природе – разные глаголы в разной степени употребительны в конструкции с дополнительным аргументом. Исследованные различия в поведении предикатов показывают, что лексическое значение предиката также должно быть включено в рассмотрение в «фузионной модели» А. Голдберг при взаимодействии глагола и конструкции.

Статья Г. Гилквин «Место прототипов в корпусной лингвистике: в центре – каузация» посвящена исследованию взаимоотношений когнитивных прототипов и частот встречасмости; задачей автора является определить, в какой степени перифрастические каузативные конструкции (типа *get your father to run us out*) могут считаться реализациями одной из трех когнитивных моделей прототипической каузации. В основе исследования лежит теория прототипов, которая утверждает, что для смежных концептов характерна кластеризация важнейших прототипических употреблений (эта идея пришла из психологии). Когнитивисты склонны считать прототип когнитивно наиболее значимым элементом, тогда как корпусная лингвистика часто отождествляет прототип с элементом, наиболее частотным в корпусе. Таким образом, лингвисты часто ставят знак равенства между такими понятиями, как «частотный», «выделенный (салиентный)» и «прототипический». Однако, по мнению Г. Гилквин, языковая частотность не совпадает с когнитивной салиентностью, по крайней мере в области прототипической каузации.

Автор сравнивает три модели каузальности:

1) иконическая последовательность участников (прототипический порядок событий);

2) модель «биллиардного шара» (прототипические участники);

3) прямая манипуляция (прототипический порядок и участники).

Согласно первой модели порядок аргументов в каузативной конструкции отражает порядок, в котором соответствующие персонажи участвуют в ситуации каузирования. Вторую модель автор соотносит с лангакеровской моделью «биллиардного шара» в каузации с акцентом на причинном движении. Третья модель была предложена Дж. Лакоффом и М. Джонсоном – это модель прямой манипуляции, где прототипическая манипуляция определяется на основе некого набора общепринятых свойств.

Для сравнения была привлечена база данных Британского национального корпуса, из которой была произведена выборка всех конструкций с основными перифрастическими каузативными глаголами (*get*, *cause*, *have*, *make*). Всего было обработано 3 574 конструкции.

С учетом классификации элементов конструкции сделан вывод, что наиболее типичным видом каузации является цепочка действий, где энергия передается от виновника действия к причине действия и далее к пациенсу. Таким образом выбирается первая модель – модель иконической последовательности участников.

Статья Дж. Ньюмана и С. Райс «Схемы переходности в английских словах *eat* и *drink* в Британском национальном корпусе» посвящена анализу синтаксических свойств английских глаголов *eat* и *drink*. Предполагается, что переходность является сложным феноменом, который далек от того, чтобы быть четким бинарным различительным признаком. Базой данных для исследования опять-таки послужил Британский национальный корпус (проанализировано 934 примера употребления глагола *drink* в устной речи и 2 000 примеров в письменной; для глагола *eat*, соответственно, 2 623 и 2 000 примеров). Все примеры были обработаны вручную, а также размечены для исследования различных морфосинтаксических свойств.

Обнаружилось, что глаголы *drink* и *eat* в основном используются как переходные глаголы, причем намного чаще в устной речи, чем в письменной. Глагол *drink* встречается преимущественно в таких контекстах, которые требуют переходной формы глагола (особенно, когда данный глагол употребляется в выражении *drink an alcoholic beverage*). По сравнению с лексемой *drink* лексема *eat* намного чаще появляется как в устной, так и в письменной речи, а в словосочетаниях обычно ставится на первое ме-

сто (*ate and drank*, вместо *drank and ate*). По мнению авторов, подобная особенность может говорить о когнитивной выделенности: когда мы едим и пьем, питье является как бы дополнением к еде, но не наоборот. Другие выводы авторов касаются характера дополнений, которые обычно используются в переходной конструкции. Например, со словом *eat* наиболее часто используется дополнение *food*. Среди 20 наиболее часто используемых лексем многие обозначают определенные виды еды, такие как *breakfast*, *lunch*, *dinner*. Таким образом, данные этого исследования отчасти противоречат результатам предыдущих работ, которые свидетельствовали о незначительной доли переходных употреблений в устной речи.

Статья М. Лемменса «Экспериментальные модели, выявленные в результате работы с корпусом» посвящена семантике позиционных глаголов в нидерландском языке: *zitten* 'сидеть', *liggen* 'лежать', *staan* 'стоять' и их каузативных коррелятов: *zetten* 'сажать', *leggen* 'класть', *steken / stoppen* 'ставить, вставлять'. В исследовании также рассматривается глагол *doen* 'делать', который в некоторых контекстах может использоваться как глагол местоположения. Автор проанализировал 7 550 примеров, взятых из корпуса INL (письменный корпус нидерландского языка), и осуществил их разметку на базе различных морфосинтаксических и семантических свойств. Было обнаружено, что во многих случаях отсутствует прямая связь между каузативными и некаузативными глаголами (впрочем, для разных пар в разной степени). Интересно, что употребление позиционных глаголов применительно к человеку в корпусе встречается довольно редко (например, менее 1 % всех случаев для глаголов *leggen* и *zetten*). Исключения бывают двух типов: это ситуации, когда люди не могут самостоятельно контролировать свое положение (маленькие дети, больные и т. п.), а также ситуации, когда люди предстают пассивными жертвами манипуляции (например, при изгнании из дома или страны).

Статья Д. Шёнефельд «От концептуализации к лингвистической экспрессии: источник языковых различий» также посвящена анализу английских, немецких и русских позиционных глаголов *сидеть*, *стоять*, *лежать* с учетом корпусных данных. Целью исследования является описание механизмов влияния когнитивных образов-схем на интерпретацию позиционного сценария. Анализ семантики позиционных глаголов демонстрирует, что их использование с неодушевленными существительными свидетельствует о расширении значений глаголов; при этом механизмы расширения не совпадают в исследуемых языках. Так, английской фразе *salt and pepper* ***sit*** *on the table* в немецком и в русском языках соответствует фраза с глаголом «стоять», а не «сидеть»: нем. *Salz und Pfeffer* ***stehen*** *auf dem Tisch*, русск. *соль и перец* ***стоят*** *на столе*.

По мнению автора, при буквальном использовании глаголов местоположения выбор того или иного глагола зависит от того, какая образ-схема в сознании говорящего определяется как наиболее значимая; исследуемые языки различаются в том, что в них выбор глагола местоположения в идентичных ситуациях не совпадает; в разных языках в похожих ситуациях пространственные отношения между предметом и его положением трактуются неодинаково, что приводит к несовпадению в использовании предлогов места; в некоторых случаях в сопоставимых ситуациях в одном языке используется глагол местоположения, в других – совершенно иной глагол.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Баранов 2001 – *А.Н. Баранов*. Введение в прикладную лингвистику. М., 2001.

Atkins 1987 – *Beryl T. Sue Atkins*. Semantic ID tags: corpus evidence for dictionary senses // Proceedings of the Third annual conference of the UW Centre for the New Oxford English dictionary. 1987.

Burt 1971 – *M.K. Burt*. From deep to surface structure. New York, 1971.

Croft, Cruse 2004 – *W. Croft, D.A. Cruse*. Cognitive linguistics. Cambridge, 2004.

Dowty 1979 – *D.R. Dowty*. Word meaning and Montague grammar : the semantics of verbs and times in generative semantics and in Montague's PTQ. Dordrecht, 1979.

Erteschik-Shir 1979 – *N. Erteschik-Shir*. Discourse constraints on dative movement // T. Givón (ed.). Discourse and syntax: syntax and semantics 12. New York; San Diego; London:, 1979.

Fillmore 1988 – *Ch.J. Fillmore*. The mechanisms of Construction Grammar // Sh. Axmaker, A. Jaisser, H. Singmaster (eds.). Proceedings of the Fourteenth annual meeting of the Berkeley linguistics society. University of California, Berkeley, 1988.
Fillmore 1988 – *Ch.J. Fillmore*. The mechanisms of Construction grammar // BLS. 1988. 14.
Fillmore, Kay 1995 – *Ch.J. Fillmore, P. Kay*. Construction grammar. Unpublished manuscript. University of California at Berkeley, 1995.
Fried, Boas (eds.) 2005 – *M. Fried, H.C. Boas* (eds.). Grammatical constructions: Back to the roots. Amsterdam; Philadelphia, 2005.
Goldberg 1995 - *A.E. Goldberg*. Constructions: A construction grammar approach to argument structure. Chicago, 1995.
Goldberg 2006 – *A.E. Goldberg*. Constructions at work: the nature of generalization in language. Oxford, 2006.
Gries 2001 – *S.Th. Gries*. A multifactorial analysis of syntactic variation: particle movement revisited // Journal of quantitative linguistics. 2001. 8(1).
Gries, Stefanowitsch 2004 – *S.Th. Gries, A. Stefanowitsch*. Co-varying collexemes in the into-causative // M. Achard, S. Kemmer (eds.). Language, culture, and mind. Stanford (CA), 2004.
Gries, Stefanowitsch 2007 – *S.Th. Gries, A. Stefanowitsch* (eds.). Corpora in cognitive linguistics: corpus-based approaches to syntax and lexis. Berlin, 2007.
Gropen et al. 1989 – *J. Gropen, S. Pinker, M. Hollander, R. Goldberg, R. Wilson*. The learnability and acquisition of the dative alternation in English // Language. 1989. 65(2).
Hampe, Schoenefeld 2003 – *B. Hampe, D. Schoenefeld*. Creative syntax. Iconic principles within the symbolic // W.G. Mueller, O. Fischer (eds.). From sign to signing. Proceeding of the 3d symposium on iconicity in language and literature. Amsterdam; Philadelphia, 2003.
Hanks 1996 – *P. Hanks*. Contextual dependancy and lexical sets // International journal of corpus linguistics. 1996. 1(1).
Jespersen 1949 – *O. Jespersen*. A modern English grammar on historical principles. V. 7: Syntax. Copenhagen, 1949.
Kennedy 1991 - *G. Kennedy*. Between and through: The company they keep and the functions they serve // K. Aijmer, B. Altenberg (eds.). English corpus linguistics. London, 1991.
Kishner, Gibbs 1996 – *J.M. Kishner, R,W. Jr. Gibbs*. How just gets its meanings: Polysemy and context in psychological semantics // Language and speech. 1996. 39(1).
Lakoff 1987 – *G. Lakoff*. Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; London, 1987.
Lakoff 1990 – *G. Lakoff*. The invariance hypothesis: Is abstract reason based in image schemas? // Cognitive linguistics. 1990. 1(1).
Lakoff 1991 - *G. Lakoff*. Cognitive linguistics versus generative linguistics: How commitments influence results // Language and communication. 1991. 11(1/2).
McEnery, Wilson 2004 – *T. McEnery, A. Wilson*. Corpus linguistics. 2nd ed. Edinburgh, 2004.
Oh 2000 – *S.-Y. Oh*. *Actually* and *in fact* in American English: A data-based analysis // English language and linguistics. 2000. 4(2).
Pinker 1989 - *S. Pinker*. Learnability and cognition: The acquisition of argument structure. Cambridge (MA), 1989.
Stefanowitsch, Gries 2003 – *A. Stefanowitsch, S.Th. Gries*. Collostructions: investigating the interaction between words and constructions // International journal of corpus linguistics. 2003. 8(2).
Stefanowitsch, Gries 2005 – *A. Stefanowitsch, S.Th. Gries*. Covarying collexemes // Corpus linguistics and linguistic theory. 2005. 1(1).
Thompson 1990 – *S.A. Thompson*. Information flow and dative shift in English discourse // J.A. Edmondson, C. Feagin, P. Mühlhäusler (eds.). Development and diversity: Language variation across time and space. Dallas, 1990.
Thompson, Koide 1987 – *S.A. Thompson, Y. Koide*. Iconicity and 'indirect objects' in English // Journal of pragmatics. 1987. 11(3).
Tomasello 2003 – *M. Tomasello*. Constructing a language: a usage based theory of language acquisition. Cambridge, 2003.
Tyler, Evans 2001 – *A. Tyler, V. Evans*. Reconsidering prepositional polysemy networks: The case of over // Language. 2001. 77(4).
Vendler 1967 – *Z. Vendler*. Verbs and times. Linguistics in philosophy. New York, 1967.
Wierzbicka 1998 – *A. Wierzbicka*. The semantics of English causative constructions in a universal-typological perspective // M. Tomasello (ed.). The new psychology of language. Hillsdale (NJ), 1998.

РЕЦЕНЗИИ

А.А. Кибрик, В.И. Подлесская **(ред.). Рассказы о сновидениях. Корпусное исследование устного русского дискурса.** М.: Языки славянских культур, 2009. (735 с. + CD).

Публикацию по результатам проекта, осуществлявшегося группой исследователей под руководством А.А. Кибрика и В.И. Подлесской в течение 10 лет (с 1999 г.), нельзя назвать иначе как фундаментальной. Дело не в объеме книги (60 п. л.) и во временной протяженности проекта, а в ощущении, которое возникает при чтении книги – это своего рода энциклопедия, исследовательский мир, прописанный от исходных посылок и принципов транскрибирования устной речи (часть I) до выполненных на материале уже затранскрибированного корпуса частных исследований (части III и IV).

Жанр рецензии предполагает краткое, в несколько предложений описание книги и, в данном случае, проекта, на который она опирается. Исследование базируется на корпусе из 129 детских (от семи до семнадцати лет) пересказов снов, причем чуть больше половины рассказов записано от детей с невротическими расстройствами, а чуть меньше половины – от здоровых детей. Корпус общей длительностью несколько часов содержит около 14 тыс. словоупотреблений и примерно 3 800 элементарных дискурсивных единиц – сегментов текста, примерно соответствующих клаузам традиционного лингвистического анализа. Книга сопровождается аудиозаписью (wav) корпуса на компакт-диске. Исследование корпуса показало, в частности, что устный дискурс детей, страдающих неврозами, обладает структурными особенностями, отличающими его от устного дискурса здоровых детей (контрольной группы).

Следует, однако, иметь в виду, что, хотя формирование исходного корпуса было подчинено цели выявления языковых манифестаций невротических заболеваний для их лучшей диагностики, хотя проект строился вокруг конкретной исследовательской задачи – с самых первых страниц книги становится ясно, что цели проекта значительно шире; в определенном смысле они вообще не связаны ни с какой конкретной клинической задачей. Лишь сто страниц более чем семисотстраничного тома посвящено собственно клиническим приложениям (часть III), в то время как незначительно уступающая ей по объему часть IV, содержащая частные исследования на базе корпуса, никак или практически никак с невротическими речевыми отклонениями уже не связана. Сами авторы, выделяя два яруса организации нарратива – локальную и глобальную структуру дискурса, – прямо указывают на то, что в сфере их интересов лежит прежде всего именно первая, в то время как различия в речи двух групп детей выражаются скорее в особенностях глобальной структуры или, по крайней мере, относятся к интерфейсу между двумя этими уровнями (особенности риторической организации речи). Дело, очевидно, в том, что исследование глобальной структуры дискурса не могло быть осуществлено без разработки инструментария для анализа локальной структуры – инструментария, к созданию которого лингвистика приступила относительно недавно и который для русского языка попросту отсутствовал. Отсюда степень детальности транскрипции, повышенное внимание к принципам сегментирования речевого потока и многое другое. Как говорят сами авторы (с. 33–34), смещение исследовательских акцентов и расширение сферы теоретического анализа происходило постепенно. В результате выбор корпуса оказывается по сути почти случайным; похожая книга могла появиться и на базе анализа дискурса только здоровых детей, дискурса взрослых, корпуса диалогов и т. п.

Несмотря на этот элемент случайности, методы и результаты исследования и их представление в печатной форме производят самое глубокое впечатление. В книге подробно описываются не только принципы нотации, но и методы и критерии принятия конкретных решений, так что она сможет стать серьезным подспорьем для проведения самостоятельного исследования дискурса, в том числе и на другом языковом материале; более того, в ней содержится ряд вполне практических рекоменда-

ций для работы с некоторыми компьютерными приложениями (например, Speech Analyzer).

Наконец, уже из введения становится ясно, что значимость проекта не ограничивается только академической составляющей. Большинство участников марафона – студенты, которые в ходе проекта формировались как исследователи, писали статьи и защищали по частным подтемам проскта дипломы и диссертации. О возникновении московской школы дискурсивного анализа говорить рано, но выход этой книги и параллельные публикации разных участников проекта закладывают для этого определенный фундамент. Поэтому мы считаем необходимым перечислить здесь если не весь исследовательский коллектив, то по крайней мере всех авторов, принимавших участие в написании и подготовке книги: Н.М. Воскобойникова, В.Л. Голубев, Ю.В. Дараган, З.В. Ефимова, А.А. Кибрик, Е.А. Корабельникова, Н.А. Коротаев, А.О. Литвиненко, А.С. Луценко, Д.В. Найшуль, В.И. Подлесская, О.А. Савельева-Трофимова, В.Г. Хуршудян, В.Л. Цуканова.

Критические замечания и соображения мы выскажем в конце обзора, а пока перейдем к подробному описанию структуры книги и ее содержания. Том разбит на шесть частей, каждая из которых (за исключением двух последних – см. ниже) состоит из глав со сквозной нумерацией; всего таких глав 13.

Первая часть носит вводный характер. Глава 1 кратко описывает теоретические предпосылки проекта, вводит фундаментальные для него понятия и обосновывает приоритеты. Обсуждается сравнительная значимость исследований письменного языка и устной речи. Авторы подчеркивают, что, хотя формально от примата письменного языка лингвистика давно отмежевалась, на практике мы продолжаем исследовать в первую очередь именно письменную форму. В то же время дистанция, разделяющая письменную и устную речь, несравнимо больше, чем может представить себе человек, никогда не работавший с последней. В этой же главе разъясняются особенности корпусного метода в анализе дискурса – прежде всего принцип большей значимости частотных явлений по сравнению с более редкими. Далее авторы вводят читателя в проблематику дискурсивной транскрипции, причем особенно важно указание на прагматический характер транскрипционных решений – как и в любом корпусном методе запись ориентирована на решение определенных задач; транскрипция, использованная в корпусе, ориентирована в первую очередь на изучение локальной структуры дискурса. Для сравнения – Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru) является лексико-грамматически ориентированным, и именно поэтому его устный подкорпус не использует особой дискурсивной транскрипции – обычная орфографическая запись в основном достаточна для изучения особенностей лексики, морфологии и большей части аспектов грамматической семантики устной речи. Изучение синтаксической организации устного дискурса невозможно без адекватного отражения особенностей сегментации речевого потока и требует более детальной транскрипции. На ее реализацию необходимо больше исследовательского времени; как следствие, такие корпуса не могут сравниться по объему с устными корпусами Британского национального корпуса или Национального корпуса русского языка – на транскрипцию одного часа устной речи требуются сотни часов работы с записью. Далее, в конце главы дается определение когнитивного подхода к анализу дискурса, положенное в основу исследования. «Когнитивная лингвистика» – термин многозначный и даже расплывчатый, или, лучше сказать, у нас на глазах расплывающийся, поэтому мы считаем целесообразным процитировать определение, которое дают авторы проекта и которое кажется нам одновременно ясным и операциональным: «в основе дискурсивного процесса лежит план говорящего – внутреннее ментальное задание, которое говорящий имеет до формирования внешней языковой формы... В процессе реализации этого плана говорящий совершает многочисленные выборы, и языковая форма является уже результатом этих выборов» (с. 31; ср. также с. 52). Глава 2 рассказывает об истории проекта и происхождении транскрибируемого корпуса (авторы книги получили аудиозаписи будущего корпуса в готовом виде, «в наследство» от осуществленного ранее собственно клинического исследования).

Часть вторая («Организация устного дискурса и его транскрибирование») занимает почти половину книги и является своеобразным введением в синтаксическую структуру русской устной речи, а в каком-то смысле - и в теорию локального синтаксиса устной речи вообще, поскольку многие положения главы авторы подкрепляют опытом зарубежных исследований. Возможно, говорить о синтаксисе не вполне точно, так как у читателя возникла бы слишком сильная аналогия с синтаксисом в привычном ему понимании – именно поэтому авторы выбрали более нейтральный термин «организация» (сходным образом авторы избегают термина «синтагма»; впрочем, термином «предложение» они все-таки пользуются – ве-

роятно, за отсутствием хорошей альтернативы). Речь идет об аналогах наших синтаксических представлений, как они видятся из перспективы исследования устной речи. Центральным сюжетом этих глав являются принципы сегментации устного дискурса, в несколько меньшей степени – внутренняя структура этих единиц и принципы их организации в более крупные единства. Именно эта глава, как нам кажется, является центральной частью книги, будет интересна для максимально широкого круга читателей и может использоваться в качестве практического руководства по выработке и применению дискурсивных транскрипций под конкретные задачи – одним словом, является важным вкладом в теорию и методологию лингвистики. Поэтому в настоящей рецензии мы сосредоточимся на обсуждении этой главы и дадим лишь краткий обзор других разделов книги, описывающих использование корпуса в конкретных клинических и лингвистических исследованиях.

Во вступлении ко второй части и главе 3 формулируются принципы транскрибирования устного текста, от очевидных «не исправи то, что слышишь» и проблем, связанных с одновременным наличием нескольких альтернативных решений, до необходимости сконструировать модель речепорождения в реальном времени, мотивируемой принципами когнитивного анализа.

Дальнейший материал поделен между главами по принципу «нормальности» явления – в главе 4 описываются базовые, наиболее часто реализуемые дискурсивные структуры и их свойства (канонические явления), в главе 5 – неканонические структуры и явления, определяемые как отклонения от канонических структур, а в главе 6 – речевые сбои, отклонения от идеальной модели речепорождения, вызванные помехами канала или когнитивными затруднениями говорящего (примеры см. ниже). В качестве основной единицы анализа вводятся ЭДЕ – элементарные дискурсивные единицы. За ЭДЕ стоит как физиологическая, так и языковая реальность; это своего рода возрожденная соссюровская двоякая природа языкового знака, неразрывная связь между планом выражения и планом содержания, но не постулируемая для абстрактного языкового уровня, как обычно трактует Соссюра структурализм, а подтвержденная эмпирическими исследованиями устной речи (впрочем, мы не вполне уверены, что авторы разделяют эту аналогию). Действительно, с одной стороны, в основе одной ЭДЕ лежит поток воздуха, выдыхаемого легкими за один раз. С другой стороны, сегмент речевого потока, порождаемый в этот временной интервал, в большинстве случаев соответствует синтаксической единице – клаузе. Иными словами, если в принципе мы могли бы ожидать, что говорящий произвольно распределяет речевой поток по отрезкам между вдохами, на самом деле оказывается, что такие отрезки обладают определенной степенью синтаксической и семантической автономности или, по крайней мере, завершенности. (Напомним, что неканонические ЭДЕ, некоторые виды которых демонстрируют отклонение от этого принципа, обсуждаются в главе 5.) В связи с обсуждением принципов организации и, в практическом плане, транскрипции дискурса и выделения ЭДЕ обсуждаются такие явления, как движение частоты основного тона и ее неизбежное возвращение к некоему фиксированному значению в начале каждой ЭДЕ (reset); несущий центр (просодическое выделение одного слова или составляющих ЭДЕ, несущих основную информационную нагрузку); изменение громкости и скорости речи к концу ЭДЕ; пограничные паузы, разделяющие ЭДЕ. Дополнительно обсуждаются разные типы высказываний (иллокутивные типы): сообщение, вопрос, директив, обращение, восклицательность.

Здесь же определяется важное понятие фазы – дискурсивной категории, имеющей два значения – финальная и нефинальная. Речь идет о том, как адресат понимает, будет ли следующая словоформа принадлежать той же ЭДЕ или говорящий перейдет к порождению следующей ЭДЕ; как оформление ЭДЕ позволяет понять, является ли данная ЭДЕ последней в цепочке; и, наконец, как оформление цепочки ЭДЕ позволяет понять, что говорящий заканчивает им свою реплику. Фаза выражается в первую очередь просодическими средствами и позволяет адресату прогнозировать структуру воспринимаемого им речевого потока и планировать его обработку и взаимодействие с говорящим. Группа ЭДЕ, лишь последняя из которых оформлена как финальная, соответствует традиционному понятию предложения. Этим термином авторы и пользуются в дальнейшем, оговорив, впрочем, связанные с этим терминологическим решением проблемы.

В следующей, пятой главе рассматриваются различные типы ЭДЕ, по тому или иному параметру отклоняющиеся от канонической структуры ЭДЕ в русском языке. Сюда относятся, например, ЭДЕ, не содержащие финитного глагола, и безглагольные ЭДЕ. Синтаксически важным типом неканонических ЭДЕ являются такие ЭДЕ, которые являются семантико-синтаксическим сателлитом либо последующей, либо предшествующей ЭДЕ (причем единая клауза распределяется по нескольким ЭДЕ) – например, вынесенные топики. Важным критерием выделения материала в отдельную,

хотя и неполноценную ЭДЕ является наличие в главной ЭДЕ материала, дублирующего вынесенную группу, – например, реприза топика местоимением или наличие ИГ, уточняемой неполной именной ЭДЕ. Проводится различие между запланированными и незапланированными отклонениями от канонической структуры, которое оказывается существенным с точки зрения моделирования речевого поведения. Как запланированными, так и незапланированными могут быть, например, топики или уточнения (парцелляции). Подробно рассматриваются дискурсивные свойства именных групп, в том числе фрагментация именной группы – выделение второго элемента в отдельную ЭДЕ. Другие типы отклонения от канонической структуры: вставка дополнительного материала, который оформляется как отдельная ЭДЕ (каноническая или неканоническая) как бы внутрь синтаксического единства, в результате чего это сдинство оказывается распределенным между двумя неканоническими и неконтактными ЭДЕ; регуляторные ЭДЕ (т. е. ЭДЕ, образованные различными дискурсивными словами) и др. Интересен описываемый в разделе 5.8 феномен нефинального падения тона: в большинстве случаев падение тона обозначает завершение иллокутивно единой последовательности ЭДЕ, но в корпусе обнаруживаются примеры с падением тона, не выражающим финальную фазу. Авторы показывают, что такие примеры обладают особенностями (в том числе просодическими), позволяющими адресату отличить его от финального. Другие обсуждаемые типы отклонения от каноничности – наличие не одного, а нескольких несущих акцентов; интонация «многоточия», выражающая неполноту информации; цепочки связанных ЭДЕ, неоднородных с точки зрения собственно иллокутивной силы (т. е. совмещающие утвердительные, вопросительные, директивные и др. ЭДЕ).

В главе 6 рассматриваются различные типы нарушений плавного развертывания спонтанного дискурса – типология речевых затруднений и способов их преодоления. Авторы указывают, что, если традиционная лингвистика рассматривает речевые сбои, являющиеся внешним проявлением таких затруднений, как помехи для изучения структуры языка, и прибегает к нормализации спонтанного текста, именно эти сбои являются основным источником данных для когнитивного и психологического, а опосредованно и для социолингвистического анализа речевого поведения. Здесь уместно провести частичную аналогию с корпусными методами в исследовании письменного текста, также ориентированными не на норму, а на узус, которого лингвистика традиционно чурается, считается, что именно это позволяет корпусной лингвистике усматривать актуальные тенденции в развитии языка. Предлагается различать следующие основные виды сигналов о речевых затруднениях говорящего: заполненная пауза, гортанная или губная смычка, обрыв слова, удлиненная реализация фонем. Эти сигналы могут комбинироваться – так, удлинение фонем иногда плавно переходит в заполненную паузу, а обрыв слова часто сопровождается смычкой. Речевые затруднения могут получать лексическое выражение – дискурсивные междометия (*ой*, *ну*), препаративные замены (традиционный английский термин – «placeholders»; например, *этот*). О них могут сигнализировать специальные типы речевого поведения, которые в книге предлагается называть коррекцией и редактированием. Коррекция – это мгновенная реакция говорящего на неудовлетворительный с его точки зрения фрагмент порожденной ЭДЕ. Редактирование предполагает замещение цельнооформленного и полностью озвученного фрагмента речи. Типологии и методам транскрибирования коррекций посвящена значительная часть главы; несколько менее подробно обсуждается явление редактирования.

В главе 7 рассматриваются типы ЭДЕ, которые демонстрируют отклонение от канонических ЭДЕ в сторону большей синтаксической сложности, или, в терминологии авторов, «больших ЭДЕ» – ЭДЕ с несколькими глагольными словоформами. Сюда относятся конструкции с (квази)сериализацией и редупликацией глагола, некоторые конструкции с сентенциальными актантами, определенные типы цитирования. Близко к этой проблематике находятся и конструкции, которые явно составляют две различных ЭДЕ, но конкретное место для проведения границы между которыми оказывается сложно установить (например, конструкции с соотносительными местоимениями – *тогда*[,] *когда*, *тот*[,] *кто* и т. п.). На примере разбора конструкций с цитированием очень хорошо виден исследовательский метод, характерный для книги в целом – вместо того, чтобы брать готовые определения формальных синтаксических структур из традиционного синтаксиса, авторы стремятся заново, с нуля, определить описываемый ими феномен. На самом деле этот подход, по-видимому, является единственно возможным при изучении устного дискурса – настолько велика пропасть, отделяющая его от принципов организации письменной речи. И хотя конкретно в данном случае авторы являются далеко не первыми, кто оспорил жесткое разграничение прямого и косвенного цитирования, это не отнимает у них заслуги в том, как четко и последовательно они разобрали эту проблему на своем материале.

Глава 8 организована по остаточному принципу: в нее вошли те явления, которые продемонстрировали относительно высокую встречаемость в корпусе, но не лежат в плоскости большей или меньшей каноничности / нормальности затрагиваемых структур. Среди них – характерное для части вставок (см. выше) снижение нейтральной для говорящего частоты основного тона, которое влечет соответствующее смещение всех тоновых движений внутри ЭДЕ; типичное для тех же вставок и цитирования увеличение свойственного конкретному говорящему среднего темпа артикуляции; удлинение гласной; редуцированное произнесение, типичное для нерелевантных фрагментов информации или для определенных социальных отношений между говорящим и адресатом; эмфатическое выделение; глоттальные элементы; неречевые элементы дискурса (смех, кашель). Кроме того, разъясняются способы обозначения таких технических элементов аудиофайла, как неразборчивая речь или обрыв записи.

Мы надеемся, что подробное изложение принципов и оснований транскрипции хотя бы отчасти прояснили причины диспропорции между размером корпуса (два часа записи, около 14 тыс. словоупотреблений) и длительностью проекта (около десяти лет). В корпусе сновидений все описанные выше явления последовательно и детально транскрибируются, спорные и промежуточные случаи рассматриваются индивидуально. Насколько можно судить со стороны, в этой работе нет случайных решений.

Повторим, что содержание других частей тома будет охарактеризовано лишь в самых общих чертах – и потому, что вторая часть представляется нам во многом центральной, и потому, что третья и четвертая часть содержат описание конкретных исследований, которые относительно слабо связаны между собой и каждое из которых заслуживает подробного разбора. Показательна и статистика авторства – если во второй части большинство глав написано в соавторстве четырьмя, иногда пятью участниками проекта, то главы третьей части имеют двух и трех авторов, а авторство глав четвертой части и вовсе индивидуально. Иными словами, книга, первая половина которой выглядит как коллективная монография, во второй половине больше похожа на две отдельные, относительно автономные публикации.

Часть третья посвящена клиническим приложениям корпуса и состоит из двух глав. Глава 9 является своего рода введением в современное состояние знаний о невротических расстройствах. В ней обсуждаются различные модели возникновения неврозов, детские неврозы, их связь со сновидениями и методы их диагностики. Глава 10 – анализ дискурса о сновидениях как возможной базы для диагностирования невротических заболеваний у детей. Выше уже было сказано, что в корпус в примерно равном количестве включены рассказы здоровых детей и детей, страдающих неврозами. Авторы сравнивают в первую очередь риторическую структуру дискурса у этих двух групп испытуемых. Вывод, к которому они приходят на материале корпуса, следующий: если «здоровый» дискурс характеризуется плоской структурой, линейным следованием центральных эпизодов и малым ветвлением изложения, то дискурс ребенка, страдающего неврозом, больше ветвится, обладает более сложной иерархической структурой и в целом большей длительностью. Часть четвертая состоит из трех содержательно неоднородных глав. Глава 11 посвящена методам определения просодических характеристик говорящего. Дело в том, что многие дискурсивно значимые просодические явления определяются по отношению к некоторому среднему значению – основному тону, целевому тону при движениях тона и т. п. (ср. также средний темп артикуляции). Но эти средние значения индивидуальны для каждого носителя, поэтому при анализе устного дискурса необходимо сначала определить эти средние значения – составить «просодический портрет» говорящего. В главе на конкретных примерах показано, как можно это сделать. В этом смысле глава носит вспомогательный, инструментальный характер: она описывает не столько результаты дискурсивного анализа, сколько методы, лежащие в его основании. Главы 12 и 13, напротив, представляют результаты исследования определенных дискурсивных явлений и структур. Первая рассматривает две просодические характеристики сложноподчиненных структур – величина пограничной паузы и соотношение акцентов в связанных ЭДЕ. Пограничные паузы оказываются существенно короче, чем аналогичные паузы между ЭДЕ, не связанными такими синтаксическими отношениями, что отражает синтаксическую интеграцию соответствующих клауз. Выделенные типы акцентных схем, в свою очередь, отражают разную коммуникативную значимость синтаксически главной ЭДЕ по отношению к подчиненной. Глава 13 исследует выражение конкретного типа логических отношений между ЭДЕ – случаи, когда одна единица дискурса служит для временной характеризации другой. Показана корреляция формальной и семантической типологии таких конструкций.

Последняя часть книги – почти двести страниц транскриптов – собственно корпус расска-

зов о сновидениях, который не нуждается в специальных комментариях. Осталось высказать некоторое количество соображений, вопросов и замечаний, отчасти критических.

Пожалуй, первый и главный вопрос, который возникает при чтении книги и которого авторы, возможно, намеренно постарались избежать, это вопрос о статусе устной речи в сравнении с другими типами языковых данных – языковая анкета, письменный узус, нормализованные записи. Однозначно высказавшись в пользу необходимости изучения спонтанной устной речи во введении к книге, авторы далее почти не возвращаются к вопросу об отношении их метода к более традиционным сферам лингвистического анализа. Вопрос повисает в воздухе, хотя он гораздо более дискуссионен, и поэтому гораздо более важен, чем тезис, высказанный авторами эксплицитно. Изучение устной речи предстает как бы изолированной, самостоятельной дисциплиной. Нам кажется, что такая позиция уязвима и что для некоторых исследований оказывается необходимым представление о нормализованном устном дискурсе, который, возможно, перекидывает мостик между спонтанной устной и письменной формами существования языка.

Каждый, кто когда-нибудь принимал участие в документировании малых языков, прекрасно знает, что носитель, помогающий исследователю в расшифровке чужого или даже своего текста, высказывает свое отношение к степени «нормальности» этого текста (иногда в довольно резкой форме). Подчас приходится тратить много времени и усилий для того, чтобы убедить его не корректировать живую речь, специально тренировать его работать со спонтанными текстами. Как кажется, это не зависит от давления письменной нормы – во всяком случае, мы говорим сейчас о нашем опыте работы с бесписьменными языками (хотя справедливости ради надо заметить, что речь идет именно о бесписьменных языках, но не о бесписьменных культурах – в этих сообществах высок уровень грамотности на одном или нескольких неродных языках). Представление о нормализованном, «чистом» тексте, о том, как должна быть устроена речь, «неискаженная» спонтанностью и когнитивными трудностями реализации, присутствует не только у традиционного лингвиста, но и у наивного носителя. Более того, кажется вероятным, что аналогичной нормализации исходный текст подвергается не только при обработке аудиозаписи – ситуация, мягко говоря, нетипичная для естественно-языковой коммуникации – но и, например, при цитировании чужой речи (оговоримся, что последнее – лишь гипотеза, которая хотя и представляется нам вероятной, но требует проверки). Так называемая прямая речь не ориентирована на повторение речевых сбоев исходного речевого акта, за исключением тех случаев, когда эти сбои отрефлектированы и обыгрываются при цитировании. И в том, и в другом случае носитель языка решает, что в речи другого человека является нормальным, а что – ошибкой речепорождения. Встает вопрос, какова природа языковой интуиции, на которую он опирается в своем решении.

Авторы несколько раз ссылаются на концепцию идеального речепорождения (ideal delivery). Не исключено, что проблема нормализации спонтанного текста как раз и связана с наивной моделью идеального речепорождения. Это возвращает нас к проводимой в исследовании классификации ЭДЕ на канонические, неканонические и осложненные. По крайней мере, для речевых осложнений и сбоев очевидно, что речь идет об отклонении от «идеального» дискурса – «чаще всего речевые сбои рассматриваются как досадная помеха, "замутнение" исходного языкового материала», но «речевые сбои и способы их преодоления оказываются неоценимым источником информации при обращении к языку с когнитивных, психологических и социологических позиций» (с. 177). Иными словами, авторы различают (или по крайней мере допускают возможность различить) ценность речевых сбоев для собственно лингвистического анализа, с одной стороны, и для анализа речевого поведения человека как частного случая разумного поведения, с другой, утверждая эту ценность именно для последнего (как кажется, вполне справедливо). Про неканонические конструкции речь не идет; возможно, они занимают промежуточное положение. Судя по поведению носителей в связи с вышеупомянутой задачей нормализации текста, идеальность речепорождения в значительной степени является оценочной характеристикой и может варьировать от носителя к носителю и от ситуации к ситуации. С одной стороны, топикализация является базовым механизмом организации дискурса, с другой – незапланированные топики и вообще разного рода перестройки дискурсивных структур на ходу могут оцениваться носителями как отклонения от нормы. Иными словами, лингвистическая аномальность текста – это шкала, возможно, затрагивающая некоторые из явлений, описываемых в главах 5, 6 и 7. Такой подход увеличивает значимость понятия неканонических ЭДЕ, которые в книге определяются только через неизоморфизм просодической и семантико-синтаксической организации речи.

Большое внимание в книге уделено проблеме выделения элементарных единиц дискурса. Это оказывается сложнейшей проблемой, опирающейся на целый комплекс свойств живой речи: просодия, синтаксическая структура, семантическая организация. Становится очевидно, что это не только центральная, но и одна из самых времяемких задач анализа – во всяком случае, в многочисленных спорных случаях. С другой стороны, авторы довольно скоро подводят читателя к мысли о физиологической мотивированности разнообразных характеристик этих единиц – например, замедление к концу реализации элементарной дискурсивной единицы (с интересной параллелью разумному поведению животных), падение амплитуды, граничные паузы (то есть паузы между ЭДЕ) – все эти характеристики связаны с процессом выдыхания воздушного потока. Один из самых фундаментальных результатов анализа звучащей речи, на который ссылаются и который подтверждают авторы книги, – это корреляция между физиологической и семантико-синтаксической организацией. В этой связи не может не вставать вопрос: почему в качестве границы ЭДЕ нельзя признать непосредственно момент, в который говорящий переводит дыхание? Понятно, что перевод дыхания может быть более или менее резким, полным и т. п., но ведь и те основания, на которых в книге предлагается выделять ЭДЕ, также бывают в большей или меньшей степени артикулированы. Понятно также (и это более важно), что, в отличие от просодических характеристик аудиопотока, информация о переводе дыхания является чисто физиологической и не дана нам в непосредственной данности в аудиозаписи. Тем не менее кажется естественным признать в качестве такой границы именно перевод дыхания, а предлагаемые авторами признаки границы – лишь более или менее четкими акустическими следами этой границы. В конце концов, содержательные, когнитивные интерпретации тех или иных явлений корпуса (например, речевых затруднений) также не даны авторам в непосредственном наблюдении – и все же это не мешает им признавать их феноменологическую реальность.

Есть еще одно, менее категорическое, но все же, как нам кажется, существенное соображение, связанное с членением дискурса на ЭДЕ. Авторы исходят из посылки, что любой дискурс однозначно делится на единицы; любая неоднозначность связана только с недостатком информации (нечетко выраженными граничными сигналами). С другой стороны, из теории грамматики известны многочисленные случаи перехода от полипредикативной конструкции к сложному (а потом и простому) глаголу. Вероятно, такой переход должен коррелировать с переходом от структуры, состоящей из нескольких ЭДЕ, к структуре, состоящей из одной ЭДЕ. Иными словами, мы предполагаем, что дело не только в том, что границы между ЭДЕ могут быть в разной степени видимы средствами инструментального анализа. Они могут быть в разной степени выражены в самом речевом потоке или, иными словами, в разной степени присутствовать в материале. Это рассуждение примерно аналогично рассуждению про развитие грамматических категорий: если мы фиксируем одно число падежей на некотором историческом этапе развития языка и другое – на другом, мы вынуждены сделать вывод, что те или иные показатели или формы в какой-то момент постепенно интегрировались в эту систему, то есть комбинировали падежные и непадежные свойства. Материал главы 12, как кажется, отчасти подтверждает это само по себе абстрактное соображение – пограничные паузы, отделяющие элементы сложноподчиненных конструкций, значимо меньше по длительности, чем другие вхождения пограничных пауз. Еще более высокую степень интегрированности можно было бы ожидать от фазовых и модальных конструкций, нефинитная часть которых в корпусе также выделяется в самостоятельную ЭДЕ – кажется, скорее на синтаксических основаниях.

Наконец, даже если принять обе посылки выделения ЭДЕ, с которыми мы выше спорили, остается еще одно соображение. Авторы предлагают в неоднозначных случаях комбинировать просодические и семантико-синтаксические критерии. Нам не вполне ясно, насколько последнее оправдано. Эмпирическим результатом проекта является подтверждение тезиса о том, что сегментация речевого потока по просодическим признакам коррелирует с его семантико-синтаксической организацией. Этот результат ценен постольку, поскольку выделение просодических и семантико-синтаксических единиц осуществляется независимо. В тот момент, когда мы принимаем возможность при выделении ЭДЕ опираться на синтаксис и/или семантику, мы ослабляем этот эмпирический результат. Например, затруднительной оказывается интерпрстация утверждения о том, что почти 70 % ЭДЕ являются клаузальными (с. 62). Вот один пример, связанный с таким смешением оснований для выделения ЭДЕ. Так же, как и топик, локативные и временные темы довольно часто предшествуют паузе и имеют характерный для топика восходящий тон и не имеют лишь одного признака топика – номинативного оформления. Но этого признака они не имеют по самоочевидным причинам, так что

невыделение тем этого типа в особый тип проспективной клаузы (с. 114) представляется, по крайней мере, недостаточно мотивированным.

Вызывают серьезные сомнения аргументы, которые авторы выдвигают в доказательство репрезентативности созданного ими корпуса (с. 34–37). Как указывают сами авторы, сильная сторона корпусного подхода – это выявление основных, базовых языковых конструкций. Можно также предположить, что один из главных предметов исследования – инвентарь локальных структур дискурса – достаточно ограничен, чтобы быть неплохо представленным в корпусе столь малого объема (в отличие, например, от лексических и морфологических явлений, для которых необходим корпус несопоставимо большего объема, пусть и с менее глубокой разметкой). Однако ничто не доказывает, что нет таких дискурсивных явлений, в том числе явлений локальной структуры, которые недостаточно частотны для того, чтобы быть в нем представленными. Прекрасно известно, что в письменном узусе бывают достаточно редкие синтаксические конструкции (например, инверсия количественной группы со значением приблизительности) – непонятно, почему мы не должны ожидать других, но не менее редких конструкций в устном дискурсе. Пока в наши задачи входит разработать принципы сегментации речи, корпус такого объема можно, вероятно, считать достаточным, но для многих иных проблем когнитивного анализа дискурса его будет недостаточно. В качестве примеров сошлемся на текст книги – на с. 105 авторы указывают, что низкая частотность ЭДЕ, не содержащих финитной глагольной формы, не позволяет сделать вывод об их когнитивной мотивации – иными словами, объем корпуса не позволяет решить задачу исследования (см. также комментарии о запланированном топике на с. 112).

Еще большие опасения вызывает однородность корпуса с точки зрения представленного в нем типа дискурса, причем однородность сразу по нескольким параметрам – это корпус (а) детских (б) нарративов о (в) сновидениях. Даже если допустить, что тематика не вызывает серьезных смещений в принципах организации дискурса, то тот факт, что это нарративы, представляющие детскую речь, никак невозможно игнорировать при оценке репрезентативности корпуса. Нельзя не согласиться с тем, что «жанр рассказа – один из наиболее фундаментальных и универсальных жанров дискурса», но не менее универсальным и, вероятнее всего, более фундаментальным является диалог, т. е. обмен информацией с активной обратной связью и, в более широкой антропологической перспективе, использование языка для регулирования жизни популяции, в чем нарратив играет если не второстепенную, то по крайней мере не главную роль. При этом совершенно неочевидно, почему инвентари дискурсивных структур, характерных для этих двух базовых жанров, должны быть идентичны – более того, совершенно непонятно, как они вообще могут быть идентичными. Число вопросительных иллокуций в корпусе невелико (44 вопроса), причем авторы указывают, что общие и специальные вопросы ведут себя просодически различным образом. Формы обращения, как говорят опять же сами авторы исследования, засвидетельствованы в корпусе исключительно или почти исключительно в контекстах цитирования; вероятно, то же верно и о директивных ЭДЕ. Оставим в стороне то, что в диалогических текстах эти типы иллокуций, возможно, более частотны, чем в нарративах, и обратим внимание на следующее: хотя цитирование обращений и императивов является самостоятельным интересным предметом для изучения, вообще говоря, нам ниоткуда не известно, что обращение оформляется при цитировании так же, как в первичных контекстах.

Пожалуй, это единственный и совсем небольшой (на несколько страниц) фрагмент книги, который вызывает серьезное недоумение. Неясно, зачем авторам потребовалось выстраивать столь шаткую аргументацию в защиту репрезентативности своего корпуса, если можно было с гораздо большим основанием сказать, что он достаточен для того, чтобы решить поставленные ими задачи – выявить «базовые» принципы организации русского нарративного дискурса и на порядок упростить последующим исследователям решение методологических и аналитических задач, в том числе адаптацию выводов и методов настоящего исследования к анализу диалогических и иных устных жанров.

Другие соображения носят уже более факультативный характер или не затрагивают существенных узлов теоретической концепции авторов. Приведем несколько из них. В главе 6 имплицитно противопоставляются не данные в непосредственном наблюдении когнитивные затруднения, которые говорящий испытывает при речепорождении, с одной стороны, и, с другой стороны, их внешние проявления в речевом потоке. Так, заполненная пауза признается сигналом хезитации. Здесь казалось бы очень естественным провести это противопоставление и на терминологическом уровне – термин «затруднение» закрепить в описанном выше понимании, а «проявления» называть речевыми сбоями. Авторы используют оба тер-

мина скорее синонимично. В главе 7 прямым цитированием названа такая передача чужой речи, при которой говорящий подает цитируемую речь как не принадлежащую ему и приписывает все особенности интонации, лексики и грамматики исходному автору текста. Косвенным цитированием называется такая передача чужой речи, при которой цитация становится частью подчинительной конструкции и утрачивает свойства оригинала, а полупрямым – любое цитирование, объединяющее черты прямого и косвенного (с. 293–294; определения, впрочем, сильно сокращены). Обратим внимание на то, что прямое цитирование определено как интенция говорящего, а косвенное – как свойства высказывания (неидентичность цитации оригинальному высказыванию). Последнее апеллирует именно к тому традиционному и проблемному подходу, от которого авторы стараются оттолкнуться, справедливо указывая, что исходное высказывание почти никогда не дано ни адресату, ни исследователю в непосредственном наблюдении. Кроме того, априори далеко не очевидно, что косвенное цитирование во всех языках непременно должно быть связано с подчинением, так как существуют и другие, когнитивно более важные способы перестройки цитируемого текста – в первую очередь смещение дейктического центра. Межъязыковая универсальность выводов не является необходимым требованием в рамках данного проекта, но связанная с ней осторожность формулировок была бы очень близка данному разделу по крайней мере по духу.

Из более мелких замечаний озвучим лишь некоторые. Мы бы предложили пересмотреть характеристику статистического распределения количества словоформ в ЭДЕ, обсуждаемого на с. 61, – и по форме кривой, и по естественным для данного распределения ожиданиям оно кажется скорее логнормальным, чем нормальным, как утверждают авторы. На с. 63 приводятся подсчеты Д.В. Найшуль доли непереходных vs. переходных и одноместных, двухместных vs. трехместных глаголов, но результаты эти, сами по себе интересные, повисают в воздухе, так как никак не комментируются. При обсуждении степени детальности транскрипции достаточно четко определяются те просодические признаки, которые в корпусе игнорируются; однако остается не вполне ясным, являются ли эти признаки скорее адаптивными, автоматически определяемыми просодическим контекстом (как может показаться из обсуждения на с. 82–83), или просто являются нецелевыми для задач транскрипции и сознательно игнорируются (на что, кажется, указывает обсуждение приведенного на с. 81 примера из С.В. Кодзасова или дискуссия о целевых уровнях тона на с. 84 и контрастивных тонах на с. 85). Разделение иллокуции обращения на собственно обращения и апеллятивы (с. 91–92) либо недостаточно убедительно, либо недостаточно мотивировано.

В заключение хочется еще раз дать общую оценку книге. Как и некоторые другие парадигмы современной науки о языке, дискурсивный анализ приходит в нашу лингвистику с заметным опозданием, но зато – возможно, в качестве компенсации – сразу на высоком академическом уровне. На наш взгляд, основная заслуга авторов не в том, что они получили конкретные теоретические результаты анализа структуры дискурса, а в том, что они заложили инструментальный и методологический фундамент такого анализа на будущее.

М.А. Даниэль

***A. Polguère, I.A. Mel'čuk* (eds.). Dependency in linguistic description.** (Studies in language companion Ser. V. 111). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2009. xii + 281 p.

В серии сборников и монографий, которые издаются с 1978 г. при журнале «Studies in language» и в основном отражают типологические исследования и теоретические концепции, альтернативные генеративной грамматике, вышел сборник из четырех больших статей, посвященный синтаксическим зависимостям. Зависимости – метод моделирования синтаксической структуры, исходящий из предположения, что она может быть адекватно представлена как множество бинарных однонаправленных отношений между словами. Этот метод имел долгую предысторию, но в основном был разработан на рубеже 1950–1960-х гг. [Tesnière 1959; Gaifman 1961; Фитиалов 1962; Hays 1964; Падучева 1964 и др.]. Впоследствии зависимости не получили широкого распространения, проиграв в «конкурентной борьбе» структурам составляющих, которые использует генеративная грамматика. Известными лингвистическими направлениями, использующими синтаксис зависимостей, остаются модель «Смысл-Текст» (далее МСТ) И.А. Мельчука и его соавторов [Мельчук 1974; Mel'čuk, Pertsov 1987; Mel'čuk 1988; 2001], представленная в рецензируемом сборнике, и «Word Grammar» Р. Хадсона [Hudson 1984; 1990; 2010] а также работы некоторых германских лингвистов, например [Heringer 1996].

В предисловии к сборнику И.А. Мельчук и А. Польгер дают общую характеристику синтаксиса зависимостей. Признаками структуры зависимостей являются связность (в предложении не может быть слов, не входящих в отношение зависимости хотя бы с одним другим словом), направленность (грамматические свойства пары слов, соединенной зависимостью, определяются одним из них, которое называется главным словом (governor)[1]), строгая иерархическая организация (каждое слово в предложении или словосочетании имеет ровно одно главное слово, кроме одного-единственного, которое соответствует корневому узлу структуры) и значимость синтаксических отношений (которые передают больше информации, чем только иерархическое отношение между парой слов). С точки зрения МСТ, синтаксическая структура (дерево зависимостей) представляет собой промежуточный уровень между семантическим представлением (сетью) и морфологическим (цепочкой). Разграничиваются два синтаксических уровня: глубинный, ближе к семантике, и поверхностный, ближе к морфологии; в синтаксических структурах линейный порядок не задан.

В статье И.А. Мельчука «Зависимость в естественном языке» обсуждаются общие вопросы применения аппарата зависимостей. С некоторым развитием и уточнением подробностей здесь повторяется концепция, изложенная в [Mel'čuk 1988] и последующих работах автора. Различаются три типа синтагматической зависимости слов в предложении: семантическая, синтаксическая и морфологическая; к последней относятся согласование, управление и конгруэнтность. Отбросив несколько «ненужных» видов синтагматической связи между словами – лексическую сочетаемость, анафору, линейный порядок и коммуникативную доминацию, автор постулирует универсальное бинарное отношение между словоформами, одна из которых является главным словом, а вторая – зависимым (dependent).

Для установления синтаксической зависимости между двумя словоформами И.А. Мельчук предлагает три группы критериев и описывает стратегии выбора аналитического решения в тех случаях, когда они противоречат друг другу. Во-первых, это критерии наличия зависимости. К ним относится линейный порядок (положение одного слова определяет положение другого) и просодическое единство (оба слова образуют просодически слитный комплекс или являются вершинами двух наиболее крупных составляющих этого комплекса).

Во-вторых, это отточенные и усовершенствованные И.А. Мельчуком критерии направления зависимости, позволяющие разграничить главное и зависимое слово: сходство пассивных синтаксических валентностей сочетания и его главного слова («критерий Базелла»), главное слово как носитель морфологических связей с внешним контекстом («критерий Звики») и семантический критерий («зависимое слово называет разновидность того, что обозначено главным словом, а не наоборот»). В связи с первым критерием точнее было бы сказать, что главное слово определяет пассивные валентности сочетания, так как не очень ясно, как можно рассматривать пассивные валентности экзоцентрических главных слов, т. е. предлогов и подчинительных союзов, отдельно от их зависимых, без которых они, как правило, не употребляются.

В-третьих, это критерии, на основании которых может быть установлен тип зависимости, т. е. поверхностно-синтаксическое отношение (ПСО). Это критерии семантического контраста – одно ПСО не может соответствовать двум семантически различным отношениям, если это различие выражается грамматическими средствами; отредактированный И.А. Мельчуком «критерий Кунце», который устанавливает взаимозаменяемость зависимых при одном и том же ПСО; и критерий повторяемости: ПСО может либо допускать неограниченное число повторений при одном и том же главном слове, либо не допускать их совсем. Разграничение повторяемых и неповторяемых ПСО соответствует разграничению аргументов и адъюнктов в генеративной грамматике.

На с. 40, давая определение синтаксической зависимости на основе предложенных критериев, И.А. Мельчук одновременно оперирует значительно более простым понятием – зависимостями в математическом смысле, т. е. отношениями в дереве зависимостей. Так, на следующей странице он перечисляет свойства, входящие в математическое определение дерева: антисимметричность, антирефлексивность, антитранзитивность и запрет на вхождение двух стрелок в один узел. Недостаточно четкое разграничение простой математической модели и тех весьма сложных языковых фактов, с которыми эта модель сопоставляется, может создать затруднение для читателя.

[1] И.А. Мельчук вводит (с. 9) напрашивающееся терминологическое различие между вершиной (head) как грамматическим центром словосочетания (в котором может быть больше двух слов) и главным словом, которое связано бинарным отношением с зависимым. Термин «governor», однако, неудачен, так как связан с понятием government 'управление', а главное слово не всегда управляет зависимым.

Автор выделяет три вида зависимостей на основе того, как семантические отношения «накладываются» на синтаксические: комплементацию, модификацию и координацию (сочинение). Затем приводится список из 52 ПСО для английского языка – 50-ти подчинительных и двух сочинительных – и рассматривается проблема соотношения между семантическими, синтаксическими и морфологическими зависимостями.

Далее И.А. Мельчук рассматривает некоторые «распространенные ошибки», связанные с зависимостями. Во-первых, это проблема относительных местоимений, которые, как кажется, зависят и от своего сказуемого, и от определяемого существительного (нарушение принципа единственности главного слова) и одновременно, подобно подчинительным союзам, выступают как главные слова по отношению к сказуемому (нарушение запрета на контур): (1) *человек,* → *которого* ↔ *видели*. И.А. Мельчук полагает, что связь относительного местоимения и его антецедента представляет собой морфологическую, а не синтаксическую зависимость. Недостаток такого решения, однако, в том, что, как и в косвенных вопросах (2) *спрашивает,* → *куда* ↔ *пошел*, остается необъяснимым положение союзного слова строго на левой периферии придаточного, т. е. в позиции подчинительного союза, и одновременно при определяемом слове в (1) и при главном глаголе в (2).

Почему И.А. Мельчук категорически не допускает хотя бы отдельных нарушений принципа единственности главного слова, как в (1–2) или в конструкциях типа (3) *оставили дверь* → *открытой,* не вполне понятно. Генеративизм в рамках своей логики не может отказаться, например, от принципа непересечения дуг (No Crossed Branches Axiom) в структуре составляющих, потому что это соотношение иерархии и линейного порядка рассматривается как фундаментальный незыблемый принцип универсальной грамматики. Однако в методологии МСТ, как кажется, возможно допустить, что принцип единственности главного слова хотя и редко, но нарушается, – такое допущение только усилило бы описательные возможности модели.

Разбирая возражение, состоящее в том, что с помощью зависимостей невозможно выразить различную степень связи зависимых слов с главным, И.А. Мельчук на примере конструкции с двумя дополнениями (с. 73) показывает, что этот вопрос решается разметкой зависимостей. Скорее всего, оппоненты имеют в виду линейную неразрывность комплементов и вершин в английском языке, которая решается в генеративной грамматике введением «штриховых» уровней и не может быть выражена с помощью разметки ПСО, так как эти отношения в случаях (4–6) разные: (4) a. *studies physics at Cambridge* 'изучает физику в Кембридже'; b. **studies at Cambridge physics*; (5) a. *student of physics at Cambridge* 'студент-физик в Кембридже'; b. **student at Cambridge of physics*; (6) a. *right between the eyes* 'прямо между глазами'; b. **between right the eyes*.

Разобрав несколько спорных случаев, в том числе предложения без выраженного глагола, И.А. Мельчук в их число не включил полные предложения, состоящие из одного глагола-сказуемого, например, императивные, т. е. соответствующие одному узлу в синтаксической структуре. Между тем такие предложения также представляют вызов методу зависимостей. Приводимый И.А. Мельчуком пример А.А. Реформатского [Реформатский 1967: 28–29], «идеально четко демонстрирующий иерархию языковых единиц: латинское *I* 'Поезжай!', являющееся звуком, фонемой, слогом, морфемой, словоформой, синтагмой, предложением и целой фразой» [Мельчук 1995: 587], показывает преимущества составляющих в разграничении единиц разных уровней, подчиняющихся разным правилам: (7) [$_{\text{предложение}}$ [$_{\text{синтагма}}$ [$_{\text{слово}}$ [$_{\text{морфема}}$ [$_{\text{слог}}$ [$_{\text{фонема}}$ *Л*]]]]]].

Далее в статье предлагается восемь кратких аналитических этюдов, в основном на материале русского, английского и романских языков. Анализируя конструкцию с «аппроксимативным» предлогом (8) *около пяти килограмм*, возможную только в позиции подлежащего и прямого дополнения, И.А. Мельчук показывает, что предлог *около*, задающий необычную дистрибуцию, является главным словом. Можно заметить, во-первых, что эта конструкция возможна не только в роли подлежащего и прямого дополнения, но и в других позициях винительного падежа: (9) *разговаривали около двух часов*; (10) *В идеале российские нефтяники хотели бы иметь цену внутри страны в около 50 центов за литр* (Национальный Корпус русского языка). Во-вторых, (8) входит в обширный класс русских кванторных выражений с такой же дистрибуцией: (11) *от пяти до десяти человек; немного народу; не больше трех, на три тысячи рублей подарков, дофига игрушек, сколько хочешь мороженого…* и некоторых не кванторных именных групп (12) *что за Маша (Машу, *Маше...)*, в том числе многих собственных имен, образованных на основе предложений, предложных групп и их фрагментов: (13) *«На дне», «Летят журавли», «Друзьям»*. По-видимому, общим для всех перечисленных случаев является отсутствие склоняемой вершины, однако сохраняющиеся при этом признаки именной конструкции – например, спо-

собность выступать в позициях двух падежей, иметь референт, выражать семантическую роль или заменяться на местоимения – это наблюдение не объясняет.

Рассматривая преимущества зависимостей в сравнении с составляющими, автор справедливо указывает на их естественную связь с активными валентностями лексем. Действительно, генеративной грамматике, в отличие от МСТ, не удалось связать отношения лексической сочетаемости со структурными отношениями сколько-нибудь убедительным образом.

В заключительной части статьи обсуждается использование составляющих. Составляющие в понимании МСТ представляют собой не синтаксическую единицу, а единицу глубинно-морфологического уровня: цепочку словоформ, образующих неразрывную проекцию поддерева зависимостей и целиком подчиняющуюся правилам порядка слов.

Статья И.А. Мельчука – полное и четкое изложение теории зависимостей на нынешнем этапе развития МСТ, предлагающее на разнообразном материале убедительные решения для большинства трудных случаев. Можно заметить, что статья обладает тем же недостатком, что и предыдущие публикации автора по синтаксису зависимостей на английском языке: она рассчитана на слишком узкую аудиторию сторонников МСТ или студентов, впервые приступающих к изучению синтаксиса. Читатель, прошедший школу генеративной грамматики или оппонирующих ей формальных теорий, прежде всего обращает внимание на отсутствие фразовых категорий: именной группы (ИГ; точнее, «группы существительного»), предложной группы, группы подчинительного союза и т. д. Так же, как пассивные синтаксические валентности слова определяют грамматические классы лексем, т. е. части речи (с. 4), пассивные синтаксические валентности словосочетаний разбивают их на грамматические классы (термин «phrasal categories» точнее всего переводится на русский язык как 'части речи, определенные на словосочетаниях'), и отсутствие этих классов в синтаксическом описании создает затруднения того же рода, к которым привело бы отсутствие понятия частей речи в морфологии.

В общей форме ответ на этот вопрос дан на с. 90: информация, содержащаяся в нетерминальных узлах структуры составляющих, в структуре зависимостей выводится из ПСО. Однако тот предполагаемый читатель, о котором идет речь, считает окончательно установленным, например, что а) основные грамматические и семантические признаки, имеющие значение для синтаксиса, характеризуют не слова и не отношения между словами, и даже не составляющие вообще, а именно фразовые категории: падеж – свойство ИГ в целом, а не только вершины-существительного и не только ее определений; категории согласования характеризуют предложения или ИГ[2], финитные морфологические категории, такие, например, как время в английском языке или наклонение в русском, характеризуют предложения, а не только глагольные словоформы (та же идея неформально разрабатывается в русской грамматической традиции начиная с А.М. Пешковского); б) ИГ и придаточные предложения, а не их главные слова, заполняют валентности слов-вершин и выражают семантические роли; в) референтам соответствуют ИГ, а не существительные; г) ИГ, а не существительные, могут быть антецедентами местоимений; д) сферы действия операторов вопроса, отрицания, контрастивности и кванторов обычно совпадают с границами фразовых категорий, причем не любых, и т. д. Более или менее удовлетворительные ответы на некоторые из вопросов, возникающих в связи с отсутствием фразовых категорий в синтаксисе зависимостей, читатель может получить только после основательного изучения нескольких публикаций МСТ.

Преимущества модели, не использующей словосочетаний (phrases), обосновываются в статье С. Каана «О статусе словосочетаний в вершинной грамматике составляющих: иллюстрация посредством чисто лексической трактовки выдвижений». В статье предлагается интерпретация с помощью аппарата зависимостей проблемы выдвижений (extractions) в рамках «вершинной грамматики составляющих» (Head-driven Phrase Structure Grammar, HPSG) К. Полларда и И. Сага. HPSG представляет структуру языковых элементов в виде признаковых репрезентаций: множества признаков и тех значений, которые они принимают. В зависимости от набора признаков

---

[2] В терминах зависимостей обобщение не может быть сформулировано: с одной стороны, И.А. Мельчук вводит требование локальности в само определение согласования, отграничивая его от конгруэнтности (когда контролер и мишень разделены границей предложения), с другой стороны, при согласовании мишень и контролер могут находиться, а могут и не находиться в отношении зависимости (с. 20–21). Кроме того, трактовка согласования в терминах зависимостей неизбежно приводит к «размножению» категорий согласования, например, появляются «субстантивное число», «адъективное число» и «предикативное число», каждое из которых требует отдельного правила [Мельчук 1998: 351–352].

элементы объединяются в типы; одним из таких типов является словосочетание (phrase). С. Каан предлагает в качестве признаковых описаний слов фрагменты деревьев зависимостей: главное слово выступает как значение признака HEAD (вершина), зависимые – как значения признака VAL (модель управления); затем на их основе строится дерево зависимостей, в котором пары слов используются вместо принятых в HPSG словосочетаний. Выдвижения С. Каан предлагает рассматривать также как особый случай сочетания слов: слово, подвергшееся выдвижению, образует одну пару в качестве вершины предложения с главным глаголом и другую пару с той вершиной, под которой возникает пробел.

Статья Л.Н. Иорданской и И.А. Мельчука «Установление инвентаря поверхностно-синтаксических отношений: валентностно обусловленные поверхностно-синтаксические зависимые глагола во французском языке» представляет образец применения структуры зависимостей к установлению актантных поверхностно-синтаксических отношений во французском языке. Семейство конструкций, объединяемых одним ПСО, представляет дистрибутивное обобщение в принципе того же типа, что, например, объединение алломорфов в морфему. Элементы, входящие в такую «конструкционему» («constructioneme», с. 152), не должны противопоставляться семантически, но должны быть взаимозаменимы и обладать общими комбинаторными свойствами.

Основная задача статьи – установление части ПСО французского языка, а именно тех, которые реализуют глубинно-синтаксические актанты глагола. Выделяется 16 релевантных признаков зависимых глагола, отчасти совпадающих с известными в типологической литературе признаками грамматического приоритета: синтактико-семантический (соответствие глубинно-синтаксическому актанту глагола), чисто синтаксические (обязательность, вовлеченность в процессы подъема или опущения, способность к клитизации и релятивизации, способность быть контролером или мишенью релятивизации...) и морфолого-синтаксические (способность к согласованию и к контролю согласования, линейная позиция относительно глагола, невозможность сдвига влево...). Используется понятие прототипического зависимого, т. е. такой части речи, которая может употребляться в качестве зависимого с любым главным словом при данном ПСО. Особый интерес представляет разбор случаев, не имеющих такого прототипа, например, «квазисубъектного» отношения в безличной конструкции (14) *Il est raconté beaucoup d'histoires bizarres* 'Рассказывалось много странных историй', где в роли подлежащего выступает безличная клитика *il*. На основе анализа 14 признаков ПСО авторам удалось продемонстрировать значение известной иерархии Кинэна – Комри, первоначально сформулированной на материале типологии релятивизации [Keenan, Comrie 1977], причем иерархия в итоге принимает следующий вид: (15) подлежащее > прямое дополнение > непрямое дополнение > псевдопрямое дополнение (в значении параметрического признака или свойства) > агентивное дополнение > косвенный объект (с. 222).

В статье Й. Миличевич «Линейное расположение сербских клитик в модели синтаксических зависимостей» рассматривается известная проблема «вакернагелевского» расположения комплекса клитик в сербскохорватском языке в связи с теми трудностями, которые это явление представляет для подхода, основанного на структуре зависимостей. Главная трудность заключается в том, что у клитики, занимающей «вакернагелевскую», т. е. вторую, позицию в предложении (после первого ударного слова или первой составляющей), не совпадают главное слово и опорный элемент (host). Так, в предложении (16) *Ona ga je napustila* 'Она его оставила', одна из клитик комплекса *ga* 'его' зависит от другой клитики – вспомогательного глагола *je*. Автор вводит правила клитизации, т. е. приписывания граммемы 'клитика' всем лексемам поверхностно-синтаксической структуры, которые должны быть клитизованы, и правила линеаризации, которые превращают синтаксическую структуру в цепочку. Вначале происходит линеаризация не-клитических элементов, затем – клитик. Правила линеаризации клитик включают образование комплекса, определение опорного элемента и собственно правила расположения. При наличии абсолютного опорного элемента, т. е. такого, который всегда притягивает клитики, комплекс ставится после него. Если такого элемента нет, комплекс ставится после первой составляющей, которая определяется как опорный элемент, не подлежащий игнорированию (non-skippable host), или после любой составляющей, предшествующей первому не игнорируемому элементу. Комплекс при определенных условиях может оказаться и внутри опорной составляющей.

Ключевыми факторами в определении места сербскохорватских «вакернагелевских» клитик являются, согласно Й. Миличевич, синтаксические зависимости и коммуникативные противопоставления. Последние могут выражаться просодическими средствами, но не сводимы к просодическим признакам.

Исследование и сравнение возможностей различных способов моделирования синтаксической структуры, несомненно, будут продолжаться и впредь. Опыты анализа разнообразного материала с помощью зависимостей в рамках МСТ, предпринятые в рецензируемом сборнике, – существенный вклад в разработку этой темы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Мельчук 1974 – *И.А. Мельчук*. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл⇔Текст». М., 1974 (2-е изд. М., 1999).

Мельчук 1995 – *И.А. Мельчук*. Русский язык в модели «Смысл⇔Текст». М.; Wien, 1995.

Мельчук 1998 – *И.А. Мельчук*. Курс общей морфологии. Т. II. Ч. 2. М.; Wien, 1998.

Падучева 1964 – *Е.В. Падучева*. О способах представления синтаксической структуры предложения // ВЯ. 1964. №2.

Реформатский 1967 – *А.А. Реформатский*. Введение в языковедение. 4-е изд. М., 1967.

Фитиалов 1962 – *С.Я. Фитиалов*. О моделировании синтаксиса в структурной лингвистике // С.К. Шаумян. (ред.). Проблемы структурной лингвистики 1962. М., 1962.

Gaifman 1961 – *H. Gaifman*. Dependency systems and phrase structure systems. Santa Monica, 1961.

Hays 1964 – *D.G. Hays*. Dependency theory: a formalism and some observations // Lg. V. 40. 1964.

Heringer 1996 – *H.J. Heringer*. Deutsche syntax dependentiell. Tübingen, 1996.

Hudson 1984 – *R. Hudson*. Word grammar. Oxford, 1984.

Hudson 1990 – *R. Hudson*. English word grammar. Oxford, 1990.

Hudson 2010 – *R. Hudson*. An introduction to word grammar. Cambridge, 2010.

Keenan, Comrie 1977 – *E. Keenan, B. Comrie*. Noun phrase accessibility and universal grammar // LI 1977. 8 (русск. перевод в: А.Е. Кибрик (ред.). Новое в зарубежной лингвистике. XI. М., 1982).

Mel'čuk, Pertsov 1987 – *I. Mel'čuk, N.V. Pertsov*. Surface syntax of English. Amsterdam; Philadelphia, 1987.

Mel'čuk 1988 – *I. Mel'čuk*. Dependency syntax: theory and practice. New York, 1988.

Mel'čuk 2001 – *I. Mel'čuk*. Communicative organization in natural language. The semantic-communicative structure of sentences. Amsterdam; Philadelphia, 2001.

Tesnière 1959 – *L. Tesnière*. Eléments de syntaxe structurale. Paris, 1959 (русск. перевод: Л. Теньер. Основы структурного синтаксиса. М., 1988).

Я.Г. Тестелец

***L. Hogeweg, H. de Hoop, A. Malchukov* (eds.). Cross-linguistic semantics of tense, aspect and modality.** Amsterdam: John Benjamins, 2009. vii + 408 p.

Рецензируемый сборник статей «Типологическая семантика времени, аспекта и модальности» был выпущен по итогам конференции «TAM TAM: Cross-linguistic semantics of tense, aspect and modality», прошедшей в Неймегене (Нидерланды) в 2006 г. Целью организаторов конференции было собрать вместе представителей формальной семантики и типологии, исследующих эти категории в сравнительно мало изученных языках. В сборник входит предисловие и 14 статей, 5 из которых посвящены категории аспекта (и ее взаимодействию с категорией времени), а 9 посвящены модальности.

В предисловии, написанном редакторами сборника, реферируется содержание статей, входящих в сборник, и предлагается тематическое разделение этих статей. По мнению редакторов, все статьи можно разделить на 4 группы: (1) статьи о взаимодействии времени и аспекта, (2) статьи о модальности и фактивности (factuality), (3) статьи о других подходах к модальности и (4) статьи о взаимодействии падежа и модальности. Мне кажется, что в целом такое разделение разумно, хотя статья Девиса, Меттьюсон и Руллмана (см. ниже) скорее относится к «другим подходам к модальности» и могла бы соседствовать со статьей Ф. Наузе. В предисловии кратко и точно указываются основные идеи статей.

В статье А. Мальчукова «Несовместимые категории» обсуждается явление несовместимости грамматических категорий на примере категорий перфектива и настоящего времени. Перфектив, с точки зрения автора, обозначает взгляд на ситуацию как на ограниченную (bounded), в то время как настоящее время означает, что ситуация разворачивается в момент речи – очевидно, что два этих значения несовместимы; между тем морфемы, выражающие эти значения, могут сочетаться. Языки по-разному справляются с такой ситуацией: во-первых, сочетание несовместимых категорий может быть неграмматично, во-вторых, при сочетании может изменяться значение одной или обеих морфем. В русском языке соче-

танис перфектива и настоящего времени интерпретируется как будущее время (*приду*), то есть значение настоящего времени не сохраняется, а перфектив сохраняется. С другой стороны, в болгарском то же сочетание морфем интерпретируется как генерическое настоящее (нарративное или хабитуальное), то есть теряется значение перфектива с сохранением значения настоящего времени[1].

Мальчуков считает, что семантическая несовместимость является не единственным фактором, влияющим на сочетаемость морфем: на это влияет также взаимная релевантность категорий. В частности, аспектуальные различия более важны при описании прошлого, чем будущего, хотя в принципе будущее время семантически сочетается с разными аспектами; значит, аспект будет скорее выражаться в прошедшем времени, чем в будущем. По мнению автора, взаимодействие категорий можно формализовать при помощи теории оптимальности (синтаксической и семантической). Так, иерархию релевантности сочетаний времени и аспекта можно представить в виде иерархии ограничений (constraints):

*PFv&PRES >> *PFv&FUT >> *PFv&PAST

Данная иерархия означает, что ограничение на сочетание перфектива и настоящего времени наиболее маркировано (следовательно, это наиболее сильный запрет), а сочетание перфектива и прошедшего времени наименее маркировано. Кроме этой иерархии, используются также так называемые ограничения достоверности (faith constraints), которые требуют, чтобы элементы сохранялись на всех уровнях деривации, например, FAITH(PFV) требует, чтобы значение перфектива было выражено в виде морфемы. Если в языке ограничение *PFv&PRES более маркировано, чем ограничения FAITH(PFV) и FAITH(PRES), то сочетание морфем перфектива и настоящего времени будет невозможно.

Для того чтобы объяснить изменения значений морфем, как в русском и болгарском языках, используется семантическая теория оптимальности, в которой моделируется интерпретация форм. В ней есть такие ограничения, как FIT, запрещающее семантически несовместимые категории, а также FAITH(asp) и FAITH(tense), требующие, чтобы морфемы аспекта и времени соответственно сохраняли свои значения. Таким образом, в русском языке наиболее высоко маркировано ограничение FIT (поэтому значения настоящего времени и перфектива не сочетаются), а FAITH(asp) более маркировано, чем FAITH(tense), поэтому значение аспекта сохраняется, а значение времени – нет. В болгарском языке ограничение FIT тоже маркировано наиболее высоко, но FAITH(tense) более маркировано, чем FAITH(asp), поэтому сохраняется значение настоящего времени. В целом можно сказать, что формальный аппарат теории оптимальности успешно описывает некоторые ситуации, связанные с несовместимыми категориями, однако непонятно, что объясняет эта теория и какие она делает предсказания. Кроме того, как мы видели в случае болгарского языка, взаимодействие времени и аспекта часто является гораздо более тонким и сложным, чем это представлено в статье: считать, что болгарский перфективный презенс полностью лишен перфективной семантики, – явное упрощение.

В статье К. Бари «Различие перфектива / имперфектива» описываются данные древнегреческого языка и приводятся аргументы против анализа грамматической семантики глагольных форм в терминах «принуждения» (coercion), предложенного Де Сварт [de Swart 1998] на материале французского языка. Во французском языке формы прошедшего passé simple и imparfait, как известно, различаются аспектуальным значением: в интерпретации автора статьи, imparfait в сочетании с гомогенными (homogeneous), то есть непредельными, предикатами означает дуративное действие в прошлом (*спал*), а в сочетании с предельными предикатами выражает дополнительные значения прогрессива или регулярно повторяющейся ситуации (хабитуалис). Passé simple в сочетании с квантованными (quantized), то есть предельными, предикатами означает законченное действие в прошлом, а в сочетании с непредельными предикатами выражает начало действия (ингрессив) или «событийную интерпретацию» действия в прошлом.

Де Сварт предлагает считать эти показатели не показателями аспекта, а показателями времени, чувствительными к классу предиката. В пользу этого анализа говорит, в частности, тот факт, что эти показатели употребляются только в прошедшем времени, и в формах глагола отсутствуют отдельные показатели времени и аспекта. К. Бари показывает, что в древнегреческом есть похожие по функции показатели аориста и имперфекта, однако они употребля-

---

[1] Однако нельзя сказать, что перфективное значение в таких контекстах полностью теряется: от него остается по крайней мере значение однократности, почти всегда в той или иной степени присутствующее, как и в русских хабитуальных употреблениях презенса СВ (см. подробнее, например [Маслов 1956: 231–233]). Что касается нарративных употреблений болгарского перфективного презенса, то к ним, на наш взгляд, вряд ли приложимо определение «генерических».

ются не только в прошедшем времени, а время и аспект выражаются отдельными морфемами. Исследовательница предлагает считать, что эти показатели выражают аспект, то есть при использовании показателя аориста ситуация рассматривается как квантованная, а при использовании показателя имперфектива – как гомогенная. В зависимости от класса предиката показатели аспекта могут добавлять или не добавлять значения.

Кажется довольно тривиальным утверждение, что в языке, в котором показатели аспекта выражаются отдельно от показателей времени и сочетаются с различными показателями времени, аспект является аспектом, а не контекстно-чувствительным временем. Непонятно, насколько анализ Бари применим к французскому языку. Бари обсуждает некоторые дополнительные аргументы за и против своего анализа (такие, как сфера действия наречий и многозначность показателей), но эти аргументы не доказывают убедительно преимущества анализа Бари. Возможно, более убедительные аргументы содержатся в диссертации [Bary 2009], на которую автор ссылается.

В статье П. Аркадьева «Лексические и композициональные факторы в аспектуальной системе адыгейского языка» описывается классификация глаголов этого языка по акциональным классам и их взаимодействие с наречиями времени. Автор, следуя методике, предложенной в [Tatevosov 2002; Татевосов 2005], разделяет так называемые «внутреннюю» и «внешнюю» аспектуальность, т. е. акциональный класс предиката и грамматический аспект соответственно. Акциональный класс предиката это пара, состоящая из универсальных элементарных акциональных значений (таких, как состояние, процесс, вхождение в состояние и т. д.), где первый элемент – значение предиката в имперфективном контексте, а второй – в перфективном контексте. В адыгейском языке в качестве имперфективного контекста используется настоящее время, а в качестве перфективного прошедшее время. На материале 130 глагольных лексем П. Аркадьев выделяет 7 акциональных классов, каждый из которых представлен и в других языках.

Интересно, что в адыгейском языке почти не представлены «слабые» (по терминологии С.Г. Татевосова) классы, то есть такие, которые в перфективном контексте имеют две интерпретации: например, у глагола со значением ‘любить’ в претерите есть интерпретация вхождения в состояние, но не состояния (1). Между тем оказывается, что наречия длительности (такие, как ‘пять лет’) в претерите с глаголами сильных классов тем не менее сочетаются (2), в результате чего у этих глаголов возникает длительная интерпретация, отсутствующая в предложениях без наречий.

(1) ç’ale-m pŝaŝe-r §$_w$ə
boy-OBL girl-ABS good
ə-λeʁ$_w$ə-ʁ.
3SG.A-PRS-see-PST
‘Мальчик полюбил девочку || *любил девочку (некоторое время)’.

(2) ç’ale-m pŝaŝe-r jəλes-jə-tfe
boy-OBL girl-ABS year-INF-five
§$_w$ə ə-λeʁ$_w$ə-ʁ.
good 3SG.A-PRS-see-PST
‘Мальчик любил девочку 5 лет’.

Автор делает вывод, что наречия составляют дополнительный аспектуальный уровень, который взаимодействует с акциональным классом глагола и глагольным аспектом. В качестве одного из аргументов в пользу своего анализа автор описывает нефинитную форму с префиксом *zere-* и суффиксом *-ew*, которая имеет пунктивную или дуративную интерпретацию в зависимости от акционального класса глагола. От глаголов сильных классов, которые в присутствии наречия могут обнаруживать и длительную интерпретацию, эта форма все же имеет только одну, пунктивную, интерпретацию. Одним из важных практических выводов этой работы является то, что следует с осторожностью использовать наречия времени в качестве теста для проверки акционального класса предиката, так как в некоторых языках наречия «принуждают» предикат получить интерпретацию, которая ему не свойственна.

В статье С. Татевосова и М. Иванова «Структура события некульминационного процесса» описывается явление, присутствующее в разных языках мира, которое заключается в том, что глаголы вендлеровского класса «accomplishment» (≈ предельного процесса) могут получать интерпретацию неудавшейся попытки или частично успешной деятельности в определенных формах (или при сочетании с наречиями длительности):

(3) Вася пооткрывал дверь пять минут и бросил (неудавшаяся попытка).
(4) Вася позаполнял анкету пять минут (частично успешная деятельность).

В ряде языков для некоторых предикатов возможны также оба прочтения.

Авторы обсуждают различные способы формализации этого явления в частности и понятия предельного процесса в целом, в том числе декомпозициональную и каузативную трактовку, и приходят к выводу, что ни одна из них не может адекватно описать это явление. Они предлагают использовать теорию, изложенную в [Rothstein 2004], в которой частью значения

глаголов класса исполнения является инкрементальное отношение INCR между подсобытиями. Например, в значение предиката *писать (письмо)* входит подсобытие активности (агенс пишет письмо) и подсобытие изменения состояния (письмо оказывается написанным); эти подсобытия связаны инкрементальным отношением, то есть каждая часть подсобытия написания письма связана с частью подсобытия «быть написанным». Таким образом, если событие «писать письмо» не достигает кульминации, возникает прочтение частичного успеха, так как частичная активность по написанию письма приводит к появлению части письма.

В то же время другие глаголы, такие как *открывать* (*дверь*), имеют иное значение, в частности, они содержат не отношение INCR, а отношение MMFP (отображение на минимальную финальную часть). Это отношение означает, что подсобытие изменения состояния («стать открытым») отображено в финальную минимальную часть подсобытия деятельности («открывать»). Таким образом, если событие «открывать» не достигает кульминации, то подсобытие «стать открытым» вообще не происходит, так как оно произошло бы только при достижении финальной части подсобытия деятельности «открывать», и возникает прочтение неудавшейся попытки.

В статье Н. Ромео «Грамматическое употребление бирманских глаголов *la* 'приходить' и *θwà* 'уходить'» описывается грамматикализация глаголов со значением приближения к дейктическому центру и удаления от него. Глагол *la*, который означает движение к дейктическому центру, употребляясь в качестве приглагольного суффикса, означает вхождение в процесс или состояние (инхоатив / ингрессив), причем это вхождение является естественным результатом какого-то действия или состояния. Глагол *θwà*, который используется в смысле движения от дейктического центра, употребляясь в качестве приглагольного суффикса, тоже означает вхождение в процесс или состояние, но мгновенное или неожиданное, а также вхождение в нежелательное состояние (например, *умереть*); кроме того, он может выступать в функции декаузативного показателя. По мнению автора, грамматикализованные употребления этих глаголов – это метафорическое развитие их лексических значений.

В статье Р. Ван Гейна и С. Гиппер «Ирреалис в юракаре и других языках» на основании анализа данных языка-изолята юракаре и нескольких других языков утверждается, что категория ирреалиса, существование которой как единой типологической категории подвергалось сомнению [Bybee et al. 1994], на самом деле существует. Авторы предлагают иерархию значений, которые могут вызывать появление показателя ирреалиса. Чаще всего ирреалисом маркируется контрфактивное значение; значение возможности также может маркироваться ирреалисом, причем авторы выделяют два подвида возможности: с уверенностью говорящего или без уверенности говорящего. Это разделение объясняет тот факт, что в некоторых языках императив и будущее время могут маркироваться или не маркироваться показателем ирреалиса. Если говорящий уверен, что событие произойдет, или что команда должна быть выполнена, то показатель ирреалиса отсутствует. Показатель ирреалиса также встречается в некоторых языках в сочетании с хабитуальным аспектом. По мнению авторов, это можно объяснить тем, что действие, маркированное этим аспектом, является неспецифицированным во времени, а вневременные значения тоже сочетаются с ирреалисом. Авторы также замечают, что в некоторых языках отрицание сочетается с ирреалисом, но не включают отрицательные контексты в иерархию, объясняя присутствие ирреалиса различиями сферы действия.

Существование иерархии является теоретически значимым выводом; иерархия предсказывает, что если в языке ирреалисом маркировано, например, будущее время, то и контрфактив будет обязательно маркирован ирреалисом. Однако авторы сами указывают возможные контрпримеры к своей иерархии: в языке йимас (Yimas) показателем ирреалиса маркируются вневременные события, но не контрфактивные, а в языке пининь кун-вок (Bininj Gun-Wok) ирреалис употребляется только с хабитуальным аспектом. Также не очень понятно основание для исключения из иерархии отрицания. Между тем читатели, владеющие русским языком, могут обратиться к сборнику [Ландер и др. 2004], в котором категория ирреалиса рассмотрена очень подробно.

В статье Р. Маркеша «Выбор наклонения в зависимых предложениях» предлагается формулировка единого правила выбора наклонения в романских языках. Как известно, в этих языках в зависимых предложениях может использоваться сослагательное наклонение (subjunctive) или индикатив, в зависимости от матричного глагола, а также других факторов. Автор статьи показывает, что выбор наклонения нельзя объяснить фактивностью матричного глагола, (ир)реальностью ситуации и типом речевого акта, как это делали другие исследователи.

Маркеш утверждает, что можно сформулировать правила выбора индикатива: для фактивных глаголов индикатив выбирается, если глагол выражает оценку говорящим (или субъектом главного предложения) вероятности

события, описываемого в зависимом предложении, и не выражает других модальных значений. То есть, глагол со значением «знать», который выражает уверенность говорящего в содержании зависимого предложения, требует индикатива, а глагол «радоваться», который дополнительно выражает эмоциональную оценку зависимого предложения, сочетается с сослагательным наклонением. В случае нефактивных глаголов ситуация та же: с глаголами оценки вероятности события (эпистемическая модальность например, «верить») может употребляться индикатив, а с глаголами, выражающими другую модальность («хотеть»), – сослагательное наклонение. Кроме того, сослагательное наклонение может употребляться и с глаголами оценки вероятности события, если не очень высока уверенность говорящего в событии, описываемом зависимым предложением.

Нужно отметить, что в статье используются примеры из русского языка, цитируемые по [Noonan 1985], которые являются как минимум странными (*Я люблю, что Борис придет*) и содержат опечатки. Остается надеяться, что примеры из португальского языка, носителем которого является автор статьи, более достоверны.

В статье Г. Девиса, Л. Меттьюсон и Х. Руллмана «Показатель неконтролируемости как обстоятельственная модальность в языке лиллуэт» описывается набор значений циркумфикса ka-…-a и предлагается единообразный анализ этих значений. Данный циркумфикс имеет следующие значения: возможность ('ability'), удачное выполнение ('manage'), случайное событие, внезапное (неожиданное) событие и неконтролируемое действие (например, *светало*). Авторы утверждают, что первые два значения являются на самом деле одним значением возможности (на русский язык первое значение переводится как «мочь», а второе как «смочь»). Три других значения тоже объединяются в одно: во-первых, случайное событие часто является неожиданным, неожиданность – это следствие случайности; во-вторых, случайное событие – это событие, которое агенс мог бы контролировать, но не контролировал, а неконтролируемое событие – это событие, которое участник вообще не может контролировать. Таким образом, эти три значения объединяет неконтролируемость или отсутствие выбора.

Авторы статьи утверждают, что модальность в языке лиллуэт радикальным образом отличается от модальности в английском языке. В английском языке модальные глаголы могут выражать разные модальности, например, эпистемическую и деонтическую, но обязательно выражают значения или квантора общности (долженствование: *must*; ситуации в предложении соответствуют все возможные миры), или квантора существования (возможность: *can*; ситуации в предложении соответствуют некоторые возможные миры). Ср. английские примеры:

(5) John must be the murderer.
'Джон, должно быть, убийца' (эпистемическая модальность, универсальный квантор[2]).

(6) John must go to jail.
'Джон должен сесть в тюрьму' (деонтическая модальность, универсальный квантор).

В то же время в языке лиллуэт разные модальности выражаются разными показателями, но эти показатели не имеют фиксированного кванторного значения и могут интерпретироваться и как долженствование, и как возможность. Например, суффикс *-ka* может значить 'может' или 'должен', но выражает только деонтическую модальность.

Циркумфикс *ka-...-a* предлагается анализировать как показатель обстоятельственной модальности, и тогда все его значения сводятся к одному: выражению этой модальности с нефиксированным кванторным значением. Значение возможности – это обстоятельственная возможность (обстоятельства складываются так, что действие возможно), а значение неконтролируемости – это обстоятельственное долженствование (обстоятельства складываются так, что действие должно совершиться, следовательно, оно не контролируется агенсом). В статье очень убедительно показано, что, если учитывать различные подходы языков к выражению модальных значений, можно обнаружить единство значений на первый взгляд многозначного показателя.

В статье К. де Схеппера и Й. Звартса «Геометрия модальности» сравниваются два метода описания области модальных значений: семантические карты [van der Auwera, Plungian 1998] и описание при помощи признаков (features). Авторы показывают, что семантическую карту, в которой упоминаются значения «внешняя модальность», подвидом которой являются

[2] Как можно видеть, авторы исходят из формально-логического понимания модальных операторов. При таком подходе «универсальность» квантора означает, что во всех нормальных возможных мирах, в которых релевантные для данной ситуации обстоятельства совпадают с реальным миром, Джон является убийцей (подробнее см. [Kratzer 1991]). Данный анализ принимается далеко не всеми лингвистами; о проблемах, связанных с этим подходом, см. также статью Наузе в рецензируемом сборнике.

деонтическая модальность, «внутренняя модальность», и эпистемическая модальность, можно переформулировать при помощи признаков +/– внутренняя, +/– пропозициональная (+ пропозициональная = эпистемическая) и +/– деонтическая (таким образом, деонтическая модальность не является подвидом внешней модальности). Два этих метода различаются своими предсказаниями.

Метод признаков предсказывает существование внутренней деонтической модальности (+ внутренняя, + деонтическая), а не только внешней деонтической. Авторы утверждают, что нидерландский язык служит доказательством существования такой модальности. Они говорят, что примером внутренней деонтической модальности можно считать предложения типа *Комитет может номинировать Яна*, где комитет является прямым получателем разрешения, в то время как в предложении типа *Ян может быть номинирован* Ян не является получателем разрешения, поэтому это внешняя деонтическая модальность. Оказывается, что в нидерландском языке предложения с внутренней модальностью (+/– деонтической) ведут себя как предложения контроля, а предложения с внешней модальностью – как предложения подъема, таким образом, подтверждается гипотеза о различии внутренней и внешней деонтических модальностей.

Кроме того, метод признаков, в отличие от метода семантической карты, предсказывает, что не существует маркера, который выражал бы одновременно внутреннюю деонтическую и недеонтическую (+ внутренняя, +/– деонтическая), а также внешнюю деонтическую модальности (– внутренняя, + деонтическая), но не внешнюю недеонтическую (– внутренняя, – деонтическая), так как такую комбинацию нельзя описать одним набором признаков. Однако нидерландский глагол *kunnen* ‘мочь’ как раз является контрпримером, впрочем, интуиция носителей в этом отношении не очень однозначна. Главным выводом статьи является то, что у метода семантических карт нет преимуществ перед более традиционным методом признаков; однако авторы не обсуждают тот факт, что метод семантических карт предназначен прежде всего для диахронического описания развития значений, и не обсуждают, как метод признаков справляется с этой задачей.

В статье Й. ван дер Ауверы, П. Кехайова и А. Виттран «Показатели модальности на основе глаголов получения» описывается грамматикализация глаголов получения (например, англ. *get*), в показателе возможности (7), на примере языков северной Европы и юго-восточной Азии.

(7) I get to watch TV tonight.
‘Мне разрешили сегодня вечером смотреть телевизор’.

Авторы замечают, что на основе глаголов получения возникают показатели внутренней и внешней возможности. Встречаются языки, где такие глаголы выражают только внешнюю возможность, или и внешнюю, и внутреннюю, но ни в северной Европе, ни в юго-восточной Азии не встречается языков, где бы такие показатели выражали только внутреннюю возможность. Это является аргументом в пользу того, что показатели внешней возможности могут обретать значение внутренней возможности, хотя ранее предполагалось, что возможен только обратный процесс [van der Auwera, Plungian 1998]. Таким образом, данные о грамматикализации глаголов получения заставляют изменить семантическую карту модальности, добавив возможное направление изменения значения.

В статье А. Фоолена и Х. де Хооп «Конфликтующие ограничения на интерпретацию модальных вспомогательных глаголов» описываются факторы, которые влияют на интерпретацию модальных глаголов в нидерландском языке, т.е. на выбор эпистемической, внешней или внутренней модальности; это, как известно, одна из наиболее обсуждаемых проблем в современной литературе по типологии модальности (ср., например, недавний обзор различных теорий в монографии [Pietrandrea 2005]). В статье, в частности, утверждается, что нидерландский глагол *kunnen* ‘мочь’ имеет базовое значение внутренней возможности (8), а глагол *moeten* ‘быть должным’ имеет базовое значение деонтической (внешней) необходимости (9).

(8) Hij kan zwemmen.
‘Он может / умеет плавать’ (внутренняя модальность).

(9) Hij moet zwemmen.
‘Он должен / обязан плавать’ (внешняя модальность).

Однако существуют контексты, в которых эти глаголы могут получать другую интерпретацию. Например, если в качестве зависимого используется глагол физиологической деятельности (такой, как *plassen* ‘мочиться’), даже модальность необходимости обычно интерпретируется как внутренняя, поскольку и зависимый глагол сам по себе выражает внутреннюю потребность. Точно так же, в сочетании с неконтролируемыми предикатами (такими, как ‘быть больным’) оба модальных глагола интерпретируются эпистемически, поскольку и внутренняя, и внешняя модальность предполагает некоторую степень контролируемости. В сочетании с прогрессивом оба глагола также пред-

почитают эпистемическую интерпретацию, так как прогрессив имеет импликацию фактивности (если действие происходит в настоящий момент, то оно реально), в отличие от предикатов внутренней и внешней модальности. Поскольку эпистемическая модальность – это лишь оценка говорящим фактивности события, в случае эпистемической интерпретации семантического конфликта не происходит. Наконец, в сочетании с граммемой второго лица модальность у обоих глаголов интерпретируется скорее как внешняя, поскольку второе лицо имеет тенденцию сочетаться с приказанием:

(10) Je moet hoesten.
'Ты должен кашлянуть'.

В данном примере ожидалась бы внутренняя модальность, так как используется глагол физиологической деятельности, но на самом деле модальность интерпретируется как внешняя.

Следует указать, что все эти факторы, неоднократно анализировались в существующей литературе. Относительной новизной данной статьи является, пожалуй, лишь то, что все упомянутые факторы формализуются как ограничения в теории оптимальности, моделирующие выбор интерпретации в разных контекстах. Заметим, однако, что лишь для двух факторов (второе лицо и физиологическая деятельность) показано их взаимодействие, а как будет интерпретироваться, например, модальный глагол в сочетании с неконтролируемым глаголом физиологической деятельности («Он может / должен дрожать»), из анализа неясно; в целом непонятно, что предсказывает данная формализация.

В статье Ф. Наузе «Модальность и зависимость от контекста» критикуется формально-логический подход к модальным операторам, предложенный в работах А. Кратцер [Kratzer 1991]. Согласно этому подходу, сам модальный оператор только указывает кванторное значение (универсальный квантор = долженствование, квантор существования = возможность), а модальность (эпистемическая, деонтическая и т.д.) определяется контекстом. Например, при эпистемической модальности значение предложения, к которому относится модальный оператор, оценивается относительно известных фактов, а при деонтической модальности относительно релевантных условий и установленных правил. Автор статьи указывает три проблемы для такого анализа. Во-первых, это интерпретация деонтической модальности в предложениях с условными придаточными: формальный анализ в духе Кратцер делает в этом случае ложные предсказания. Во-вторых, это сфера действия модальных операторов: эпистемическая модальность всегда имеет более широкую сферу действия, чем деонтическая:

(11) John may have to pay more taxes.
'Может быть, Джон должен платить больше налогов' (эпист. *may*, деонт. *have to*).
*'Разрешено, чтобы Джон наверняка платил больше налогов' (эпист. *have to*, деонт. *may*).

В-третьих, как уже упоминалось в статье Девиса, Меттьюсон и Руллмана, в языке лиллуэт модальные показатели выражают только одну модальность, но не фиксированы в отношении кванторного значения, что противоречит теории Кратцер.

Наузе считает модальные операторы многозначными, то есть, например, английское *must* 'быть должным' не получает эпистемическую или деонтическую модальность в зависимости от контекста, а изначально имеет эпистемическое и деонтическое значения, и в зависимости от контекста выбирается одно из этих значений. В языке лиллуэт в таком случае модальные операторы изначально немногозначны. Наузе предлагает формализацию модальности при помощи понятия «список задач» (to-do list). С использованием этого понятия моделируется информационное состояние (information state) говорящего, которое по мере произнесения предложений пополняется новой информацией. Автор утверждает, что такой подход помогает решить все упомянутые выше проблемы анализа модальных операторов.

В статье Б. Парти и В. Борщёва «Сдвиг значения глагола под отрицанием, интенсиональность и имперфективность» обсуждается генитивное маркирование дополнений в русском языке, а также связь партитивности и имперфективности. В русском языке родительным падежом маркируется дополнение в отрицательных предложениях (*Он не читал письма*) и в интенсиональных контекстах (*Он ждет ответа на вопрос*). Отрицание само по себе не является интенсиональным оператором, поэтому связь между этими контекстами неочевидна. Авторы обсуждают различные объяснения генитивного маркирования в этих контекстах, такие как различия в сфере действия, различия в референтности именных групп в разных падежах, различие семантических типов именных групп в разных падежах, и показывают, что все эти объяснения частично справедливы, но не лишены проблем. Они замечают, что отрицание иногда оказывается интенсиональным, точнее, может сочетаться с нулевым модальным оператором, что следует, например, из возможности употребления сослагательного наклонения при отрицании в главном предложении:

(12) *Я видел человека, который бы считал иначе.
(13) Я не видел человека, который бы считал иначе.

Авторы также обсуждают параллель между употреблением родительного падежа при отрицании и имперфектива в отрицательных приказах:

(14) Не строй / *построй дом.

Как употребление генитива, так и употребление имперфектива при отрицании – это исторически эмфатические конструкции, так как они выражают более сильное отрицание. Родительный падеж употребляется в неотрицательных предложениях в значении партитива («выпить воды»), и в этом значении в сочетании с отрицанием дает более сильное отрицание: из «не выпить воды» следует «не выпить воду», но не наоборот. Так же и из «не строить дом» следует «не построить дом», но не наоборот.

Завершает сборник статья А. Тамм «Эстонский партитивный эвиденциалис», в которой описывается глагольный показатель *-t*, совпадающий по форме с партитивным падежом. Тамм утверждает, что это совпадение не случайно. Партитивный падеж в эстонском языке в сочетании с глаголом прошедшего времени означает непредельное прочтение предложения («читал книгу»), в то время как аккузатив означает предельное прочтение («прочитал книгу»), то есть аспект выражается падежом. Тамм говорит, что семантика партитива – это маркирование неполного события.

Тот же показатель может появиться на причастной форме главного глагола и в таком случае выражает категорию эвиденциалиса. Автор статьи предлагает три гипотезы о значении этого показателя: эвиденциальную (показатель употребляется, когда говорящий не является свидетелем события), эпистемическую (показатель употребляется при низкой степени уверенности говорящего) и партитивную (показатель употребляется при неполных доказательствах события). Она утверждает, что третья гипотеза является правильной: во всех контекстах, в которых употребляется этот показатель, у говорящего нет достаточных доказательств события, выраженного предложением.

Таким образом, показатель *-t* выражает партитивное значение в обоих употреблениях: при сочетании с существительным это значение заключается в неполноте события, описываемого глаголом, а при сочетании с глаголом – в неполноте доказательств.

В целом можно сказать, что сборник статей представляет большой интерес для лингвистов, изучающих категории модальности и аспекта (и в меньшей степени категорию времени). В сборнике представлены разные теоретические направления и формализмы, а также в высшей степени интересные данные различных языков мира. Сборник достаточно аккуратно издан: небольшое число опечаток, которые в некоторых статьях все же присутствуют (в том числе и в русских примерах, как отмечалось выше), в основном не мешают восприятию текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ландер, Плунгян, Урманчиева 2004 – *Ю.А. Ландер, В.А. Плунгян, А.Ю. Урманчиева* (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность. М., 2004.

Маслов 1956 – *Ю.С. Маслов*. Очерк болгарской грамматики. М., 1956.

Татевосов 2005 – *С.Г. Татевосов*. Акциональность: типология и теория // ВЯ. 2005. № 1.

van der Auwera, Plungian 1998 – *J. van der Auwera, V. Plungian*. Modality's semantic map // Linguistic typology. 1998. 2 (1).

Bary 2009 – *C. Bary*. Aspect in Ancient Greek. A semantic analysis of the aorist and imperfective. Ph.D. diss. Nijmegen, 2009.

Bybee, Perkins, Pagliuca 1994 *J.L. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca*. The evolution of grammar: tense, aspect, and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.

Kratzer 1991 – *A. Kratzer*. Modality / Conditionals // A. von Stechow, D. Wunderlich (Hrsg.). Semantik: Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Berlin, 1991.

Noonan 1985 – *M. Noonan*. Complementation // T. Schopen (ed.). Language typology and syntactic description. V. II. Cambridge, 1985.

Pietrandrea 2005 – *P. Pietrandrea*. Epistemic modality: Functional properties and the Italian system. Amsterdam, 2005.

Rothstein 2004 – *S. Rothstein*. Structuring events: A study in the semantics of lexical aspect. Madlen (MA), 2004.

de Swart 1998 - *H. de Swart*. Aspect shift and coercion // Natural language and linguistic theory. 1998. 16.

Tatevosov 2002 – *S.G. Tatevosov*. The parameter of actionality // Linguistic typology. 2002. 6 (3).

В.И. Киммельман

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Российский гуманитарный научный фонд: поддержка проектов мероприятий 2009 года и издательские проекты 2010 года

Мы продолжаем традицию публиковать обзоры научных мероприятий, поддержанных грантами РГНФ. В предлагаемом обзоре мы даем сведения о том, какие конференции и полевые исследования были проведены на средства Фонда в 2009 году. В заключительном разделе приводим информацию о книгах, издание которых планируется на текущий год.

Конференции 2009 года

В 2009 году фонд поддержал проведение семнадцати конференций, большая часть которых была так или иначе связана с проблемами русского или, шире, славянских языков.

В октябре состоялась конференция «Актуальные проблемы русской диалектологии и исследования старообрядчества», организованная отделом диалектологии и лингвогеографии Института русского языка им. В.В. Виноградова. В ней участвовали более 90 человек, в том числе, в качестве почетного гостя, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова О.В. Гецова. Помимо пленарных заседаний, работали секции, посвященные проблемам фонетики, лексикологии, грамматики, словообразования и этимологии, диалектной коммуникации и организации диалектного текста. Хотя диалектологические конференции Института русского языка уже стали традиционными, данная конференция имела свою особенность: пристальное внимание к изучению языка и культуры старообрядцев.

Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова провел в марте научное совещание Словообразовательной комиссии при Международном комитете славистов (48 участников из 11 стран). Мероприятие проводилось в форме научной конференции, в рамках которой работали три тематические секции («Новые явления в славянском словообразовании с точки зрения словообразовательной теории»; «Типология новых явлений и тенденции изменений в славянском словообразовании»; «Словообразование в подсистемах славянских языков») и Круглый стол, посвященный дискуссионным вопросам славянского словообразования и номинации (ведущие М.А. Кронгауз и Е.В. Петрухина).

Актуальна тема конференции «Кодификация современного русского языка: результаты и проблемы» (проведенной ЗАО «Златоуст» в Санкт-Петербурге в октябре 2009 г.). Утвержденный в 2009 году перечень канонических словарей русского языка подстегнул интерес общества к анализу языковой нормы и кодификации языка. Важным фактором, повышающим значимость этой проблемы, является также работа над новыми образовательными стандартами средней и высшей школы. В конференции участвовали многие известные ученые, специалисты в области русского языка и социолингвистики (М.А. Кронгауз, В.З. Демьянков, О.Б. Сиротинина, Л.Б. Крысин, Л.Я. Скворцов, О.И. Артеменко).

Благотворительный фонд имени Д.С. Лихачева организовал Международную научно-практическую конференцию и выставку под названием «Послания кириллицы» (29–30 сентября, Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге, там же 30 сентября открылась выставка, которая работала до конца ноября). Основная тема конференции – происхождение, распростране-

ние, особенности кириллической графической системы. Обсуждались вопросы языковой политики в связи с ролью в ней кириллической письменности; проблемы роли кириллицы в интернет-коммуникации; проблемы так называемой «кириллической цивилизации» – взаимосвязи культур, объединенных кирилличеcкой графической системой.

Большое внимание в истекшем году было уделено популярным в последние годы лингвистическим проблемам, связанным с особенностями речевой коммуникации в современном мире.

Так, Омский государственный университет выступил в роли организатора конференции, посвященной речевой коммуникации в современной России (апрель 2009 г., Омск, 70 участников). Развитие технических средств коммуникации порождает массовые изменения в ее лингвистических и экстралингвистических особенностях. В современной России эти новообразования являются предметом оживленных дискуссий как в средствах массовой информации, так и в академической среде. В конференции в Омске приняли участие известнейшие лингвисты, специалисты в области русского языка, социолингвистики, теории коммуникации (А.П. Чудинов, А.Д. Шмелев, Т.Е. Янко, Т.А. Гридина, В.И. Беликов и др.).

Уральский государственный педагогический университет организовал в Екатеринбурге конференцию, посвященную современной политической коммуникации (104 участника, 22–24 сентября 2009 г.).

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова провел в апреле 2009 г. традиционную конференцию «Текст. Структура и семантика». В ней приняли участие 187 специалистов, которые анализировали различные аспекты лингвистики текста, причем многие доклады имели практическую направленность. Российский университет дружбы народов провел в апреле II Новиковские чтения «Функциональная семантика, семиотика знаковых систем и методы их изучения».

Уже традиционными стали также научные мероприятия, проводимые Институтом перевода Библии. В 2009 году в рамках постоянно действующего семинара «Проблемы библейского перевода» был организован международный семинар «Перевод Библии и проблемы терминологии» (Зеленоград, 29 сентября – 6 октября). Основной круг вопросов, обсуждавшихся на семинаре, был связан с переводом специфической библейской терминологии, однако некоторые доклады затрагивали более широкие теоретические проблемы, так или иначе относящиеся к основной теме семинара. Рассматривались переводы Библии на целый ряд языков, распространенных на территории Российской Федерации (языки Дагестана, татарский, марийский и другие финно-угорские языки России).

Тематически связана с предыдущей конференция, проведенная факультетом филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета «Св. Писание как фактор языкового и литературного развития (в ареале аврамических религий)» (30 июня – 3 июля).

Несколько конференций были полностью или частично посвящены проблемам сравнительно-исторического языкознания.

В июне 2009 г. Институт языкознания РАН провел конференцию «Сравнительно-историческое языкознание. Алтаистика. Тюркология», приуроченную к юбилею А.В. Дыбо. Было представлено 80 докладов, которые распадаются на два основных класса: работы по лингвистической компаративистике и работы в русле синхронного изучения алтайских языков. В конференции участвовали почти все отечественные компаративисты и алтаисты среднего и старшего поколения (в том числе В.М. Алпатов, М.Е. Алексеев, В.А. Дыбо, О.А. Казакевич, К.Г. Красухин, С.В. Кулланда, Т.А. Михайлова, О.А. Мудрак, И.А. Николаева, В.Я. Порхомовский, Г.Ц. Пюрбеев, С.А. Ромашко, Д.М. Насилов, Д.И. Эдельман и другие), большое количество молодых ученых.

Традиционная конференция «Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIII (чтения памяти И.М. Тронского)» проходила в Институте лингвистических исследований РАН в Санкт-Петербурге 22–24 июня 2009 г. Как следует из названия, основные направления – это сравнительно-исторические исследования индоевропейских языков и классическая филология. Участвовало 75 специалистов, изданы материалы, включающие более 70 докладов. Сама конференция выгодно отличается от ряда других мероприятий логичностью концепции и тематичесским единством. Отчет, представленный в Фонд, также выигрывает на фоне ряда других отчетов: организаторы конференции четко определяют то новое, что содержалось в докладах участников (новейшие открытия в области индоевропеистики, новые этимологические решения, материалы, интерпретации античных текстов и т. д.).

Более общий характер имела Международная научная конференция, посвященная столетию со дня рождения В.Г. Адмони (9–13 нояб-

ря), также проведенная санкт-петербургским Институтом лингвистических исследований. В докладах, представленных на конференции (всего 86 докладчиков), развивались основные направления исследований В.Г. Адмони: в частности, работали секции «Теоретические проблемы изучения современных германских языков» и «История германских языков», «Диахронические аспекты лингвистической теории», «Освоение языковой системы», «Грамматические категории», «Грамматика и текст» и др. Практически все пленарные доклады (в особенности доклады В.М. Павлова, А.В. Бондарко и С.А. Шубика) были направлены на осмысление научного наследия ученого.

Еще одна представительная конференция «Этнолингвистика. Этимология. Ономастика», имевшая отношение к диахроническому изучению языка, была проведена в сентябре Уральским государственным университетом (Екатеринбург). В ее рамках прозвучало 94 выступления докладчиков из 10 стран (сборник материалов включает более 170 докладов). Основной задачей конференции была организация диалога между представителями лингвистических дисциплин, направленных на изучение «языковой диахронии и народной языковой традиции». В соответствии с этим замыслом было проведено несколько тематических секций: «Славянская этимология и этнолингвистика», «Ономастическая и диалектная лексикография и лексикология», «Историко-культурные аспекты ономастики», «Этимология и контактология» и т. д.

К сожалению, состоялось только одно мероприятие, посвященное конкретному языку/языковой семье – научный семинар «Бурятский язык: исторические судьбы и современность», проведенный Бурятским государственным университетом (Улан-Удэ). Помимо ученых из Байкальского региона России, в семинаре приняли участие зарубежные специалисты, в основном из стран, так или иначе связанных с Бурятией, прежде всего из Монголии и Китая. Всего на конференции было представлено 50 докладов, затронувших целый ряд важных проблем изучения бурятского и других монгольских языков (история языка, бурятская языковая картина мира, сопоставительные исследования бурятского языка, роль бурятского языка в межнациональной коммуникации, его функционирование в современных информационных технологиях и др.). В рамках подготовки к семинару была проведена экспедиция в места компактного проживания бурятов в восточных районах Монголии.

Две конференции имели предельно общий характер.

В сентябре в Казани прошла традиционная конференция, посвященная памяти выдающегося отечественного лингвиста И.А. Бодуэна де Куртенэ. Мероприятие, чрезвычайно обширное по количеству и географии участников (284 доклада, представлено более 40 городов России, ряд зарубежных стран), отличалось и большим разнообразием тем. Работало 9 секций, отражающих едва ли не все области языкознания, в том числе «История языкознания», «Фонетика и фонология», «Лексикология и фразеология», «Морфемика, словообразование и грамматика», «Лингводидактика», «Прикладное языкознание» и др.

Еще более многочисленной была V Международная конференция «Язык, культура, общество», организованная негосударственным Институтом иностранных языков и проведенная в Президиуме РАН в Москве также в сентябре 2009 г. Большое впечатление производят даже цифры, приведенные в отчете: 11 секций, 424 доклада, в том числе 19 пленарных, более 800 участников, 2 тома материалов и т. д. Например, секция под руководством В.М. Алпатова была посвящена социолингвистическим аспектам функционировании языков в современном мире; в докладах на этой секции рассматривались проблемы существования различных языков Российской Федерации, как сравнительно «больших» (татарского, башкирского, бурятского), так и малых. Важное место на конференции заняла презентация Словаря истории русских слов, который создается в Институте иностранных языков (главный редактор Э.Ф. Володарская).

Лингвистические экспедиции 2009 года

В 2009 году Фонд поддержал семь проектов полевых исследований.

Традиционно проводились летние экспедиции Отделения теоретической и прикладной лингвистики МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2009 году одна экспедиция работала над изучением ижемского диалекта коми-зырянского языка в с. Мужи Ямало-Ненецкого АО (рук. С.Ю. Толдова), другая, под руководством С.Г. Татевосова и Е.А. Лютиковой, – над изучением иронского диалекта осетинского языка в с. Даргавс Республики Северная Осетия – Алания. Обе экспедиции продолжают традиции полевых исследований, заложенные на отделении теоретической и прикладной лингвистики еще в 60-е годы. Помимо сбора грамматической

информации, особое внимание уделяется документации языков: записи и анализу корпуса устных текстов на изучаемом языке. Традиционно в экспедициях ОТИПЛа принимают участие в основном студенты и аспиранты МГУ, что является, возможно, лучшей школой, позволяющей готовить молодых лингвистов.

Еще одна экспедиция, также традиционная и также организованная Московским университетом (НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова), – экспедиция в Красноярский край под руководством О.А. Казакевич. В полевых исследованиях участвовали студенты Института лингвистики РГГУ. Основной задачей была комплексная документация современного состояния сымского диалекта эвенкийского языка и продолжение документации южнокетского диалекта. Особенностью этой экспедиции являлось также внимание к социолингвистическому описанию рассматриваемых идиомов.

Санкт-Петербургский Институт лингвистических исследований ведет работу над интересным и сложным проектом по комплексному изучению балканских языков (рук. проекта А.Н. Соболев). Проект включает как собственно полевые исследования (в этом году изучался ряд этнических групп на территории Албании и Греции), так и обширную работу, связанную с фиксацией, обработкой, анализом и хранением материалов, собранных в предыдущие годы. В частности, ведется расшифровка больших объемов аудиозаписей северногреческих, черногорских и хорватских говоров.

Институт русского языка им. В.В. Виноградова продолжил полевые исследования русских диалектов (рук. проекта Л.Л. Касаткин). Состоялось восемь поездок в различные районы России (Калужская, Московская, Белгородская, Орловская, Архангельская, Вологодская, Владимирская, Брянская области). Кроме того, были две зарубежные экспедиции, направленные на изучение говоров русских старообрядцев (Эстония и Австралия). Л.Л. Касаткин также проводил исследования во Франции, где сделал записи речи эмигрантов первой волны и их потомков и получил копии записей речи русских эмигрантов, сделанных в середине XX века.

Параллельно московскому Институту русского языка им. В.В. Виноградова исследования русских народных говоров (под рук. С.А. Мызникова) проходят и в санкт-петербургском Институте лингвистических исследований. Работа ведется по программе Лексического атласа русских народных говоров. В 2009 году полевые исследования осуществлялись на территории нескольких районов Оренбургской области, где историческое ядро русского населения образовало казачество. В полевой работе участвовали студенты СПбГУ.

Проект под руководством Л.Р. Додыхудоевой (Институт языкознания РАН, Москва), направлен на изучение и документацию этнокультурного лексического фонда малых восточноиранских языков (ягнобского, язгулямского, языков шугнано-рушанской группы и др.). Исследования этих языков проводились на территории Таджикистана и Афганистана. Проблематика проекта тесно связана с происходящими в рассматриваемых регионах социолингвистическими процессами: исконная лексика, обусловленная особенностями традиционной культуры, быстро утрачивается, происходит размывание диалектных черт и переход на таджикский язык.

К сожалению, поддержан только один исследовательский проект, предложенный специалистами, работающими вне двух российских научных столиц. Этот очень интересный проект разрабатывали специалисты из Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Его задача – комплексное экспедиционное обследование Кенозерья (рук. А.П. Конкка). В многостороннем исследовании принимали участие представители различных гуманитарных дисциплин: лингвисты - специалисты по топонимике, фольклористы, этномузыковеды, специалисты по этноархитектуре. Собственно лингвистическая часть исследования связана с фиксацией и анализом топонимической системы северной и южной части Кенозерского национального парка.

Издательские проекты 2010 года

В 2010 году РГНФ поддерживает издание двадцати шести книг. Прежде всего следует отметить большое количество словарей и коллективных монографий, содержащих материалы для словарей различных типов.

Один из самых новаторских проектов - коллективная монография «Проспект Активного словаря русского языка» (рук. проекта Ю.Д. Апресян), издательство «Языки славянских культур». Активный словарь рассчитан на то, чтобы научить читателя правильно использовать слова. Тем самым такой словарь имеет сравнительно небольшое число входов, но необычно большой объем лингвистической информации о каждом слове. Предлагаемая работа представляет собой только проспект словаря, а не словарь как таковой, однако ее запланированный объем уже составляет 78 а. л.

Проспект включает следующие разделы: (1) теоретическое Введение и инструкцию по составлению словарных статей; (2) образцы словарных статей; (3) словник будущего активного словаря.

Несомненный интерес представляет «Словарь русской региональной лексики Крайнего Севера России» (рук. проекта А.А. Сокольянский, словарь издается Северо-Восточным государственным университетом в г. Магадане). В основе словаря – материалы, собранные Г.В. Зотовым в 60–70-е гг. в поселках с русским старожильческим населением северо-восточных регионов России (Магаданской области, Чукотского АО, северо-восточных районов Якутии). Материалы доработаны и подготовлены к печати сотрудниками кафедры русского языка СВГУ.

Коллективная монография «Язык гэлао: материалы к сопоставительному словарю кадайских языков» (рук. проекта И.В. Самарина) содержит в основном полевые материалы, собранные авторами во время экспедиций во Вьетнам, результаты собственных исследований авторов, в том числе поддержанных грантами РГНФ в предыдущие годы. В работе приводятся общие сведения о языке гэлао, дается информация о фонетике и фонологии с учетом диалектных различий, содержатся карты, этнолингвистические сведения о гэлао. Однако основное содержание монографии – сопоставительный словарь диалектов гэлао. К книге будет приложен DVD-диск.

Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола) подготовил к печати работу В.И. Вершинина «Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии». Словарь содержит обширный новый материал, собранный в ходе полевых исследований.

Кроме того, продолжается выпуск целого ряда многотомных изданий:

«Этимологический словарь славянских языков». Вып. 37 (рук. проекта А.Ф. Журавлев), издательство «Наука»;

Коллективная монография «Материалы к словарю языка М.В. Ломоносова: минералогия» (рук. проекта Н.Н. Казанский), издательство «Наука-СПИФ»;

«Большой академический Толковый словарь якутского языка», том VII (рук. проекта В.Д. Монастырев, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН, Якутск).

Еще один словарь можно также отнести к жанру публикаций рукописей. Это работа И.М. Дурова «Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении». Рукопись словаря, включающего 12 тысяч словарных статей, составлена И.М. Дуровым, носителем поморского говора, в начале XX века и хранится в научном архиве Карельского научного центра РАН. Рук. проекта издания И.И. Муллонен (Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, Петрозаводск).

Помимо словарей, готовится к печати второй выпуск «Диалектологического атласа удмуртского языка» (рук. проекта Р.Ш. Насибуллин, Удмуртский государственный университет, Ижевск). Материалы для многотомного диалектологического атласа удмуртского языка собраны коллективом авторов в ходе многолетней полевой работы.

Среди планируемых к изданию работ еще две коллективные монографии и два тематических сборника статей разных авторов.

Это, во-первых, коллективная монография «Решения национально-языковых вопросов в современном мире. Страны СНГ и Балтии», издательство «Азбуковник» (рук. проекта и отв. ред. издания М.В. Орешкина, Институт языкознания РАН). Издание посвящено проблемам языковой политики в странах СНГ и Балтии.

Во-вторых, коллективная монография «Перевод Библии как фактор сохранения языков народов РФ и СНГ» (отв. ред. К.Т. Гадилия, книга издается Институтом перевода Библии). В ней анализируется роль перевода Библии в сохранении языкового многообразия на территории Российской Федерации, а также опыт переводов Библии на языки разных групп (дагестанские, тюркские, славянские, иранские, финно-угорские и др.).

Сборник статей «Слова. Концепты. Мифы» (рук. проекта Г.К. Венедиктов, Институт славяноведения РАН), готовящийся к публикации в издательском центре «Индрик», содержит статьи, посвященные актуальным проблемам славянского языкознания. В основном это исследования по этимологии, лексикологии, диалектологии, этнолингвистике. Среди авторов статей многие известные лингвисты, в том числе В.А. Дыбо, А.В. Дыбо, Т.М. Николаева, Ж.Ж. Варбот и др.

Н.Д. Арутюнова, сборник статей «Лингвофутуризм. Взгляд языка в будущее», издательство «Индрик».

Готовятся к изданию семь новых научных монографий, весьма разнообразных по тематике:

М.Д. Воейкова (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург), «Усвоение детьми имен существительных и прилагательных: ранние этапы», издательство «Знак»;

Л.В. Куркина (Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Москва), «Культура подсечно-огневого земледелия в зеркале языка». Опыт

реконструкции культуры раннего земледелия по данным лексики всех славянских языков;

В.А. Лившиц (Институт восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург), «Парфянская ономастика»;

Н.Б. Пименова (Московский городской педагогический университет), «Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен (реконструкция системных отношений)», издательство «Языки славянских культур»;

Ф.И. Рожанский (Институт языкознания РАН, Москва), «Редупликация: опыт типологического исследования», издательство «Знак» (первая русскоязычная монография, посвященная типологии редупликации);

Е.В. Урысон (Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Москва), «Опыт описания семантики союзов: Лингвистические данные о деятельности сознания», издательство «Языки славянских культур»;

Л.Л. Шестакова (Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Москва), «Русская авторская лексикография: теория, история, перспективы», издательство «Языки славянских культур».

К этой же группе примыкают сборники, содержащие работы одного автора:

Н.А. Еськова, «Избранные работы по русистике: Морфология, фонология, лексикография, орфография», издательство «Языки славянских культур»;

В.В. Колесов, «Русская акцентология», факультет филологии и искусств СПбГУ.

Поддержано три проекта публикации научных трудов, созданных в предыдущие годы. Это публикация фундаментального исследования А.И. Еланской «Грамматика коптского языка (саидский диалект)», издательство «Нестор-История». Работа А.И. Еланской была завершена еще в 60-е годы, однако до сих пор не опубликована. Огромную по объему рукопись (около 1000 машинописных страниц) готовит к печати А.Л. Хосроев (Институт восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург).

В Санкт-Петербургском государственном университете подготовлен к изданию сборник трудов С.А. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования». Научный ред. и рук. проекта П.А. Клубков, издательство СПбГУ.

В издательстве «Азбуковник» будет опубликована монография И.И. Ковтуновой «"Несобственно прямая речь" в языке русской литературы конца XVIII – первой половины XIX в.». Отв. ред. и рук. проекта А.Г. Грек (Московский институт открытого образования).

И, наконец, в жанре публикации текстов поддержан только один проект – под руководством В.Б. Крысько (Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Москва): в издательстве «Азбуковник» выйдет из печати первый том в планируемой серии изданий текстов Пролога – «Славянско-русский Пролог по древнейшим спискам. Т. 1: Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции) за сентябрь–февраль. Ч. 1–2».

Н.Р. Сумбатова

Виноградовские чтения 2010 г.

14 января 2010 г. в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва) состоялись ежегодные Виноградовские чтения. Тема сорок первых чтений широка – «Русский язык: грамматика, лексика, семантика, смысл». Чтения 2010-го года были посвящены не только памяти В.В. Виноградова (115 лет со дня его рождения), но и памяти его ученицы Н.Ю. Шведовой. Открыла заседание заместитель дирсктора Института М.Л. Каленчук, которая отметила, что имена Виноградова и Шведовой были всегда неразрывно связаны в науке.

Темой сообщения Ю.Л. Воротникова (Москва) была научная биография Н.Ю. Шведовой. Как отметил докладчик, В.В. Виноградов оставил след в науке не только своими глубочайшими идеями, но и тем, что воспитал целую плсяду ученых. Н.Ю. Шведова была не только его учеником, но и соратником. Она принимала участие во всех коллективных темах, которые вел В.В. Виноградов, долгис годы возглавляла отдел, которым он руководил ранее. Как она сама говорила, Виноградов был тем человеком, который сформировал ее. Хорошо известно, что Наталия Юльевна в своих работах продолжала, развивала и углубляла многие его идеи. Как и ее учитель, она очень тщательно следила за всей литературой, выходящей по той проблеме, которой занималась сама, большое внимание уделяла изучению работ предшественников, истории науки, библиографии. Н.Ю. Шведова имела очень широкий научный кругозор. Зная все, что написано о каком-то предмете, она умела взглянуть на него по-новому, с совершенно неожиданной стороны (например, создав теорию местоимений как исхода смыслового строения языка). По словам Ю.Л. Воротникова, Н.Ю. Шведова

всегда отличалась повышенным научным аскетизмом, ее никогда не интересовали метафизические выси. Она часто подчиняла свои интересы исследователя интересам общей работы отдела, института. У Н.Ю. Шведовой не так много индивидуальных монографий: все ее идеи вложены в коллективные темы института (Академическая грамматика, словари, «История слов» В.В. Виноградова). Наталия Юльевна многое не успела завершить, уйдя из жизни в полном творческом расцвете, («Русский семантический словарь», «Русский идеографический словарь»). Ее ученики и коллеги будут продолжать ее дело, развивать те идеи, которые она, следуя традиции В.В. Виноградова, воплощала в своих трудах.

Ю.С. Степанов (Москва) рассказал о личных качествах Н.Ю. Шведовой, о людях, которые ее окружали, и о ее отце, известном критике Ю.И. Айхенвальде.

В.Г. Костомаров (Москва) предложил ввести понятие «дисплейных текстов», способных синтезировать при помощи современной техники все возможные носители информации: вербальные (звуковые, письменные) и невербальные (мимику, жестикуляцию, изображение, цвет, движение, всю культурную обстановку) реального акта общения. Намечены пути их восприятия в отличие от самого контактно-звукового и от письменно-печатного общения, а также способы анализа специфики их лингвистического строения.

В докладе Л.П. Крысина (Москва) обосновывалось положение, согласно которому В.В. Виноградов стоял у истоков социостилистики – направления, формирующегося на стыке стилистики и социолингвистики. На многочисленных примерах из работ В.В. Виноградова было показано, что ученый придавал большое значение «социальной паспортизации» фактов языка, прослеживая источники их возникновения, их прикрепленность к той или иной социальной или профессиональной среде, к определенным сферам и стилям общения.

В докладе М.В. Ляпон (Москва) «Деспотизм языка и лингвистический эксперимент писателя» на основе конкретных примеров из словотворческой практики И. Бродского и М. Цветаевой было обосновано положение о том, что лингвистический эксперимент, затрагивающий фундаментальные внутрисистемные оппозиции, не может быть адекватно воспроизведен средствами языка инородной типологической структуры. Используя окказиональные грамматические алогизмы и искусственные смещения в лексических значениях, писатель демонстрирует креативные силы языковой системы, дает возможность уловить неочевидный сквозной смысл, не фиксируемый в словаре и нормативной грамматике. В докладе была предложена интерпретация экспериментальной склоняемой перфектной формы «сказал»: **сказалу*, **сказалом* (из поэтического опыта И. Бродского); были рассмотрены отмеченные в прозе и письмах М. Цветаевой факты словоизменения служебных единиц и разрушения устойчивых дискурсивных формул: «От О.Н. узнала о *наконечном* возвращении Вашего мужа»; «В конце концов – *очень далеком конце очень далеких концов* – получилась бы лирическая статья»; «Нельзя дать ни жизни, ни эмиграции <...> *ни всем и так далеям* – этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов»; «*само собой разумеемости*»; «Товарищеский совет: подчеркните (либо чистые, либо вечные») чтобы еще, *ещёе* ударить – и пометку: прошу подчеркнутое слово – в разрядку».

В.З. Демьянков (Москва) в своем докладе обратил внимание на парадоксальные стороны речевой креативности и речетворчества. Речевая креативность – это выбор из множества средств таких, которые должны в наибольшей степени привлечь, порадовать адресата, тогда как речевое творчество не нацелено на доставление радости. Докладчик отметил, что граница между творчеством, оригинальностью и оригинальничанием часто бывает очень тонкой. Новизна и творчество соотнесены не прямо, а опосредованно. Речевая креативность и речевое творчество связаны с использованием резервов языковой системы. Парадоксальность заключается в том, что рутинно или давно употреблявшийся оборот или единица начинают вызывать новаторскую реакцию. На материале корпуса художественной литературы XVIII–XX вв. докладчик подробно рассмотрел некоторые аттрактивные эпитеты красоты (*прелестный*, *очаровательный*, *пленительный*) и сделал вывод о том, что существует шкала «агрессивности» этих эпитетов, а относительная частота употребления этих эпитетов обратно пропорциональна степени агрессивности. По мнению В.З. Демьянкова, наиболее «агрессивен» эпитет *пленительный*, а наименее – *прелестный*. В центре этой шкалы оказывается слово *очаровательный*.

В докладе И.Ю. Беляковой (Москва) «О проекте когнитивного тезауруса индивидуально-авторского языка» были описаны некоторые конститутивные и структурные принципы организации словаря нового типа: таксономический, обеспечивающий наглядное представление концептуальной системы автора, принцип полноты, наследуемый из традиционной авторской лексикографии, гипертекстовый, ориентированный на электронный формат тезауруса. На материале таксона «Родство» подробно был рассмотрен референтивный принцип, полагае-

мый в основу структурирования словарной статьи в будущем когнитивном тезаурусе Марины Цветаевой. Выявление и эксплицирование скрытых смыслов, затекстовой и подтекстовой информации, интертекстуальные отсылки и фоновые знания, включающие историко-литературный комментарий, сведения биографического характера, по мнению докладчика, также должны войти в лексикографическое описание слова в когнитивном тезаурусе, поскольку названные параметры являются значимыми факторами воссоздания авторского языкового сознания.

Ю.Д. Апресян (Москва) в докладе «Семантический подход к описанию лексических функций» уточнил основные положения стандартной теории лексических функций. Так, в действительности, по мнению автора, нет таких лексических функций, которые не имеют собственного лексического значения; степень межъязыковой идиоматичности была сильно переоценена, а выбор лексемы как значения лексической функции семантически мотивирован, хотя и не полностью. Последнее утверждение было рассмотрено подробнее. В действительности значение манифестанта лексической функции мотивируется значением самой лексической функции, семантическим классом фундаментальной классификации предикатов, к которому относится аргумент данной функции, и лексическим значением слова-манифестанта. При этом правило семантического согласования требует от сочетающихся единиц одного из двух: либо в значениях сочетающихся слов повторяется какой-то смысловой компонент, либо потенциальный актант удовлетворяет семантическим требованиям, которые предъявляет к нему валентность. Иллюстрацией к этим утверждениям послужили материалы исследования слова *контроль*.

В докладе И.С. Улуханова (Москва) «Значение новой лексики для изучения закономерностей языка» рассмотрена возможность применения исчислительно-объяснительного метода описания языка (исчисления всех потенциальных единиц какой-либо подсистемы языка и объяснения причин их реализации или нерсализации в речи). Исчисленные единицы иногда реализуются только новообразованиями, причем эти новообразования могут указывать на такую закономерность системы, которая не обнаруживается в узуальных единицах. В докладе были приведены примеры выявления закономерностей языка с помощью новообразований, относящихся к морфонологии, словообразованию и морфологии.

В докладе Т.М. Николаевой (Москва) «"Символы" В.В. Виноградова и "Ключи" нарратива» высказывалась гипотеза, что единица текста и его общая поуровневая структура не адекватны системе языка, хотя единицы языка и его структура входят в текст. Мысль о специфических единицах текста впервые прозвучала у В.В. Виноградова в его работах 1920-х годов. Эти единицы назывались им «символами». Понятие «символа» у Виноградова достаточно трудно определимо. В его концептуальной системе это могут быть части слова, слова, словосочетания и целые отрывки произведения. В известном смысле понятие «символа» соотносится (пересекается) с понятием интертекстуальности, активно разрабатываемым в мировой филологии. Но единицы текста (и интертекстуальности) имеют различные функции, что не всегда учитывается лингвистами. В докладе вводилось понятие «ключи», т.е. элементы текста, «открывающие двери»: к другому тексту, к жизненной ситуации, к историческим событиям. Были приведены примеры «ключей» в русской классике.

Предметом рассмотрения в докладе Е.В. Падучевой (Москва) «Зеркальная симметрия прошедшего и будущего: фигура наблюдателя» был русский несовершенный вид. У этой категории различают два значения: актуально-длительное (иначе – прогрессив; как в примере *Графиня ***сидела в своей уборной перед зеркалом*) и общефактическое (как в примере *Кто сидел на моем маленьком стульчике и сломал его?*). Единственное, что есть общего в семантике всех разновидностей общефактического значения и что противопоставляет их исходному для НСВ актуально-длительному значению, – это ретроспекция, т.е. ретроспективная позиция наблюдателя. Общефактическое значение ретроспективное, и потому оно невозможно в настоящем времени (речевого режима): для ситуации в настоящем времени нельзя обеспечить ретроспективного наблюдателя для вида, поскольку роль наблюдателя исполняет тот же говорящий, который является, конечно, синхронным наблюдателем настоящего. Возникает вопрос, возможно ли общефактическое значение у форм НСВ будущего времени. В докладе было показано, что у формы несовершенного вида будущего времени имеется два значения: обычное актуально-длительное, редкое для будущего времени, и характерное для будущего времени проспективное, с семантическим компонентом начинательности (например, *Храм все-таки будут восстанавливать* ~ 'начнут восстанавливать'). Так что прогрессиву, с его синхронным наблюдателем, противопоставлены в семантике НСВ две другие позиции наблюдателя – ретроспективная позиция для прошедшего времени и проспективная для будущего. В этом можно видеть **зеркальную симметрию** прошедшего

и будущего. Два несинхронных значения НСВ сходны в том, что оба могут иметь значение, близкое к СВ (*Где покупали*? ≈ *Где купили*?; *Где будете сходить*? ≈ *Где сойдете*?), но во многих других отношениях они существенно различны.

Ю.Н. Караулов (Москва) в докладе «Достоевский и Эйзенштейн: монтаж аттракционов» предложил новый подход к анализу словесного искусства – аттракцион-анализ. Понятие «аттракцион» («монтаж аттракционов») было выдвинуто С.М. Эйзенштейном в 20-е гг. XX в. для кино и театра. Применительно к словесному искусству аттракцион понимается как единица воздействия на читателя с эффектом «айстоппера». В докладе был детально представлен аттракцион-анализ, что позволило установить две группы аттракционов: сюжетно-событийные, присущие всем видам искусства, как зрелищным, так и словесным, (например, «завязка», «казус») и аттракционы языковые, слова-аттракционы. На материале повести Достоевского «Дядюшкин сон» выделено семь словесных аттракционов («неожиданный», «красота», «уродство», «диковина», «тайна», «риск», «чудо»), частотность каждого из них в тексте существенно превышает нормальную и придает таким образом событиям и персонажам колорит необычности и удивительности. Данные языковые аттракционы являются одним из показателей идиостиля Достоевского и используются во всех его произведениях. Средняя частота употребления согласно статистическому словарю колеблется в пределах 2–3 тысяч, эти словесные аттракционы есть во всех произведениях писателя.

Следующие Виноградовские чтения по традиции планируется провести в январе 2011 года.

Н.Н. Занегина, Ю.С. Капитанова

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 2010 г.

Статьи

Алпатов В.М. Книга А. Мейе глазами некомпаративиста 6

Бабаев К.В. О реконструкции личных местоимений в праязыке ква 4

Белов А.М. Феномен квантитативной ритмики в современных фонологических теориях ... 5

Березович Е.Л. Русский *ад* на иноязычном фоне: к сопоставительному изучению деривационной семантики межъязыковых лексических эквивалентов 6

Бугаева А.Ю. Аппликативные конструкции в айнском языке 4

Всеволодова М.В. Грамматические аспекты русских предложных единиц: типология, структура, синтагматика и синтаксические модификации 4

Выдрин В.Ф. «Нейтральный вид» в дан-гуэта и акциональные классы 5

Герасимов Д.В. Видо-временная система парагвайского гуарани: сфера действия и порядок показателей 4

Горбов А.А. Топ-метод экспресс-номинации эконом-класса: о русских именных композитах с атрибутивным элементом в препозиции к вершине 6

Донабедьян А. Неоформленный субъект в западноармянском языке – к вопросу о неаккузативности 1

Зализняк Анна А., Микаэлян И.Л.*, Шмелев А.Д. Видовая коррелятивность в русском языке: в защиту видовой пары 1

Зеликов М.В. Аллокутив как выражение специфики субъектно-объектных отношений в баскском языке 5

Зельдович Г.М. Синтетический пассив совершенного вида на *-ся*: Почему его (почти) нет? 2

Зубова Л.В. Ироническая грамматика: средний род в игровой неологии 6

Казаковская В.В. Реактивные реплики взрослого и усвосние ребенком грамматики родного языка 3

Касаткина Р.Ф. Специфика севернорусского наречия – субстратная или генетичсская? 5

Куликов Л.И. Ведийские корни *CaC//C(c)ā*: Морфонологическис модели и синтаксическая ориентированность глаголов 5

Майсак Т.А. К публикации кавказско-албанских палимпсестов из Синайского монастыря 6

О'Шей Н.А. Древнеирландские свидетельства в пользу реконструкции индоевропейских акростатических глагольных структур 4

Панфилов В.С. Коммуникативный синтаксис китайского языка 2

Перехвальская Е.В. Аспирированные и глоттализованные гласные в диалектах удэгейского языка 6

Пичхадзе А.А. Средства выражения императивной и оптативной семантики в древнерусских и старорусских прескриптивных памятниках 5

Поляков С.М. Основные способы реализации семантики сожаления в современном английском языке 3

Рагозина И.Ф. Контрфактическое объяснение в ирреально-условном предложении (на материале русского и французского языков) 1

---

* В содержании № 1 за 2010 г. при указании города была допущена ошибка. Вместо г. Питсбург должен быть Юниверсити Парк (University Park), Пенсильвания.

Рогова А.С. Особенности языкового поведения русскоязычных иммигрантов в русско-норвежском приграничье 4

Рожанский Ф.И. Ижорский язык: проблема определения границ в условиях языкового континуума 1

Скулачева Т.В., Буякова М.В. Стих и проза: сочинение и подчинение 2

Сумбатова Н.Р. Связки в даргинском языке: оппозиции и употребление 5

Урысон Е.В. Составные союзы *а то* и *а не то*: возможности семантического композиционального анализа 1

Урысон Е.В. Составной союз или сочетание слов: *даже если* под семантическим микроскопом 3

Шаповал В.В. Критерии вычленения непомеченного слоя компиляции в словаре 3

Шилов А.Л. Топонимические маркеры путей экспансии восточных славян в Подмосковье 2

Эршлер Д.А. Отрицательные местоимения в осетинском языке: ареальные и типологические аспекты 2

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Алпатов В.М., Исаев М.И. Выдающийся иранист и теоретик языкознания В.И. Абаев (к 110-летию со дня рождения ученого) 3

Иванова Е.А. Исследования А.А. Реформатского в области полиграфии книги и его становление как лингвиста (к 110-летию со дня рождения Александра Александровича Реформатского) 5

Калашников А.В.* Лингвист Юджин Найда 5

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Гулида В.Б., Вахтин Н.Б. Петербургская социолингвистика: пятнадцать лет развития 2

Кузнецова Ю.Л., Велейшикова Т.В. Современные корпусные исследования языка: новые подходы 6

Палкин А.Д. М.М. Бахтин в работах японских ученых 1

Соловьев В.Д. Типологические базы данных: перспективы использования 1

Рецензии

Алпатов В.М. Александр Николаевич Самойлович. Научная переписка. Биография 3

Аркадьев П.М. *Chr. König*. Case in Africa 4

Астахина Л.Ю. *В.П. Мякишев*. Язык Литовского статута 1588 г. 4

Бабенко Н.С. *Е.Р. Сквайрс, Н.А. Ганина*. Немецкие средневековые рукописи и старопечатные фрагменты в «Коллекции документов Густава Шмидта» из собрания Научной библиотеки Московского университета: Каталог. Материалы и исследования 1

Белов А.М. *J. Clackson*. Indo-European linguistics. An introduction 2

Борисова Е.Г. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики / Под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского 1

---

* Статья написана в рамках научно-методического плана кафедры английского языка при факультете права Государственного университета – Высшей школы экономики.

Бритова С.В. *Е.В. Перехвальская*. Русские пиджины 5

Бурлак С.А., Живлов М.А., Иткин И.Б. *J.E. Rasmussen, T. Olander* (eds.). Internal reconstruction in Indo-European: methods, results, and problems 5

Грачев М.А., Сапожникова О.С. *Э.М. Береговская*. Арго и язык французской художественной прозы XX века (50–70-е годы) 2

Грунтов И.А. *С.С. Сай, В.В. Баранова, Н.В. Сердобольская* (ред.). Исследования по грамматике калмыцкого языка 5

Гуссев В.Ю. *B. Wiemer, V.A. Plungian* (Hrsg.). Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen 3

Даниэль М.А. *А.А. Кибрик, В.И. Подлесская* (ред.). Рассказы о сновидениях. Корпусное исследование устного русского дискурса 6

Девель Л.А. *B.T.S. Atkins, M. Rundell.* The Oxford guide to practical lexicography 2

Зализняк Анна А. *D. Dobrovol'skij, E. Piirainen*. Zur Theorie der Phraseologie: kognitive und kulturelle Aspekte 4

Киммельман В.И. *L. Hogeweg, H. de Hoop, A. Malchukov* (eds.). Cross-linguistic semantics of tense, aspect and modality 6

Кисилиер М.Л. *Т.М. Николаева*. Непарадигматическая лингвистика (История блуждающих частиц) 4

Корчагин К.М. *N. Fabb, M. Halle*. Meter in poetry. A new theory 1

Красухин К.Г. *D. Wodtko, B. Irslinger, C. Schneider.* Nomina im indogermanischen Lexikon 2

Летучий А.Б. *Ю.П. Князев*. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе 4

Мальцева В.С. *J. Kandybowicz*. The grammar of repetition: Nupe grammar at the syntax-phonology interface 3

Минор С.А. *W.D. Davies, S. Dubinsky* (eds.). New horizons in the analysis of control and raising 3

Михайлова Т.А. *J.T. Koch*. Tartessian: Celtic in the South-West at the dawn of history 3

Ослон М.В. *T. Olander*. Balto-Slavic accentual mobility 2

Панов В.А. *Г.Вс. Петрова*. Латинско-русский словообразовательный словарь: ок. 20 000 слов 3

Паршин П.Б. *А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский*. Аспекты теории фразеологии 5

Пурэвжав Д. Mongolian monuments in Uighur-Mongolian script (XIII–XVI centuries): Introduction, transcription and bibliography 4

Розанова Н.Н. *O.T. Yokoyama*. Russian peasant letters: Texts and contexts 4

Семенова К.П. *A. Malchukov, A. Spencer* (eds.). The Oxford handbook of case 4

Сичинава Д.В. *R. Aranovich* (ed.). Split auxiliary systems 1

Тестелец Я.Г. *A. Polguère, I.A. Mel'čuk* (eds.). Dependency in linguistic description 6

Толпина Э.А., Скулачева Т.В., Буякова М.В. *E. Kelih*. Geschichte der Anwendung quantitativer Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft 1

Урманчиева А.Ю. *D. Nurse*. Tense and aspect in Bantu 3

Шлуинский А.Б. *V. Vydrine, M.A. Kességbeu*. Dictionnaire Dan-Français (den de l'Est); *A. Erman, J.K. Loh*. Dictionnaire Dan-Français (den de l'Ouest) 3

Шумарина М.Р. *Н.Д. Голев* (отв. ред.). Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты 5

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Алпатов В.М. Коллоквиум «Евгений Поливанов (1891–1938) и его вклад в языкознание» 2

Ахапкина Я.Э., Сосновцева Е.Г. Международная конференция «Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони и современная лингвистика» 5

Борисова Е.Г. Конференция «Понимание в коммуникации» 1

Ганенков Д.С. Ежегодный симпозиум, организуемый Лингвистической ассоциацией Финляндии. «Падеж с точки зрения типологии» 2

Грачев М.А., Калинина А.Г. Организация и проведение международной конференции «Социальные варианты языка – VI» 3

Девель Л.А. VIII Ивановская международная лексикографическая школа-семинар 3

Дедова О.В., Петрухина Е.В., Сидорова М.Ю., Клобуков Е.В. Международный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире» 2

Занегина Н.Н., Капитанова Ю.С. Виноградовские чтения 2010 г. 6

Майсак Т.А. 42-я ежегодная конференция Европейского лингвистического общества .. 3

Оскольская С.А., Сай С.С. Круглый стол «Русский язык: конструкционные и лексико-семантические подходы» 1

Рудяков А.Н., Дорофеев Ю.В. I Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» 4

Сердобольская Н.В. Российский гуманитарный научный фонд: поддержка лингвистических мероприятий 1

Скулачева Т.В., Векшин Г.В. Международная научная конференция «I-е Бриковские чтения: Поэтика и фоностилистика» 5

Сумбатова Н.Р. Российский гуманитарный научный фонд: поддержка проектов мероприятий 2009 года и издательские проекты 2010 года 6

Чумакина М.Э. VIII конференция Ассоциации лингвистической типологии 3